

Посвящаю роман "Перевал"
светлой памяти генерала Йеку-
тиэля Адама, героя Израиля,
сына Кавказского еврейства, по-
гибшего в ливанской войне
11.6.1982 года от рук террорис-
тов.

НИСИМ

ИЛИШАЕВ

ПЕРЕВАЛ

Р О М А Н



*Посвящаю роман "Перевал" светлой
памяти генерала Йекутиэля Адама, героя
Израиля, сына Кавказского еврейства, по-
гибшего в ливанской войне 11.6.1982 года
от рук террористов.*

НИСИМ ИЛИШАЕВ

ПЕРЕВАЛ

РОМАН

**ТЕЛЬ-АВИВ
1987 ГОД**

Корректор Наташа Рубина

Художник Эдуард Галь

© Все права сохраняются за автором

Глава первая

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ — МОСКОВСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

Командир отряда по борьбе с еврейским национальным движением в Москве полковник Чепраков прикрыл ладонью тарахтящий миниатюрный будильник в сафьяновой коробочке, лягнул золотыми зубами в длинном зевке и поднялся на ноги с кожаного дивана. Диван стоял под большим, в золотой раме, портретом Ленина, висящим в служебном кабинете полковника, на улице Огарева, в Министерстве Внутренних Дел. Встав на ноги, Чепраков первым делом налил себе в хрустальный стакан боржома из темной бутылки, выпил неспеша и рыгнул с чувством. Потом он наощупь застегнул форменные брюки на полном животе и натянул китель серо-стального генеральского сукна на нижнюю сорочку — на мускулистый корпус и сильные, заросшие черными, как у паука волосами руки. Звякнув орденами и проведя пухлыми ладонями по плешивой голове и отечному после сна морщинистому лицу, полковник неспеша подошел к столу, сел за него и нажал на кнопку звонка. Часы показывали пять минут после полуночи.

Порученец, капитан Рудько, свежий, как после хвойной ванны, впорхнул в кабинет начальника.

— Ну, что там? — хмуро глядя на порученца, спросил Чепраков. — Докладывай!

Открыв папку, которую он до этой минуты держал за спиной, как приятный сюрприз, Рудько застрочил, зачастил именами, кличками, датами и цифрами сообщений агентов службы наружного наблюдения, кабинетных анализаторов и внештатных осведомителей. Чепраков слушал рассеянно: он и без этого лощеного дурака, подброшенного к нему из ГБ, великолепно знал, что происходит сейчас в главном зале Центрального московского телеграфа, в пяти минутах ходьбы от парадного подъезда Министерства Внутренних Дел.

А происходило там вот что. Уже третьи сутки подряд тридцать пять московских, иными словами, подведомственных ему, полковнику Чепракову, евреев околачивались на телеграфе, тем самым своеобразно протестуя против невыдачи им разрешений на выезд в государство Израиль. Протест, собственно, был чепуховый: ну, околачиваются — и пускай себе околачиваются. Подстрекательских песен они там не поют, лозунгов не выкрикивают. Антисоветских плакатов у них тоже нет. Сидят, казалось бы, на лавках — и все тут... Но — корреспонденты иностранных газет дено и ночью пасутся на телеграфе, с нетерпением ожидая, когда же полковник Чепраков арестует проклятых жидов. Но — весь мир пишет о героических еврейских демонстрантах, бросивших молчаливый вызов советскому режиму. Но — чтобы избежать наказания за бесцельное пребывание в зале телеграфа, жидовские демонстранты денег не жалеют и каждый час посылают телеграммы дерзкого содержания в ЦК, в Верховный Совет и даже за границу. Вот они, телеграммы — здесь, в папке у капитана Рудько. И даже не только и не столько в наглых депешах дело — а в том, что рядовые советские люди, слушая всякие там зловредные зарубежные радиоголоса (тексты передач —

в папке у Рудько) толпами прутся на телеграф глазеть на евреев. Сегодня они глазют, а завтра им в голову придет самим пойти сидеть на телеграф или куда еще. Самое страшное для гражданина — это дурной пример: он куда заразительней триппера.

— Агент внешнего наблюдения Пыркин, затесавшись в толпу злоумышленных зевак, — рассеянно слушал Чепраков, — в девятнадцать часов сорок минут проник в здание телеграфа и записал на портативный магнитофон разговор между нарушителями и зевачами (пленка прилагается). При выходе с телеграфа зеваки в количестве 34 были задержаны спецнарядом, доставлены в 18 отделение милиции и зарегистрированы согласно паспортов. Оказавшиеся без паспортов — в количестве 6 — оставлены в отделении до выяснения личности.

Вот сволочи, раздраженно подумал полковник Чепраков. Сидели бы дома, глядели бы телевизор или водку пили, — так нет, тянет их черт знает куда! Надо будет дать знать по месту их работы — пусть их там прижмут по профсоюзной линии, лишат тринадцатой зарплаты, что ли. И выходят ведь из дому без паспортов, научились ваньку валять!.. Полковник уставился на блестящие черным лаком носки сапог капитана Рудько. Нет, не зря он такой сегодня бодрый, как жеребец перед случкой. Что-то он такое припас неприятное, этот капитанишко, что-то припрятано у него в папке.

Полковник Чепраков поскреб под столом коленку и прочистил горло: "Кха-кха!" Рудько на миг приостановил чтение, а потом продолжал:

— В двадцать два часа сорок пять минут в здание телеграфа проникла непредусмотренная группа лиц числом четырнадцать, предположительно грузинской национальности. — Капитан отвел папку от глаз и,

весело взглянув на начальника, сказал доверительно: "Похожи на кацошников с центрального базара, товарищ полковник, я сам ходил глядел. Как будто они лавровым листом сюда приехали торговать". — Приблизившись к нарушителям, эти лица затеяли с ними дружеский разговор, который не удалось записать по той причине, что один из прибывших вел себя вызывающе, словами и действиями отгоняя нашего внештатного сотрудника по кличке "Кривой" По предварительным выводам, лиц кавказского происхождения можно определить как группу поддержки.

Вот оно, подумал полковник. Вот оно! Группа поддержки... А мы прошляпили этих черножопцев — и на вокзале, и в Домодедове. Да это же политический скандал! Об этом завтра весь мир будет орать: "еврейская солидарность, жидовская спайка!" За это погоны снимут! В провинцию переведут!

— Где они? — вылезая из-за стола, хрипло спросил Чепраков.

— Там, товарищ полковник, — доложил Рудько. — Торчат на телеграфе.

— Пошли! — приказал полковник.

— Кто у вас тут главный? — придерживая под плащом длинный кинжал, спросил Мишка Нисимов у долговязого молодого человека, писавшего текст очередной телеграммы. — Ну, командир?

Евреи, сбившись в кучу, подозрительно пялили глаза на Мишку и его товарищей, особенно на силача Реувена, толкающего взашей явного стукача, торчавшего на телеграфе уже третьи сутки.

— Что-что? — спросил долговязый молодой человек у Мишки Нисимова. — Вам что, гражданин? Какой еще командир? Нет тут у нас никакого командира.

Мишка был слегка озадачен. Как нет командира? В таком деле без командира плохо.

— Мы кавказские евреи, — приблизив лицо к уху молодого человека, сказал Мишка. — Мы по радио про вас слышали и приехали вас охранять. У нас у всех кинжалы, и я — командир.

Услышав про кинжалы, долговязый молодой человек переменялся в лице и поспешно отошел к своим.

Решение о поездке в Москву было принято вчера ночью, в мишкином доме. Услышав по Би-Би-Си, что бастующих московских евреев начали прижимать всерьез и полковник Чепраков получил указание об их аресте, Мишка тут же сел на мотоцикл и поехал к Реувену.

— Я думаю, надо туда ехать, — сказал Мишка своему другу. — А то некрасиво получается: там евреев хотят сажать, а мы тут сидим, радио слушаем. Надо ехать!

— Поехать можно, — согласился Реувен. — Но что мы там будем делать?

— Как так что? — вспыхнул Мишка. — Охранять их! Они бастуют, а мы охраняем. А если мы потом надумаем бастовать — они нас охранять приедут.

Реувен недоверчиво прищурился, но другу возражать не стал.

— Ну, что ж, — сказал он. — Нас, правда, охранять не надо — мы и сами справимся.

— Не в этом дело! — придвинулся Мишка. — Они нам чем другим помогут: советом, или, например, если надо будет что-нибудь передать за границу, в Израиль...

— Тогда конечно, — окончательно согласился силач Реувен. — Надо ребят собрать и — в Махач-Калу. Завтра дневным рейсом полетим, к вечеру на месте

будем.

— Возьмем человек пятнадцать, — уточнил Мишка. — Ты давай чеши к базару, а я возьму вокзальный район. Ты приводишь шестерых, и я шестерых. Собираемся у меня, через полтора часа. Ясно?

— Ясно, — сказал Реувен. — Пошли.

Они скользнули в ночь, растаяли в ней. По улицам и переулкам, стуча в толстые деревянные двери, постукивая условным стуком в низкие окошки, шли, крадучись, два еврейских парня. Они понимали, чувляли сердцем: кончилась игра в войну, началась настоящая война. И пылали, полыхали их души: "Тот не смельчак, кто задумывается над последствиями!" Пороховые сердца, они решили помочь своим московским братьям — и не считали, сколько лет тюрьмы им грозит за эту братскую помощь, скрепленную кинжальным блеском. Ехать в Махач-Калу, лететь в Москву, явиться на телеграф — а потом будет видно...

Но прежде всего — тайно собраться у Мишки, обсудить детали, выработать план. И вот уже четырнадцать парней, по одному крадутся вдоль забора мишкиного сада и ныряют в узкую калитку. За калиткой их ждет сам Мишка, молча указывает им в глубь персиковой рощицы, на виноградную беседку. Там уже сидят молча дожидаются человек десять. Наконец, приходит Реувен, а за ним и хозяин оставляет свой пост у калитки.

— Ну, вот, — начинает Мишка, входя в беседку. — Все собрались... Такое, значит, дело: завтра мы летим в Москву. Радио все слышали?

— Все, все! — послышались ответы. Кто слышал Би-Би-Си, кто "Голос Израиля", кто сумел услышать "Свободу" сквозь гул глушителей.

— А я так думаю: пускай они сами выпутываются, — сказал двоюродный брат Мишки, плечистый, вы-

глядевший не по годам солидным Зерубавель, по кличке "Рупь". Они были погодки, Мишка и Зерубавель, Мишке зимой стукнуло восемнадцать, брат его был годом старше.

— Это почему же? — вздернул бровь Мишка. — Или они не евреи, как мы?

— Евреи, но не как мы, — усмехнулся Зерубавель. — Да и какие они там евреи в Европе этой? В синагогу не ходят, кошрут не соблюдают... Одно название только, что евреи. Они и нас в неприятности втравят.

— Ты что болтаешь! — сверкнул глазами Мишка. — Они хотят ехать в Израиль — это главное! Значит, они евреи, и еще какие! Ты — хочешь? Говори!

— Я еще не решил, — промямлил Зерубавель. — Я...

— Он еще не всю фабричную шерсть спустил налево, — вставил кто-то из темноты. — Как последний рупь выручит, так и решит: ехать или не ехать.

— И решу! — повысил голос Зерубавель. — И как решу, так и сделаю! Вон Мишиевы письмо получили от сына — загнали его в какую-то Димону, ни кола, ни двора! А здесь у меня — дом, да сад, да вон огород, и на шерсти я свой кусок в неделю имею.

— Тихо! — остерег Мишка. — Сейчас не о том речь. Наше дело — тебе предложить: ты с нами летишь в Москву или нет. Не хочешь — вместо тебя Барух поедет, ему только скажи.

— Я не потому не хочу с вами, что боюсь, — объяснил Зерубавель. — Все знают, что я ничего не боюсь: вон сколько раз в Москву летал и с шерстью, и с мясом. Да меня если б поймали — семь лет намотали бы за спекуляцию! Ну и что, боялся я? Нет, никогда не боялся!.. А сейчас не поеду, потому что эти там, на телеграфе, мне никто: ни родные, ни знакомые. Евреи! Ну и что, что евреи? Если б ты, Мишка, так завяз, или кто-нибудь из наших — тогда другое дело, тогда б я

первый поехал.

— Значит, не едешь? — уточнил Мишка.

— Нет, — подтвердил Зерубавель. — Остаюсь.

— Хорошо, — сказал Мишка. — Будем знать... Реу-вен, сходи за Барухом.

Разбившись на тройки для отвода глаз, вся группа перед рассветом была уже по дороге в Махач-Калу. Часть ехала поездом, часть — на попутках. Встретиться условились на аэродроме, у билетной кассы, и делать вид, что друг с другом незнакомы. Правила безопасности и конспирации выдумали Мишка с Реуеном. Как-то само собой вышло, что командиром группы оказался Мишка, а его помощником и заместителем — силач Реуен.

Двух билетов на рейс Махач-Кала—Москва не хватило, пришлось "подмазать" аэродромного диспетчера и первого пилота. В результате Барух и, похожий на горного медведя, шестнадцатилетний Арье были помещены в кабинку стюардесс — крохотную каморку между салоном и пилотской кабиной. Но это было даже лучше: вся группа не так бросалась в глаза.

Долетели благополучно, по-прежнему старательно делая вид, что друг с другом незнакомы. В Домодедове спустились на летное поле, кутаясь в плащи и куртки: весенний ветер был пронзителен. Выйдя из здания аэропорта, сели по четверо в такси и помчались в Москву. Сидя рядом с шофером, Мишка незаметно сжимал рукоятку кинжала под полый плаща. Сердце его гулко колотилось, он живо представлял себе, как войдет во главе своих ребят в зал телеграфа, подойдет к командиру еврейских демонстрантов и молча его обнимет.

К телеграфу подъехали в темноте, вышли из машины, сгруппировались. Теперь уже можно было не скрываться: добрались благополучно. Поднимаясь

по полукруглой лестнице, Мишка заметил пожилого бородатого еврея с грустными глазами, стоявшего тут как бы от нечего делать, и улыбнулся ему. Подумав самую малость, улыбнулся ему в ответ и грустный еврей и, задумчиво покачивая головой, проводил взглядом выпуклых красивых глаз группу поджарых, стремительных кавказцев.

Долговязый молодой человек звался Яковом, или попросту Яшей. Трое суток, проведенных на телеграфе, не дали ему даром: глаза его покраснели от бессонницы, под глазами обозначились тяжелые серые мешки. Он, однако, не собирался уступать свое место никому: связь с корреспондентом Ассошиэйтед Пресс была возложена на него, и он каждые два часа передавал американцу новости и копии отправленных телеграмм. Так что не только в папке у капитана Рудько копились копии еврейских телеграмм. И за границей тоже.

Положение демонстрантов-забастовщиков было не блестящим. Не видя никакой реакции властей, евреи начали нервничать, падать духом. Некоторые предлагали прекратить акцию, разойтись по домам. Досаждая евреям чем только возможно, милиция закрыла общественную уборную на самом телеграфе, а заодно и в окрестностях, так что до ближайшего сортира приходилось шагать на Красную площадь, в ГУМ. Там, однако, могли придраться и задержать по любому поводу и вовсе без повода. А когда вчера вечером Арон Шмулевич завернул помочиться в ближайшую подворотню, он был тут же арестован и получил пятнадцать суток за мелкое хулиганство: отправление естественных надобностей в неполюженном месте. Ведущие газеты мира сообщили об этом забавном происшествии, но ни евреям на телеграфе, ни сидящему за решеткой Шмулевичу от этого не стало весе-

лей и легче на душе.

Решено было бастовать еще два дня и с двенадцати ночи объявить голодовку. Текст телеграмм в ЦК КПСС и в ООН был составлен и передан корреспонденту Ассошиэйтед Пресс. Отправить телеграммы следовало ровно в двенадцать ночи: "Мы, группа московских евреев, движимые чувством отчаяния и надежды, объявляем голодовку..." Яша в уме перевел текст на английский и, горбясь на скамейке, следил за тем, чтобы корреспондент не выходил из зала. В половине десятого вечера уборщицы внеурочно приступили к мытью полов: плескали кипятком под ноги евреям. Евреи поспешно переходили с места на место, чтобы их не ошпарили, и это, видно, потешало стукачей и милиционеров, отиравшихся вдоль стен зала. Корр сделал фотографию мечущихся в клубах пара евреев, и это было здорово. Ради этого стоило и пострадать: такой снимок на первой странице какой-нибудь "Нью-Йорк таймс" мог принести десятка полтора виз, если не больше.

Подступавшая ночь не пугала Яшу, а только заботила его: он не был уверен в стойкости забастовщиков. Это, собственно, было естественно: люди устали, намучились. Страдающую диабетом Клару Марковну Лифшиц нужно было снять с забастовки сразу после объявления голодовки, после полуночи. Об этом тоже следовало сообщить корру и послать телеграмму в Международный Красный Крест.

Без пятнадцати десять Яша подошел к столику набросать текст телеграммы. Он не успел поставить точку, когда перед ним возник сверкающий глазами кавказец и, неизвестно чему улыбаясь, спросил:

— Кто у вас тут главный? Ну, командир — кто?

— Провокация! — промелькнуло в голове Яши. —
Надо подать знак корру.

Но американец, привлеченный видом 'диковатых парней, уже щелкал затвором своего аппарата.

Глава вторая

”ТАНЕЦ С САБЛЯМИ”

От МВД до телеграфа — рукой подать, и полковник Чепраков с Рудько пошли пешком. Улица Огарева была пустынна в этот поздний час. Приземистые дома, сложенные в прошлом веке по законам обрусевшей архитектурной классики, перламутрово светились желтым и серебристым в голубой темноте ночи. Чепраков, уверенно неся свой начальственный живот, шагал впереди. Рудько рысил, забегая то справа, то слева, но не обгоняя командира отряда по борьбе с еврейским национальным движением. Капитан Рудько был похож на охотничью гончую, нетерпеливо поспевающую вслед за охотником — приноживающуюся, готовую сорваться с места и мчаться, мчаться... Но, как собака боится хозяйского арапника, Рудько боялся полковничьего тяжелого взгляда. А полковник Чепраков шагал ходко — и вместе с тем неспеша, и эхо его шагов затравленно металось меж величественными домами улицы Огарева.

Поравнявшись с композиторским клубом ”Балалайка”, Чепраков вдруг остановился. Встал, словно бы сходу треснувшись лбом о каменную стену, и Рудько, и поднял узкую голову, приноживаясь: от ”Балалайки” вкусно тянуло запахом шашлычного дыма. Чепраков понимающе усмехнулся.

— Что, капитан, проголодался? — спросил Чепраков. — У вас на Лубянке шашлыки натуральные не дают, там гуляш с макаронами дают. Твоя Лубянка — это тебе не клуб творческой интеллигенции.

— У нас зато коньяк армянский всегда есть, — с оттенком обиды в голосе сказал Рудько. — А у вас, простите за выражение, товарищ полковник — сучок в буфете.

Чепраков немного подумал и спорить не стал: он не раз ловил уже себя на том, что, связавшись по службе с евреями, стал несдержан на язык. Нехватало только в разговоре с капитаном КГБ подшучивать над Лубянской и критиковать меню ее столовой...

— Оружие при вас, капитан? — официально, насупившись, спросил Чепраков.

— Нет, товарищ полковник, — ответил Рудько. — Согласно донесениям агентов внешнего наблюдения, поднадзорные невооружены.

— Халатность допускаете, капитан, — процедил сквозь зубы Чепраков. — Оружие играет роль не только карательную, но и устрашительную. Знаете Устав?

— Так точно, товарищ полковник, — сказал Рудько, — знаю. Виноват, исправлюсь... Разрешите вашим пистолетом воспользоваться в порядке исключения?

— Не разрешаю, — проворчал Чепраков и незаметно провел пухлой ладонью по замаскированной под ките-лем кобуре, в которой хранилась плоская бутылочка коньяка, бутерброд с черной икрой, трубочка валидола и пачка сингапурских презервативов. Полковник вот уже года три как не вынимал свое личное оружие из своего личного сейфа в служебном кабинете: пистолет был тяжел и неприятно давил на поясницу, особенно при ходьбе. А полковник Чепраков не любил осложнять свою жизнь.

На полукруглых ступенях Центрального телеграфа

стоял, сунув руки в карманы синей нейлоновой куртки, пожилой бородач с грустными глазами. Чепраков холодно взглянул на бородача и хотел было пройти мимо, но бородач независимо, а то и с долей издевки окликнул его:

— Здравствуйте, гражданин полковник! Поздненько вы нынче...

Сам бородач торчал на ступеньках с таким видом, как будто приближался полдень, солнце светило во всю и он, бородач, поджидал здесь свою лирическую приятельницу.

— А, Брубер! — словно бы только что заметив бородача, откликнулся Чепраков. — Добрый вечер. Что это вы тут делаете?

— А я гуляю! — с улыбкой младенца, пускающего пузыри, объявил Брубер. — Тихо, хорошо...

— Ну, гуляй, гуляй, — уткнув мясистый подбородок в воротник шинели, пробормотал Чепраков. — Скоро догуляешься... — И, не оглядываясь, взбежал по ступенькам. Капитан Рудько следовал за полковником, как на цепочке.

— Пошли в нашу комнату, — не отрывая лица от воротника, сказал Чепраков. — Понаблюдаем сначала...

Не входя в зал, они свернули направо и по узкой лесенке поднялись на второй этаж. Там, в огибающей зал галерейке, Чепраков отпер неприметную дверцу и вошел в тесную прокуренную комнатку. Стол стоял посреди комнатки, и зашторенное оконце выходило в зал.

— Накурили тут... — проходя к оконцу, недовольно заметил Чепраков. — Все помещение провоняли... — И, чуть отодвинув шторку, он заглянул в зал. Рудько пристроился за его плечом.

— Вот они, — прошептал Рудько. — Кацошники.

— Вижу... — не обернулся Чепраков.

Кавказцы, обступившие забастовщиков, имели вид решительный и дерзкий. Один из их группы, плечистый и подтянутый парень лет двадцати, толковал о чем-то с Яковым.

— Это кто? — кивнул головой полковник.

— Яшка это, — дал справку Рудько. — По связи с корреспондентами.

— Тэ-эк... — протянул Чепраков. Он чувствовал, что дело принимает незапланированный, неприятный оборот. Кто этот чучмек? Откуда он взялся? Зачем ему понадобился Яшка? Что они там вместе стряпают? А если завтра за рубежом появятся сообщения о еврейской солидарности внутри границ Советского Союза, об о р г а н и з а ц и и — кто за это будет отвечать?

А "кацо" тем временем повернулся и стремительной танцующей походкой направился к выходу из зала. Его место около Яшки немедля занял плечистый здоровяк килограммов на сто с лишком живого веса.

— О-го! — шепнул Рудько. — Где они такого взяли? Буйвол!

— Тише! — прошипел Чепраков. — Наблюдайте! А может, они вообще не евреи? — В голосе полковника промелькнула надежда. — Может, они им продать что-нибудь хотят?

— Может быть, — покрутил головой Рудько. — Хотя — едва ли...

Все также стремительно Миша Нисимов подошел к подзывавшему его знаками бородачу — и стремительно остановился.

— Я — Брубер, — вполголоса сказал бородач. — Будем знакомы

— Вы — Брубер? — переспросил Мишка. — Тот самый? — и добавил для окончательного пояснения: — О котором по радио передают?

— Ну да, передают, — кивнул головой Брубер. — А вы?

— Нисимов я, Михаил. — Мишка глядел на Брубера с нескрываемым восхищением. — Мы помочь вам приехали. — И, откинув полу плаща, Мишка показал Бруберу отделанный серебром кинжал в черных кожаных ножнах. Увидев оружие, Брубер слегка покачнулся и схватился за бороду.

— Запахните плащ, — сморщив лицо, быстро сказал Брубер. — Вы, что, с ума сошли?.. Но вы молодцы!

— Если кто будет мешать — мы их всех зарежем! — горячо сообщил Мишка, и Брубер снова болезненно поморщился. — Мы все из Дербента, горцы. — И, под недоуменным взглядом Брубера, добавил: — То-есть, евреи, горские евреи.

— Вы хотите ехать в Израиль? — мельком взглянув по сторонам, спросил Брубер.

— Очень! — выпалил Мишка. — У меня там даже родственники есть, даже генерал один есть: Йекутиэль Адам. Может, слышали?

— Слышал, — сказал Брубер. — Конечно, слышал... А вызов у вас есть?

— В том-то и дело, что вызова нет, — сказал Мишка. — Ни у меня, ни у ребят. Мы просили уже сколько раз — не доходят.

— Это мы устроим, — как бы про себя сказал Брубер. — Вызовы вы получите.

— наших кавказцев там много, в Израиле, — разговорился Мишка. — Кроме Йекутиэля, у меня еще родня есть: в двадцатые годы наши дербентские пешком в Палестину уходили, я их всех там найду!

— Молодцы вы, настоящие молодцы, — повторил Брубер. — Только кинжал никому не показывай, а то мы все на Дальний Восток поедем — не на Ближний.

— У нас у всех кинжалы, — легко махнул рукой Мишка. — Кто подойдет — все... — он сделал рукою выпад, как-будто наносил кинжальный удар.

— Вы должны сейчас отсюда уйти, — морщась, как от зубной боли, сказал Брубер. — Тихо и незаметно. Понимаешь?

— Вы — командир? — с надеждой спросил Мишка.

— Командир, — вздохнув, сказал Брубер. — Это приказ. Я дам тебе адрес, ты завтра ко мне придешь. Один и без кинжала.

— А тут нельзя сторожить до утра? — спросил Мишка.

— Нет, нельзя, — сказал Брубер. — Тут только что крутился один полковник, он... как бы это тебе сказать... самый главный начальник по борьбе с московскими евреями. Жалко, ты его не видел: тебе было бы полезно запомнить его физиономию.

— Он один пришел? — сведя брови, спросил Мишка.

— Ну, подмогу ему вызвать недолго! — хмыкнул Брубер. — Если он всех нас заберет — и нас, и вас — ваше дело плохо. Ты должен благополучно вернуться в Дербент. Это тоже приказ.

— Слушаюсь, — пружинно вытянулся Мишка. — Вернуться в Дербент.

— Завтра мы с тобой посидим, подумаем, что там у вас в Дербенте нужно делать, — помолчав, сказал Брубер. — А теперь иди к своим и — исчезайте!

Мишка повернулся на пятках и уперся взглядом в круглое, как блин, и как блин масляное лицо полковника Чепракова. За плечом Чепракова маячила оскаленная собачья харя капитана Рудько.

— Поздно, — сказал Брубер, взялся за бороду и поглядел на медленно подходящих офицеров. — "Танец с саблями" знаешь? — И, наклонившись к мишкиному уху, что-то зашептал.

И Мишка, великолепным прыжком снявшись с места, исчез в зале.

— Долго вы тут гуляете, Вульф Моисеевич! — гадко улыбаясь, сказал Чепраков и брезгливо взглянул на Брубера.

— А я уж собрался уходить, вдруг вижу — вы идете, — улыбнулся Брубер. — Вот я и решил подождать.

— Подождать, значит? — переспросил Чепраков.

— Значит, подождать, — повторил Брубер.

— А этот грузин — кто такой? — спросил Чепраков, надвигаясь.

— А он, вроде, танцовщик, — отстраняясь, сказал Брубер. — Из ансамбля. Концерт дали — ну, и гуляют, девочек ищут. Все тут девочек ищут, на телеграфе, уж вы мне поверьте.

— Эти, там, тоже за девочками пришли? — с угрозой в голосе спросил Рудько и кивнул в сторону забастовщиков, толпившихся в зале.

Брубер взглянул на капитана, светло улыбнулся и ничего не ответил.

— Ну, что ж, поглядим, что они там делает, — сказал Чепраков и двинулся к залу. — А тем временем наряд подъедет.

Странная картина открылась перед полковником и капитаном, когда они вошли в зал. Московские евреи вольготно сидели на лавках, держа на коленях папки, портфели, атташе-кейсы. Они как бы образовали квадрат, в центре которого в напряженных позах застыли приезжие "кацошники". И, как только офицеры возникли на пороге зала, сидевшие с грохотом опустили ладони на свои импровизированные барабаны. Чепраков застыл, как будто в него ударила пуля. Лицо его вытянулось, глаза приняли безумное выражение. Рудько коротко и шумно дышал за его плечом. А кавказцы, в такт глухому ударному рокоту, взялись резво, легко перебирать ногами.

— Ну, дают! — просипел капитан Рудько. — Формен-

ный цирк, товарищ полковник!

Мишка, плавно поводя руками, плясал перед группой. За ним квадратно громоздилась туша силача Реувена. Прочие, обнявшись за плечи, шаркали подошвами об пол. А сидевшие на лавках все сильнее и чаще били в свои портфели и папки.

Сверкнув в сторону полковника белозубой улыбкой, Мишка, перегнувшись в поясе, высоко подпрыгнул — и вдруг в его руке сверкнул серебряной рыбой кинжал. Чепраков инстинктивно подался назад и наткнулся мощной спиной на окаменевшего капитана. А Мишка резко крутанулся в воздухе, опустился на ноги — и вот он уже перед Реуеном, и они с диким криком, с орлиным каким-то клетотом бросаются друг на друга, рубятся кинжалами. Клинки, встречаясь, звенят, сыплются искры, москвичи бьют в свои барабаны и кричат "асса!" и "вай-вай!". И вот уже все четырнадцать, молниеносно вращая кинжалами, вертятся и скачут как дьяволы.

— Где наряд? — наливаясь свекольной кровью, спросил Чепраков, и услышал в ответ сиплый шепот Рудько:

— Вы вон туда поглядите, товарищ полковник: всех брать надо, сволочей!

Служащие ночной смены — приемщики, телеграфисты, техники — высypали из своих каморок и стояли теперь вдоль стен зала, азартно хлопая в ладоши. Простые люди, они улыбались смущенно и радостно, как работяги в цирке. Уборщица со стальными зубами и квадратным задом — это она усердствовала, поливая кипяток под ноги забастовщиков — легонько притопывала на месте и, кажется собиралась присоединиться к пляшущим. А те носились по залу, как на крыльях, все расширяя поле своего движения. И вот уже Мишка, пролетая мимо похолодевшего Чепракова, хищно сверкнул кинжалом перед самым его лицом. Асса!



И, повторяя его движения, мчались, летели другие... Выпучив глаза, полковник пятился раком, толкая капитана.

— Вот молодцы ребята! — как сквозь вату, услышал Чепраков голос Вульфа Брубера. — Лауреату премии обкома комсомола! Давай, мальчики!

И, словно в ответ на этот зрительский призыв, Мишка гигантскими прыжками бросился из глубины зала на полковника Чепракова. Кинжал, нацеленный точно в обширный живот полковника, не дрожал в руке наглеца. Полковник ойкнул и поспешно шагнул в сторону. Тыловой капитан Рудько, на свою беду зазевавшийся, был отброшен и сшиблен с ног, и Мишка легко через него перескочил. Лежа на боку, капитан с беспокойством наблюдал тяжелый бег силача Реувена, устремленный к дверям — к выходу из телеграфа. Но и Реувен почему-то не наступил на лежащего. За Реуеном, рассекая прохладный московский воздух ножницами ног, промелькнули над поверженным Рудько еще двенадцать стремительных фигур с кинжалами в руках. И вдруг стих, смолк стук дурацких барабанов в зале, и наступила благодатная тишина в зале. Деловитые иностранные корреспонденты защелкивали свои камеры в футляры и вскидывали кофры на плечо. Расходились телеграфные служащие, вполголоса обсуждая замечательное происшествие... Капитан Рудько поднялся и неспеша сбил пыль с колен и с полы шинели.

Полукруглые ступени Центрального телеграфа и тротуар перед ним были пусты: проклятых плясунов и след простыл, и бородатого Вульфа как ветром унесло.

— Повеселились... — пряча трубочку валидола в кобуру, мрачно молвил полковник Чепраков.

— Знаете анекдот, товарищ полковник? — нервно похохатывая, спросил Рудько. — Волк поймал лису, а она и говорит: дай, говорит, поплясать перед смертью!

Ну, давай, пляши... А она как скакнет — и в лес. А волк почесал в затылке и говорит: "И на хрена мне сдалась эта самодеятельность!"

И офицеры сумрачно, глухо заржали.

Знали б офицеры, куда стремительным наметом направляются плясуны, они удивились бы несказанно. Ясно было, казалось бы, и дураку, что в поздний ночной час, после телеграфного приключения проклятые кацо поедут пьянствовать во внуковский или шереметьевский кабак или поскачут на площадь трех вокзалов — там девочки хоть и подержанные, зато открыто круглые сутки и без перерывов. Но пеший отряд, возглавляемый легконогим Мишкой, скакал не на вокзалы и не на аэродромы. Добежав до Красной площади, горцы в молчании постояли у вечного огня памятника Неизвестному солдату, а потом, на рысях обогнув Лобное место, остановились у Мавзолея. Тут их настиг милиционер, и потребовал на всякий случай, документы.

— Достопримечательности столицы осматриваем, — протягивая паспорт, охотно пояснил Миша. — А то завтра домой лететь — и почти что ничего и не видели. Даже неудобно...

Паспорт у Мишки оказался в полном порядке и, возвращая документ, милиционер сухо взял под козырек.

— Сбегайте, товарищи, на Ленинские горы, — посоветовал милиционер, — там со специальной площадки панорама Москвы открывается. Надо обязательно посмотреть.

— А зоопарк открыт? — с надеждой спросил силач Реувен, с детских годиков мечтавший поглазеть на живого слона. — А то земляки спросят: слона видал? А я не видал.

— Да ты сам рассуди, парень, — с оттенком превосходства, но вполне дружелюбно сказал милиционер, — что главней: слон или Ленинские горы? Ну, вот...

— Конечно, горы, товарищ начальник! — бодро заявил Мишка.

А Реувен остался при своем мнении: слон куда главней и важней. Гор у них в Дербенте сколько хочешь, а слона нет ни одного.

Мишка явился к Вульффу Бруберу в назначенное время. Кинжал он отстегнул от поясного ремня и сунул в потертый ученический портфельчик. Отдать оружие Реувену или другому какому приятелю хоть на час ему и в голову не пришло.

На звонок открыл сам Брубер, за ним в коридорчике маячила черная собака устрашающих размеров. Собака задумчиво глядела на гостя и хрипло рычала, сомкнув пасть. Мишка пожалел, что послушался Вульфа и отцепил кинжал.

— Она своих не трогает, — заметив мишкино беспокойство, сказал Брубер. — Она на стукачей натаскана — сразу кидается.

Мишка, чуть робея, прошел в комнату. Там, у занавешенного портьерой окна, сидел в кресле человек, похожий на шпиона из книжек "Библиотеки военных приключений": дымчатые очки, мохнатый клетчатый пиджак, галстук-бабочка и два фотоаппарата на коленях. Мишке стало жарко, в горле у него пересохло.

— Знакомьтесь! — как ни в чем ни бывало, сказал Брубер. — Господин Закс из Канады, господин Мишаэль... Да он сам представится.

Услышав, что его назвали "господин", Мишка окончательно смутился.

— Нисимов моя фамилия... — пробормотал Мишка.

— Вы и есть горский еврей? — с любопытством спросил канадский Закс на ломаном русском языке.

— Ну, да, — подтвердил Мишка и вопросительно взглянул на Вульфа. Тот улыбался ободряюще.

— Господин Закс — канадский журналист, — сказал Вульф. — Он хочет написать статью о горских евреях. Это очень важно, Миша.

— Тогда ладно, — сказал Мишка и сел к столу. — Запишите: нам книжки нужны — учебники иврита и еще такая книжка про Израиль, Герцль ее написал. Я сам не читал, мне рассказывали.

— Книжки — это его специальность, — сказал Закс и кивнул на Вульфа, и Вульф несколько озабоченно обвел взглядом стены и потолок комнаты. — А моя специальность — газеты... Итак, сколько евреев хотят уехать с Кавказа в Израиль?

— Хотят-то, пожалуй, почти все, — подумав, сказал Мишка. — Только одни хотят и не боятся, а другие хотят и боятся. Но есть и такие, которые пока вообще не хотят, — он вспомнил Зерубавеля и плотно сжал губы под щеточкой молодых усов.

— Это замечательно интересно — то что вы рассказываете, — сказал Закс, и золотой его карандаш замелькал над блокнотом, как жар-птица над снежным полем. — А ваши старики? Что они думают? Ехать? Не ехать? Ведь вы слушаетесь ваших стариков?

— Молодые хотят! — сжав руку в кулак, сказал Мишка. — А стариков куда мы повезем — туда они и поедут. Старики тоже хотят — но они хотят умереть в Израиле. А мы хотим там жить. Старики...

— Что? — насторожился Закс.

— А то! — пристукнул кулаком по столу Мишка. — Вы, что, думаете, мы в наших горах живем, как дикари какие-то, как в Африке, что ли? Это раньше так было: что старик скажет, то мы и делаем. А если старик — дурак, или синильный уже?.. Мы стариков уважаем, но своей головой живем.

— Интересно, очень интересно... — работая карандашом, прошептал Закс. — А что вы знаете об Израиле?

— Все! — твердо сказал Мишка. — Израиль — наша земля, и все.

— Господин Закс бывал в Израиле, он оттуда сейчас приехал, — вошел в разговор Брубер.

— Правда?! — вскочил Мишка. — Как там? Горы есть?

— Есть горы, — улыбнувшись, слегка пожал плечами Закс, и это пожатие не осталось незамеченным. — И есть евреи, много евреев.

— А вы, простите, еврей? — чуть щурясь, спросил Мишка.

— Я? — переспросил Закс. — Ну, конечно!

— Тогда что ж вы не едете из вашей Канады в Израиль? — уже требовательно, чуть ни с угрозой спросил Мишка. Вульф покашлял, как бы прочищая горло перед пением.

— Ну, что ж, — сказал Закс, глядя не на Мишку, а на Вульфа, как будто это он спросил его и теперь ждал ответа. — В Израиль едут жить либо герои, либо сумасшедшие. А я и не то, и не другое. Я обыкновенный канадский еврей. Я хожу в синагогу по праздникам. А в Иерусалиме я уже купил себе место на кладбище. Двухспальное.

— Как так двухспальное? — не поверил своим ушам Мишка.

— Для себя и для жены, — пояснил Закс. — Прямо при въезде в Иерусалим есть кладбище, очень хорошее. Это, правда, не Масличная гора, но все же...

— Почему же не на Масличной горе? — с ухмылкой спросил Вульф.

— Масличная гора — для очень богатых евреев, — охотно объяснил Закс. — Это мне не по карману.

Вульф отошел к окну, отодвинул портьеру и выгля-

нул на улицу. Хорошо, что удалось свести кавказца с канадцем — полезно и для одного, и для другого. Канадец напишет статью о диковатых, но прямодушных горских евреях, пламенно преданных идеям сионизма, а Мишка расскажет в своих горах о таких дураках, которые могут купить в Израиле дом — а покупают могилу. Жаль только, что Мишка явился без кинжала. Еврейский кинжал, наверняка, стал бы гвоздем заксовой статейки... Из черной "Волги" с гебешным номером, стоявшей против Вульфо́ва подъезда, вылез плотный дядька в синем драповом пальто и шляпе и пошел к табачному киоску. Еще двое остались сидеть в машине. Вульф вздохнул и задернул портьеру.

— У господина Нисимова кинжал есть, — оборотясь к Заксу, сказал Вульф. — Так, на всякий пожарный случай.

— Кинжал? — вскинул брови Закс. — Настоящий кинжал? Можно посмотреть?

— Он его с собой не носит, — повернув голову к стене и повысив голос, сказал Вульф. — Он у него в сакле висит, в горах. Советским гражданам не нужно с собой оружие носить, их милиция бережет. — И Вульф подмигнул Мишке.

Мишка понял этот заговорщицкий знак по-своему. Быстро расстегнув портфель, он бережно достал оттуда кинжал и положил его на стол перед журналистом. Вульф, покачивая головой, приложил палец к губам.

— Можно? — шепотом спросил Закс.

— Можно, — разрешил Мишка. — Только не обрежьтесь.

Закс с осторожностью взял оружие и вытянул клинок из ножен.

— Ручная работа! — с восхищением сказал Закс,

рассматривая кинжал. — И какой большой! Старинный? Таким быка можно зарезать.

— Быка тоже можно, — согласился Мишка.

— А... — замялся Закс, — людей им тоже резали?

— Да как вам объяснить... — уклонился от прямого ответа Мишка. — Это же ведь кинжал, а не перочинный ножик. И, потом, он еще моему деду достался от его деда. А тогда, — заметив предостерегающий жест Вульфа, заключил Мишка, — при проклятом царском режиме, горцы все время резались кинжалами. При капитализме.

Все трое понимающе усмехнулись. Карандаш Закса снова замелькал над блокнотом.

Через четверть часа Закс распрощался и, подарив Мишке значок с изображением магендавида, ушел. Заперев за ним дверь, Вульф вернулся в комнату. Печальные его глаза смеялись, и это было похоже на живой солнечный свет, пробивающийся сквозь тучи, нависшие над горами.

— Евреи всякие нужны, евреи всякие важны, — сказал Вульф. — Чаю хочешь? Сейчас заварим. И давай-ка поговорим о твоих делах.

Они пили чай с костлявыми сушками, посыпанными маком. Мишке удивительно приятно и легко было сидеть здесь, за круглым обеденным столом, со знаменитым еврейским активистом Вульфом Брубером, имя которого то и дело повторялось всеми радиостанциями Запада, вещавшими на русском языке. Он, Мишка Нисимов — и Вульф Брубер! Вот бы Зерубавеля сюда! Нет, пожалуй, не стоит — у Зерубавеля язык без костей, не созрел еще Зерубавель для важных дел. Созреет еще, некуда деваться...

— Пять экземпляров "Элеф милим" я тебе дам, — сказал Вульф, — а Герцля...

— Что это — "Элеф милим"? — перебил Мишка.

— Учебник иврита, — сказал Вульф. — А Герцля и "Фельетоны" Жаботинского тебе кто-нибудь подвезет из наших ребят, я тебе дам знать.

— Хорошо бы еще такие значки, — попросил Мишка, указывая на полученный от Закса магендавид.

— Это можно будет, — сказал Вульф. — Наглядная, так сказать, пропаганда. И, пожалуй, парочку пластинок с израильскими песнями.

— А что мне там, у нас, делать? — жарко дыша, спросил Мишка.

— Ну, это ты лучше меня знаешь! — сказал Вульф. — Учите понемногу иврит, слушайте радио. Главное, чтоб побольше евреев вовлечь в это дело. У вас там, вообще-то, интересуются проблемой Израиля, выезда? Или пока что только единицы, как ты?

— Все! — воскликнул Мишка. — Нет семьи, где бы об этом не говорили! Одни — за, другие — против, но говорят все.

— Это самое главное, — убежденно сказал Вульф. — Это как вспаханное поле, а тебе только сеять остается. Давай, сей!

— А семена дадите? — Мишка глядел на Вульфа твердо, почти торжественно.

— Семена дадим, — не отводя взгляда, сказал Вульф. — Ты себе даже не представляешь, как это важно, что вы приехали. Но больше такие номера не устраивайте — в другой раз вас всех тут перехватывают.

— Мы в тюрьму готовы идти! — распрямил плечи Мишка.

— Посадят — так и пойдете, никуда не денетесь, — без подъема сказал Вульф. — А кто сеять будет? Если бы вас тут сейчас забрали, Кавказ на сколько лет замолчал бы, а?

— Да, правда, — удрученно согласился Мишка. — Испугались бы наши, с непривычки. Если бы за левые

дела какие-нибудь посадили, или за спекуляцию — это ничего, никто бы не испугался. А за еврейские дела — испугаются.

— Ну, вот видишь! — сказал Вульф. — Сейчас важно начать по-настоящему, а когда дело пойдет, тогда его уже не остановить. Так и у нас было, в Москве. И давай так договоримся: ты отвечаешь за Кавказ. Ты — командир! Согласен?

— Согласен! — сдвинув брови, сказал Мишка. — Бе шана абаа б'Йерушалаим!

— Бе шана абаа б'Йерушалаим! — повторил Вульф.

И они, привстав, пожали друг другу руки — над круглым обеденным столом, над чайными чашками и русскими сушками.

Сняв китель, полковник Чепраков освобожденно щелкнул резинками подтяжек, сел за письменный стол и открыл папку с пометкой "секретно" в верхнем правом углу. Полковник поплюнул палец и принялся перелистывать отчеты агентов внешнего наблюдения, перлюстрированные письма и тексты подслушанных телефонных разговоров. Все документы были пронумерованы и снабжены особыми кодированными значками, понятными немногим.

— Рудько! — не оглядываясь, позвал полковник.

— Есть! — отозвался капитан, подымаясь из-за своего столика около двери.

— Почему нет материала на чучмеков? — спросил полковник. — Ну, этих, телеграфных?

— Вот он, — доложил Рудько, — у меня.

— Дай-ка! — распорядился Чепраков.

Вдев мясистое лицо в очки в золотой оправе, он просмотрел странички:

— Это все?

— Все, товарищ полковник! — подтвердил Рудько.

— А отъезд?

— Вот тут написано, — Рудько наклонился над столом начальника. — Разъезжались поодиночке, кто самолетом, кто поездом.

— Не такие уж дураки... — проворчал Чепраков. — А этот главный их, который ножом махал? Он — как?

— Потеряли его, — сокрушенно вздохнул Рудько. — Членышев его пас, я ему нагоняй дал.

— Нагоняй! — возмущенно воскликнул Чепраков. — Ползарплаты у него надо снять, вот что! Как же это он его упустил!..

— В шестнадцать тридцать поднадзорного засекли при входе в дом Брубера, наши люди его засекли, — капитан сделал ударение на "наши"

— Какая разница! — досадливо перебил полковник. — Ваши, наши! Ваши засекли, ваши и упустили. Так?

— Не совсем, товарищ полковник, — злорадно улыбнулся Рудько. — Наши люди передали поднадзорного вашему Членышеву, прежде чем ехать за иностранцем, вот тут записано, — Рудько пальцем указал, где именно. — Членышев довел поднадзорного до Зоопарка, где у него была встреча с этим бугаем, ну, который, тоже там плясал, с бандитской рожей.

— Ну, дальше что? — поторопил Чепраков.

— И в районе слоновой горки они как сквозь землю провалились, — заключил капитан Рудько.

— Безобразие! — полковник хлопнул ладонью по раскрытой папке. — Скажите этому Хренышеву, пусть рапорт пишет по всей форме. Я его в постовые упеку! Тоже мне, следопыт драный! Разгильдай!.. Другие каким рейсом уехали?

— Кто на Баку, кто на Махач-Калу, — доложил Рудько. — Один в Воронеж поехал.

— "В Воронеж" — с омерзением повторил Чепраков — Чего ему там делать, яблоками торговать? Москва—Воронеж — хрен догонишь...

Глава третья

БЕЛЫЙ ДОМИК С ЗЕЛЕНЫМИ СТАВНЯМИ

Дербент шумел, как потревоженный улей: негромко, но непрерывно. Как будто шел кто-то мимо, своей дорогой, увидел улей и сунул в него палку...

Белый домик с зелеными ставнями, на улице Карла Либкнехта, сделался точкой пересечения множества интересов, чаяний и надежд. Дербентские евреи и раньше — и не без задней мысли — называли это приземистое глинобитное строение, этот окраинный домишко, с крышей утонувший в абрикосовом саду, — называли его "Белый Домик". И приезжие из Хасав-Юрта, из Кубы и из каких-то неведомых плодоягодных горных долин тянулись за просвещенными жителями "Кавказского Иерусалима" и тоже говорили — "Белый Домик". Так и повелось, и пошло. И обитатели дербентского "Большого Домика" не только в разговорах между собою, но и в оперативных сводках и в официальных донесениях именовали этот объект пристального наблюдения "Белый Домик".

Домик принадлежал семье Нисимовых, и именно в нем, к немалому огорчению и раздражению наблюдателей из Большого Домика, появился в свое время на свет Йехескель Нисимов — моряк, легендарный герой и гордость республики. Хорошо еще, что мемориальную доску не успели здесь установить — а ведь

хотели, хотели! — а то совсем теперь было бы неприятно: в родном, так сказать, гнезде замечательного советского человека, героя Советского Союза Йехескеля Нисимова собирается антисоветский жидовский кагал и обсуждаются отвратительные планы измены социалистической родине. Ни больше и ни меньше!

Теперь домом и садом владел Овадия Нисим, родной брат героя. Но не в Овадии, вышедшем на пенсию директоре Военторга, было дело! Дело было в Михаиле, политически ненадежном сыне члена КПСС Овадии Нисимова. В "Деле", хранившемся в сейфе Большого Домика, немало было написано интереснейших вещей об этом самом беспокоящем Мишке, и хозяин Большого Домика — председатель местного КГБ полковник Муса Ибрагимов — не раз уже предлагал вышестоящему начальству Мишку Нисимова брать и сажать. Самое мерзкое и оскорбительное во всей этой истории было то, что он, Муса Ибрагимов, должен был просить Махач-Калу о такой безделке, как арест какого-то еврейского хулигана без определенных занятий. Послать, казалось бы, наряд, сунуть Мишку головой в машину — и вся недолга! Так нет, нельзя... Об этом паршивом щенке, видите ли, "Би-Би-Си" рассказывало и "Голос Америки", и заключение Мишки под стражу, понимаете ли, вызовет нежелательную реакцию на Западе. Плевать я хотел на этот Запад! — размышлял Ибрагимов, вертя ручки настройки "Сони" и старательно настраиваясь на вражескую радиоволну. Тоже мне, Запад! Что, Мишка — американец, что ли? Дать ему годиков пять — и пасс-пароль, потом поглядим... Полковник Ибрагимов очень любил играть в покер и слушать по радио зарубежный "голос врага". И когда впервые, прижав крепкое ухо к динамику, услышал он имя Михаила Нисимова, отказника из Дербента, — его чуть

удар не хватил: тоже, грамотеи, нашли о ком говорить! Лучше бы сказали что-нибудь о нем, Мусе, как он безжалостно борется с врагами советской власти. Но про полковника Ибрагимова радиодиверсанты даже и не заикались, а про Мишку Нисимова завели они гнилую моду говорить чуть ни каждую неделю: куда он, видите ли, ездит, что голодовку протеста он, понимаете ли, объявил и что какие-то вонючие марки собирал, когда был маленький. Слушая все эти байки из загнивающего капиталистического далека, Муса яро завидовал Мишке и горько сожалел, что он не окошел от своей голодовки... А тут еще новость: пришел из самого Центра приказ, что следить за Мишкой этим в четыре глаза, чтобы он, не дай Бог, не споткнулся и ножку себе не сломал или чтоб разгневанные радиослушатели города Дербента не подстерегли его в темном переулке и морду ему не набили. Ознакомившись с приказом, Ибрагимов снял телефонную трубку и дрожащим от обиды пальцем набрал номер Большого Дома в Махач-Кале.

— Ты сиди, Ибрагимов, не самовольничай, — ответила ему трубка голосом полковника Козолупова. — Если с головы Нисимова упадет хоть один волос, мы с тебя всю голову снимем!

— Но почему?! — взмолился Муса. — Тут отдельные граждане ко мне обращаются, просят разрешения поговорить с ним по-хорошему!

— Тебе, что, не ясно? — рявкнула трубка. — Если на него даже кирпич со стройки упадет — наши идеологические враги на весь свет станут орать, что это мы его замочили. Выполняй!

— Но он же антисоветчик! — простонал Ибрагимов, но Козолупов уже дал отбой, и трубка противно тутукала в чуткое ухо политически незрелого Мусы.

А началось все с вызовов, с этой сионистской зара-

зы. Как он был прав, как он тогда был прав, полковник Муса Ибрагимов! Это по его прямому распоряжению вызовы из Израиля не вручались адресатам, а поступали прямым в Большой Домик, и на каждого несостоявшегося получателя заводилось особое Дело. И никакие тогда получатели-молучатели не могли даже пикнуть, ни про каких Мишек заграничное радио не рассказывало. Но потом этот проклятый Мишка Нисимов, головорез, поехал в Москву и привез оттуда целую дюжину вызовов. В иностранном посольстве получил! Да это ж шпионаж! Да за это ж вышку дают!.. Вот и вышка: прославился на весь свет, люди на улицах узнают. Разве ж это справедливо? А Козолупов еще орет по телефону и грозитя голову откусить. Нет, русский человек местную ситуацию до конца осознать не может, кишка у него тонка. Здесь, чтоб порядок был, надо действовать кинжалом и кастетом, кинжалом и кастетом. А они у себя в Москве гнилой либерализм развели, пятнадцать суток дают — и то в лучшем случае. И антисоветский правонарушитель гуляет себе на свободе и с иностранцем виски жрет. И это называется соблюдение законности! Позор, да и только! Стыд, понимаете ли!

А ведь полтора года назад еще не поздно было все повернуть в нужную сторону. Он, Муса, вызвал тогда к себе этого самого Мишку — сразу после того, как он из Москвы вызова привез и народишко потянулся их предъявлять начальству — и сказал ему с партийной принципиальностью и прямоотой: "Я тебе все мозги по стене размажу, сука! Я тебе кишки на шею намотаю и бантиком завяжу! Сейчас как дам по лбу — уши отлетят! Подписывай, гад, что ты из Москвы нелегальщину привез!" А он и говорит, Мишка этот проклятый: ну, что ж, говорит, я подпишу, гражданин начальник, потому что под давлением. Ишь, слова-то какие выу-

чил в Москве: под давлением! Но — подписал. И надо было его тогда же, в соответствии с оперативным планом, оставить в Большом Домике посидеть до суда — а областной прокурор, перестраховщик, санкции не дал. Пришлось Мишку домой отпустить до поры — до срока. А наутро Мишка этот самый, наглец, явился и говорит: вот, говорит, пленочка магнитофонная, копия, знаете ли, послушайте, пожалуйста! А там, на пленочке, понимаете ли, весь отеческий разговор записан — и про мозги, и про кишки. ”Я, говорит, побеспокоился, гражданин начальник, чтобы оригинал пленочки к одному иностранному корреспонденту, моему хорошему другу попал, в Москве”. И вот тут-то и дала извилистую трещину стальная душа полковника Мусы Ибрагимова: спустя несколько дней он, дрожа от волнения, услышал по ”Голосу Америки” собственный голос: ”Кишки на шею намотаю! Мозги по стене... Уши!”... Хорошо еще, что с работы потом не сняли — а строгача по партийной линии все же закатали за отсутствие бдительности: чтоб в другой раз проверял, нет ли у поднадзорного в кармане вражеского магнитофона. Вот ведь как мечта-то обернулась: плечиком — да в зубы. Дождался, видите ли, мировой славы по радиоэфиру. Хорошо еще, что пираты короткой волны не прознали ничего про дядьку проклятого сопляка, про капитана 2 ранга Йехескеля Нисимова, не связали его святого имени с грязными делишками международного сионизма.

Что же до отважного Мишки — он, разумеется, получил по первому разу отказ: наши советские границы на замке, а ключик от замка в кармане у того, у кого надо. Мишка расстроился, но виду не подал: мы, нисимовская порода, не сгибаемся и в огне не горим. Зато в воде тонем, — подписывая отказ, с усмешкою подумал Ибрагимов и испытал вдруг легкую неприязнь

к национальному герою и знаменитому земляку Йехескелю: родись он не евреем, а аварцем или даже лакцем — и не было бы никаких неприятностей. А так родичи его воду баламутят... Опять вода, — снова ухмыльнулся Муса. И ему представилась на миг подводная лодка "ТС-704" и немецкий крейсер "Трапезунд" в том самом боевом виде, в каком они были изображены на картине в приемной райкома партии — в огне и дыму, в ледяной воде Северного моря, в золотой раме.

После третьего отказа Мишка объявил голодовку, после четвертого написал дерзкое письмо Председателю КГБ, и письмо это, понимаете ли, было тут же передано по Би-Би-Си. И вот, по пятому заходу, пришло наконец из Москвы разрешение на выезд в Израиль на постоянное жительство семьи Нисимовых: пенсионера Овадии, его жены Ципоры и их сына Михаила. Муса Ибрагимов вздохнул свободно: пусть катятся к чертовой матери. И с' глаз, знаете ли, долой, из сердца вон. Чтоб тут горный воздух не портили и радио чтоб больше не засоряли. А в наследники национального героя можно будет теперь перевести Зерубавеля Нисимова — с ним договориться можно, он парень сообразительный, не зря в столицу не прокламации возит, а цветы и абрикосы.

Столы ставили и в саду, и в доме.

— Может, не надо такой шурум-бурум устраивать? — робко спрашивала Ципора, но Мишка сдвигал брови и отвечал категорично:

— Надо, мама. Люди видят: Нисимовы получили разрешение, Нисимовы не боятся праздновать свою победу. Люди поглядят, вина у нас выпьют на проводах — и сами пойдут заявление на выезд подавать.

Овадия ничего не говорил, а только подкручивал свои усы и смотрел несколько потерянно. В день по-

лучения разрешения он достал откуда-то из тайника черную ветхую ермолку, надел ее на голову и с тех пор не снимал. В день сдачи партийного билета он отправился в магазин "Юный техник" и купил там компас. Вернувшись восвояси, он долго бродил по саду с компасом в одной руке и школьной географической картой — в другой. Наконец, он поднялся в дом и, заняв позицию у одной из стен гостиной, принялся молиться.

— Что это отец там искал, в саду? — шепотом спросила у сына потрясенная Ципора. — Может, клад какой ему дед оставил?

— Клад! — улыбнулся Мишка. — Скажешь ты, мама... Это он направление искал на Иерусалим.

— Пешком, что ль, собирается туда идти? — ворчливо спросила Ципора.

— Это для молитвы, — объяснил Мишка. — Кто хочет молиться, тот должен лицом повернуться к Иерусалиму. Ты не знаешь, что ли?

— А лампочки с собой брать? — ушла от прямого ответа Ципора. — Электрические? Там свет-то есть, в Израиле? Я у отца спрашивала, а он кричит, ничего не отвечает.

— Свет есть, — посерьезнел Мишка. — А лампочки не бери — там свои есть... Лампочки! Срамиться только!

Гостей позвали к вечеру, когда жара спадет и стемнеет. Мишка так и сказал: пусть все идут, кто хочет, знакомые и незнакомые. Первым явился Зерубавель, на правах родственника. Отозвав двоюродного брата в сторонку, он сказал:

— Знаешь, Мишка, ты мне вызов пришли, только постарайся без имени.

— Как без имени? — удивился Мишка. — Ты, что, Рубль — того, что ли?

— Понимаешь, — вильнул глазами Зерубавель, —

я, вообще-то, решил ехать, но еще не сейчас. Вот денег подзаработаю — и поеду. Зачем гоям деньги оставлять. Это даже глупо.

— А вызов тут при чем? — с подозрением спросил Мишка.

— Я имя, какое надо, поставлю, за пятьсот рублей его продам, — объяснил Зерубавель. — А с гоя можно и все восемьсот взять.

— Тыфу! — плюнул Мишка и пошел прочь.

Зерубавель догнал брата.

— Ну, что тут такого, Мишка! — забегая вперед, сказал Зерубавель. — Подумаешь! Никому от этого не плохо! Чем яблоками торговать, так лучше вызовами: и денег больше, и ящики таскать не надо. А?

Мишка остановился, глядел хмуро, презрительно:

— Мы с тобой из одного корня, Рубль, а в разные стороны смотрим. Вызов! Да за этот вызов люди кровью платят, не деньгами! А у тебя на уме только деньги, больше ничего. Смотри, посадят тебя за эти твои яблочки — уехать не успеешь.

— Риск есть, — согласился Зерубавель. — Но ты меня тогда спасай оттуда, кричи: брата, мол, замели за сионизм, расправиться хотят.

— И не думай даже, — сквозь зубы процедил Мишка. — Посадят тебя — я всем скажу: жулик он. А завтра подашь документы — все для тебя сделаю!

— Завтра никак не могу, — огорчился Зерубавель. — Цистерну вина на той неделе погоним в Москву с грузином одним. Такой парень, я тебе скажу! Золото! Он за вызов тыщи две отвалит — даже не поморщится.

— Все! — отрубил Мишка. — Я тебе сказал. Если б дядя Йехезкель в земле лежал, он бы в гробу своем вертелся от твоих этих разговоров... Ты же смелый парень. Что ты делаешь? Всю смелость на спекуляцию переводишь!

— Это не спекуляция, это бизнес называется, — дал разъяснение Зерубавель. — А смелый — да, ты и сам знаешь! Вон, в прошлом месяце в Ростове меня мусора обложили — я с грушами ездил, груши первый сорт — я от четверых отбился, одному мордастому челюсть своротил. А потом сержанту ихнему четвертной дал, и товар спас. Теперь я в Ростов хочу вагон шерсти спустить, через сержанта этого.

— Слушай, Рубль, мы ведь с тобой братья, — устало сказал Мишка и сел на скамейку под старым абрикосовым деревом. — Неужели тебе это еще не надоело? На кой черт тебе столько денег? Давай, приезжай скорей, вместе устраиваться будем, вместе в армию пойдем, в одном танке будем сидеть. Ну?!

— Если меня в танк посадят — я вперед попру, ты не бойся! — Зерубавель по-нисимовски сдвинул брови над переносьем. — Только я свое уже в танке отсидел, больше мне не хочется: до сих пор в ушах гром стоит. Я в Израиле магазин открою, "Фрукты—овощи" — весь из стекла, дверь тоже стеклянная, продавцы в черкесках, а я в бурке. Доллары сачком буду собирать!

— Ну, открывай, черт с тобой, — махнул рукой Мишка. — Я за тебя в танк сяду... Только приезжай скорей!

— Немного еще покручусь и приеду, — пообещал Зерубавель. — Жди! И, знаешь что, если вызовы не хочешь — пришли джинсы и кофточки нейлоновые, у меня покупатель есть. Хорошо?

— Сядешь ты, Рубль, ни за грош, — подымаясь со скамьи, сказал Мишка. — Ладно, пришлю тебе я штуки эти... Только шерсть не вози в Ростов, она же ворованная!

— Была ворованная, а теперь уже моя, — улыбнулся Зерубавель. — Бизнес есть бизнес! Ты не бойся!

— Я и не боюсь, — сказал Мишка и пошел к дому.

Во дворе в больших казанах варилась душбара, пофыркивали в соусе япракы и исходила нежным ароматом долма-хоягуш. В теньке понуро уткнулась мордами в землю тройка баранов, часы их были сочтены. Дальние родственницы под навесом сосредоточенно толкли чеснок в ступках, их мужья и братья готовили мангалы для кебаба и шашлыка. Плечистый парень с рябым лицом, не глядя на баранов, точил на оселке тяжелый широкий нож.

— Варенье подавать? — спросила Ципора, вытирая руки о передник. — Айву?

— Все неси, мама, — сказал Мишка. — С собой ничего не возьмем, здесь ничего не оставим. Отец где?

— Молится, — сказала Ципора. — Кинжал свой и зонтик в сундук уложил, фотографии все со стенок снимал — и молится.

— Ну, ладно, — сказал Мишка. — Вон гости на такси приехали, пошли встречать. Кто это может быть? Из Кубы, что ли?

Хлопнула калитка. По дорожке, ведущей к дому, шел Вульф Брубер.

— Вульф!

— Мишка!

Они обнялись, хлопали друг друга по спинам, смеялись.

— Ну, вот, — сказал Вульф, высвобождаясь из объятий друга и рассматривая его светящееся радостью лицо своими печальными, цвета вишневой вишни глазами. — Вот я к тебе и приехал. Лучшего повода не найдешь, а, Мишка?

— Пошли в дом, — потянул Мишка, — отдохнете немного с дороги. Устали? Ноги хотите помыть — я таз принесу?

— Это самолету надо ноги мыть, — пошутил Вульф.

— Или крылья... Знаешь что, пошли немного в саду посидим. Это что, яблони?

— Абрикосы, — поправил Мишка.

— Ну, вот, — сказал Вульф. — Представь себе, я еще никогда в жизни не сидел в абрикосовом саду. Красиво и, главное, тихо-спокойно.

Вульф пристально взглянул на Мишку, и тот понял: в доме говорить небезопасно, иногда и на стенах уши растут. На абрикосовых деревьях уши куда реже встречаются, чем на стенах.

Мимо толкущих чеснок женщин Вульф вслед за Мишкой прошел в глубь сада, в самые его нежнозеленые недра. Ухоженные деревья перемежались там с кустами роз, и каждая была с чайное блюдце: лимонно-желтые и цвета топленого молока, снежно-белые, пунцовые и цвета густой бычьей крови. Дурманый аромат, нежный и сильный, исходил от кустов, и Вульф остановился и потянул воздух ноздрями, как лошадь, почуявшая далекую конюшню с клоком сена и мешочком овса в тесном стойле.

— Смотри-ка, это как рай, — остановившись, сказал Вульф. — И вон на той лужайке — Адам и Ева. Рай!

— Где? — спросил Мишка.

— Да нет, это я так... — вроде бы смутился Вульф. — Это просто от усталости. — И добавил, уже с долей иронии: — Ева вычесывает гнид из гривы Адама, а Адам рассказывает Еве истории из жизни еврейского народа... Да, Мишка, запах потрясающий!

— Мать хотела черенки розовые взять с собой, — сказал Мишка, — я не разрешил.

— Почему? — Вульф снял куртку, бросил ее на землю и сел, неловко подогнув колени.

— Не надо, — свел брови Мишка. — Ничего мне отсюда не надо: ни грязи их, ни роз. Мы там новые розы раз-

ведем — наши.

— Еврейские? — краешком рта улыбнулся Вульф.

— Да, еврейские, — твердо сказал Мишка. — Израильские.

— Ну-ну, — сказал Вульф. — У роз, к счастью, не бывает национальности. А не то и они сажали бы друг друга в тюрьму. Истинная война Алой и Белой роз.

— Нет, честное слово! — воскликнул Мишка. — Я ничего отсюда не хочу брать: ни кроватей, ни горшков для жирной похлебки. Я все хочу начать сначала, всю жизнь.

— Не выйдет, — не повышая голоса, сказал Вульф. — Прошлое — это твоя пуповина, и ты ее не перегрызешь и кинжалом не перережешь. Но, вообще-то, ты прав, если так думаешь... Садись!

Мишка опустил на землю рядом с Вульфом. Одурающе пахли розы в этот предвечерний час. Бормотал что-то ручеек, пробегая сквозь мягкую траву.

— А кинжал? — с любопытством спросил Вульф. — Кинжал — берешь?

— Вот с этим делом неприятность, — покачал головой Мишка. — Кинжал нельзя брать — не разрешают: оружие, к тому же старинное. Проклятые законы! Я хочу, — Мишка перешел на шепот, — завтра дверь закрыть, а дом подпалить. Пусть все сгорит — и кинжал, и память.

— Кинжал я тебе отправлю, — подумав, сказал Вульф. — В Тель-Авиве получишь свой кинжал.

— Правда?! — вскинулся Мишка. — Вот это да! Но как?

— Есть у меня один канал, — неспеша проговорил Вульф. — Если еще что-нибудь хочешь — давай, я отправлю.

— Больше ничего, — сказал Мишка. — Коня, что ли? Но нет у меня коня.

— Твоя работа о старинных еврейских кладбищах на Кавказе уже получена, — сказал Вульф. — Приедешь — сам ее там напечатаешь.

— А что передать? — еще более понижая голос, спросил Мишка. — Ну, т а м?

— Вот слушай, — зашептал Вульф. — В Вене тебя встретит такой парень, Арье его зовут. Он хорошо говорит по-русски. Ты ему скажи, что военные поставки Сирии в этом году втрое превысили прошлогодние. Оружие везут из Новороссийска в Алеппо. Один кремлевский переводчик по пьяному делу сболтнул, что через год арабы начнут войну. Тут кое-кто из генералов сомневается в успехе, но Хозяин готов рискнуть. Запомни еще: в Сирию ушли новые танки, последней модели, их даже в странах Варшавского договора еще нет. Запомнил?

— Запомнил, — кивнул головой Мишка. — Это все?

— Это все, — подтвердил Вульф. — О еврейских делах ты сам все знаешь, об этих делах разговоры у тебя пойдут не в Вене, а в Тель-Авиве. Скажи только, что канал "Золотой петух" работает отлично, а резервный законсервирован. И еще скажи, что я устал, очень устал... — Он откинулся на спину, лег в душистую траву, закинув руки за голову.

— Честное слово, Вульф, если бы я только мог... — зачастил Мишка, — я бы вам мою визу отдал... сам бы тут остался сидеть... вместо вас...

— Я знаю, Мишка, друг ты мой, — улыбнулся из зеленого травяного омута Вульф. — Но это ведь невозможно. И это, может, даже к лучшему.

— Почему? — приподнялся на локте Мишка.

— Если б мы тут начали меняться нашими разрешениями и отказами, — продолжал Вульф, — много бы крови наши евреи попортили друг другу. А так — как судьба: "Ты — едешь, ты — нет". И никто не спорит

друг с другом.

— Не толкается? — уточнил Мишка.

— Не спихивает другого под колеса, — бесстрастно пояснил Вульф. — А то только этого нам тут и нехватало. Так что розовые черенки ты все же возьми с собой, — внезапно заключил он. — А то, может, у нас там таких нет — вот и будет польза от гоев. А вот список на вызовы не бери.

— Да я уже спрятал, — просительно сказал Мишка. — Сам черт не найдет...

— Не рискуй, — сказал Вульф. — Сколько там имен?

— Триста с чем-то, — сказал Мишка.

— Ну, вот видишь, — Вульф стал медленно подыматься с земли. — Я сам это отправлю. Целей будет.

— Мишка! — послышался от дома голос Зерубавеля. — Ты где? Ты куда пропал? Мишка!

— Идем! — поднялся на ноги Вульф. — Зовут... Вино у тебя домашнее?

— Все у меня домашнее, — сказал Мишка. — Только паспорт у меня был государственный — и тот уже сдал.

Они пошли по дорожке к дому. Женщины все толкли чеснок в ступках, а рябой парень, уложив рядом туши баранов с аккуратным надрезом на горле, неспеша собирался приступить к сниманию меховых шубеек. Подымаясь на крыльцо, Вульф принюхался: пахло не розами — пахло чесноком, айвовым вареньем и свежей кровью.

Калитка хлопала то и дело. Знакомые и незнакомые, родственники кровные и пятая вода на киселе прибывали поодиночке, парами и целыми группами. Шутка ли сказать — Нисимовы уезжают в Эрец Исраэль! Раз они добились — значит, и другие смогут добиться. Ничего не поделаешь: пора подыматься, пора ехать. Разговоры за столами вели покамест чинно, вполголоса.

— Я — дядя их, — сбивая на круглый затылок пропотевшую баранью шапку, давал объяснения крепкий старик с угольными глазами, в колхозном мятом пиджаке. — Из Хсав-Юрта я, то-есть, не из самого Хсав-Юрта, а из аула Хичин, в тридцати километрах от моста. Мост знаете? — требовательно обращался он к застольникам.

Застольники неопределенно поводили головами от плеча к плечу, показывая тем, что мост им знаком лишь отчасти.

— То-есть, не то что я родной брат вашего Йехескеля — да будет благословенная его память! — а я его двоюродного брата свекор. Но меня все зовут "дядя Ицхак"! Значит, я и есть их дядя. Вон спросите хоть у Мишки, он вам скажет! — почувствовав недоверие слушателей, привел аргумент Ицхак. Но никто не пошел спрашивать Мишку.

— И я вот вам что скажу, — продолжал, жуя сушеное мясо, дядя Ицхак. — Наш Йехескель — мир праху его! — был бы доволен своей родней: орлы! Йехескель вот здесь у меня сидел! — И дядя Ицхак широкой ладонью, как сухой доской, треснул себя по колену. — Вот здесь, говорю я вам! Можете спросить у Ципоры, если хотите!

Но никто не пошел и к Ципоре.

— А ты сам тоже поедешь, дядя Ицхак? — спросил через стол нестарый еще еврей с унылым лицом язвенника, в черной кепке с поломанным козырьком. — В Израиль?

— Обязательно! — утвердил дядя Ицхак. — А как же! Куда родня — туда и я. Я заявление уже отнес.

— Тебе-то что! — подал голос язвенник. — Ты на пенсии, тебя с работы не выгонят. А у меня детей полон дом!

— Ай, молодец! — показывая сахарные зубы, улыб-

нулся старик. — Такой больной, а такой шустрый... Сумел настрогать, сумеи и обстругать детишек-то твоих. Сколько у тебя?

— Восемь, — возя хлеб в мясной подливке, мрачно сказал язвенник. — И девятый вот-вот...

— Ну, где восемь — там и девятый не помешает! — сдвигая шапку, беспечно заметил дядя Ицхак. — Сыновья или как?

— Пятеро мальчиков, остальные все девочки, — дал справку язвенник.

— Мальчики в армию пойдут, как наш Йехескель, — успокоил дядя Ицхак, — а остальные на фабрику работать. Там тепло, одежды много не надо... Апельсин — знаешь?

Внезапный вопрос дяди Ицхака вызвал оживление за столом.

— Знаем апельсин, — загудели гости, подымая головы от чесночного соуса. — На картинке видели!

— Там апельсины дешевле картошки! — торжественно объявил дядя Ицхак и обвел застольников твердым взглядом.

— Не может быть! — загудели застольники. — Так не бывает! Картошка дешевле! Да ты откуда знаешь?

— Я по радио слышал! — заявил дядя Ицхак. — Хоть у кого спросите!

— Да у тебя и радио никакого нет в твоём Хичине! — съязвил язвенник. — Ишь, ты, апельсины!

— Ах, так! — сверкнув своими угольями, произнес дядя Ицхак. — Значит, я вру?! — и рука его скользнула под пиджак, к поясному ремню. — Я тебя сейчас живо вылечу, холера!

Язвенник ничуть, однако, не испугался и, схватив порожнюю бутылку из-под домашнего вина, поднял ее над головой.

— Ну, ладно ругаться-то! — зашумели гости. — Ну,

дороже, дешевле! Приедем — поглядим! Наливайте, что ли!

— Дело не в этом, — выбивая мозг из кости на клеенку, сказал цветущий толстяк в городских штиблетах. — Вот я, к примеру, работаю в банном тресте. Я туда приеду, в Израиль — что буду делать? Там, говорят, ни одной бани нету.

— Баня! — презрительно повторил легкомысленный дядя Ицхак. — Говорят тебе: историческая родина! Ну, откроешь какую-нибудь мастерскую. Ты часы умеешь чинить?

— Нет, — с грустью сказал толстяк. — В том-то и дело что не умею.

— Сторожем пойдешь, — махнул рукой дядя Ицхак. — Сторожа везде нужны — чужое добро сторожить.

— А вы потише! — снова вступил в разговор язвенник. — Вы-то уедете — а нам тут сидеть. Нас потом по головке не погладят.

— Ну и что? — вдруг набычился толстяк. — Кто тебя заставляет тут сидеть? Мне трудней подняться, потому что я в банном тресте...

— Сегодня отпускают, а завтра сажать начнут, — упрямо говорил язвенник. — А вы тут шурум-бурум устраиваете: Израиль, Израиль! На всех беду наведете.

— А ты не бойся, — жестко сказал парень лет двадцати, прежде сидевший молча. — А будешь бояться — так тебе и надо: пусть сажают.

— Ну, конечно, — покосился язвенник. — Другого пусть сажают — тебе-то что! А у меня дети!

— Хватит бояться! — вскочил с лавки парень. — Вон, в Буйнакске погром хотели сделать, а мы не испугались — пообещали райком в пропасть скинуть. И скинули бы!

— Ты из Буйнакска? — спросил дядя Ицхак. — Вот

молодец! Заявление подал?

— Вызов никак не получу, — опутив голову, сказал парень. — Как получу — сразу подам, ты не бойся.

— С другой стороны, надо тихо все делать, — вдруг усомнился толстяк. — По закону. Я в лагере четыре года сидел — больше не хочу.

— По тебе не видать, — процедил парень из Буйнак-ска. — Вон, мяса какие наел. Хлебрезом, что ли, ра-ботал в лагере?

— Это я сейчас поправился, — не дал прямого ответа толстяк. — А там — ой-ой как было!

— Я готов даже три года отсидеть — лишь бы уехать, — сказал парень и сел на лавку. — Я в армии в ракетных войсках служил, мне секретность привяжут.

— И ты не боишься? — с любопытством спросил язвенник.

— Нет! — гаркнул парень из Буйнак-ска и снова вско-чил на ноги. — Надоело мне бояться, понял? Хватит! И по их законам я тут жить не хочу!

— Потому что у тебя детей нет, — горько растолко-вал язвенник. — А моя швабра, чуть что — и забере-менела. Такой у нее характер.

— Выпьем за Нисимовых! — поднял стакан дядя Ицхак. — И за память нашего Героя Советского Союза Йехескеля! Если б он был жив, он тоже с нами поехал бы, потому что он был храбрец!

От песчаной площадочки перед домом потянуло шашлычным дымком, и гости, удовлетворенно щу-рясь, приняхались чутко.

— Да, ехать надо, — высморкавшись в большой но-совой платок и вытерев пальцы о скамейку, сказал толстяк. — Здесь все равно посадят, я-то уж знаю. А там, говорят, Йехескелю нашему даже памятник поставили: стоит на палубе и смотрит в бинокль, а в другой руке у него кинжал.

— Не кинжал, а пистолет, — поправил дядя Ицхак. — Настоящий. Вон, хоть у этого москвича спроси, который Мишку приехал провожать.

— Надо спросить, — сказал толстяк. — Неужели настоящий?

Глава четвертая

БОРТ "ТС-704"

Зерубавель был доволен: какой банкет, сколько гостей! Даже из Москвы — и то приехали провожать Нисимовых.

Нисимовы пировали, провожая самих себя в дальнюю дорогу, за обширным столом, в той комнате своего дома, которая была еще вчера гостиной. На стенах, как следы от сорванных с погонев звезд, белели прямоугольники — следы снятых и упакованных семейных фотографий. Шкаф, этажерки и тумбочки подарили хорошим людям на память — и комната сразу стала больше, строже... Только шашлычный дымок, голубым серебром плававший под потолком, остался прежним, как день, как год, как век назад: волнующим и сладким, каким не так-то уж и давно предки наши кадили со своих каменных жертвенников господу Богу, раздувавшему ноздри в небесной своей пещере.

Зерубавель на своих длинных жилистых ногах бежал со двора в дом и обратно, и по дому, и в руках его сверкали шампурсы с гроздьями благоухающего мяса, и покрытые перламутровой пленкой бутылки с вином. Его бывшая, приходившаяся ему троюродной сестрой, жена, болезненная с виду, но жилистая, Хана привычно помогала ему. Он принимал по-

мощь женщин как нечто обязательное, но не более того — ему самому нравилось в этот необыкновенный день двигаться по дому и саду стремительными перебежками, распорядиться и разбрызгивать свою энергию подобно животворной струе. И неглупая Хана, понимая это, отступала на задний план. Она и вообще, и в прежние дни держалась на заднем плане, пропуская вперед своего красавца-мужа с задумчивыми бараньими глазами, в которых время от времени вспыхивал опасный пороховый огонь. Стройный, широкий в плечах и узкий в поясе Зерубавель с его смоляными усиками и чуть надменной улыбкой, внезапно и без видимой причины набегавшей на лицо, был желанной грозой для русских женщин от Ростова-на-Дону до самого Ленинграда. И, надо отдать ему должное, Зерубавель щедро проливал свой дождик. Он был щедр на всех своих дорогах и путях, он сорил легко и в обилии добытыми деньгами, и ради несправедливо обиженного незнакомца мог, рискуя жизнью, идти на вооруженного обидчика. Таков был Зерубавель, искрящийся человек.

Хана стала его женой пять лет тому назад, еще до его призыва в армию, а развелись они в прошлом году, по причине неизлечимого Ханиного бесплодия. Хана любила своего мужа, отворачивалась от его легкомыслия, а бесконечными его победами над женщинами разных лет, рассеянными по Европейской части Союза от Карпат до Урала, отчасти даже гордилась: вот какой у меня Зерубавель! Да, вот такой! Но не за это из каждой торговой поездки привозил Зерубавель своей Хане то золотую цепочку, то серьги с камушками — а по общей щедрости и дружелюбию. Хана представлялась ему частью единой всемирной Женщины, но не более того. Появись у него в свое время соперник, он убил бы его не из чувства ревности, а из чувства долга.

И, убив, не пожалел бы о содеянном.

Мишка был снисходителен к Зерубавелю: родная кровь. Кроме того, он полагал, что со временем двоюродный брат бросит глупости и станет настоящим евреем, употребляющим всю свою энергию не на спекуляцию и жадных до экзотики русских баб — а на борьбу за еврейские души, мятущиеся, мечущиеся между базарами, синагогой и милицией в красивых, но чужих краях. Если бы Зерубавель взялся за дело! Десятки семей уговорил бы он и убедил, зажег и воспламенил — и привез бы в Израиль... Но покамест Зерубавель незаурядную свою энергию направлял не в должное русло.

— Вульф, ты ему помоги, если что... — попросил Мишка, положив ладонь на плечо друга. — Он у нас еще не созрел.

— Красивый мальчик, — отметил Вульф, глядя на мелькающего Зерубавеля из-под полуопущенных век. — Он — что?

— Спекулянт, — повесил голову Мишка. — Но — брат. Двоюродный.

— Спекулянт... — задумчиво повторил Вульф. — И как идет?

— В том-то и дело, что слишком хорошо, — сказал Мишка. — Он в дядю Йехескеля — такой же горячий и смелый. Только он воевал с немцами за всех евреев, а этот с русскими воюет за самого себя.

— Да-а... — протянул Вульф. — А под него Галина Борисовна крючок не подводила, как ты думаешь?

— Думаю, нет, — вспыхнул Мишка от такого предположения. — Он бы мне сказал... Да что — сказал! Он бы того кинжалом запорол, кто ему предложил бы...

Вульф с сомнением покачал головой:

— ГБ часто подбирается к спекулянтам и фарцов-

щикам. И если кому-то из них начинает вдруг везти... Я не говорю конкретно о твоём брате, но ты, Мишка, подумай над этим.

— Он о наших делах ничего не знает, — пробормотал Мишка. — Я ему ничего не рассказывал. Он в Москве ни имен не знает, ни адресов.

— Правильно... — кивнул Вульф. — А кто это — Йехескель? Я это имя сегодня раз пять уже слышал.

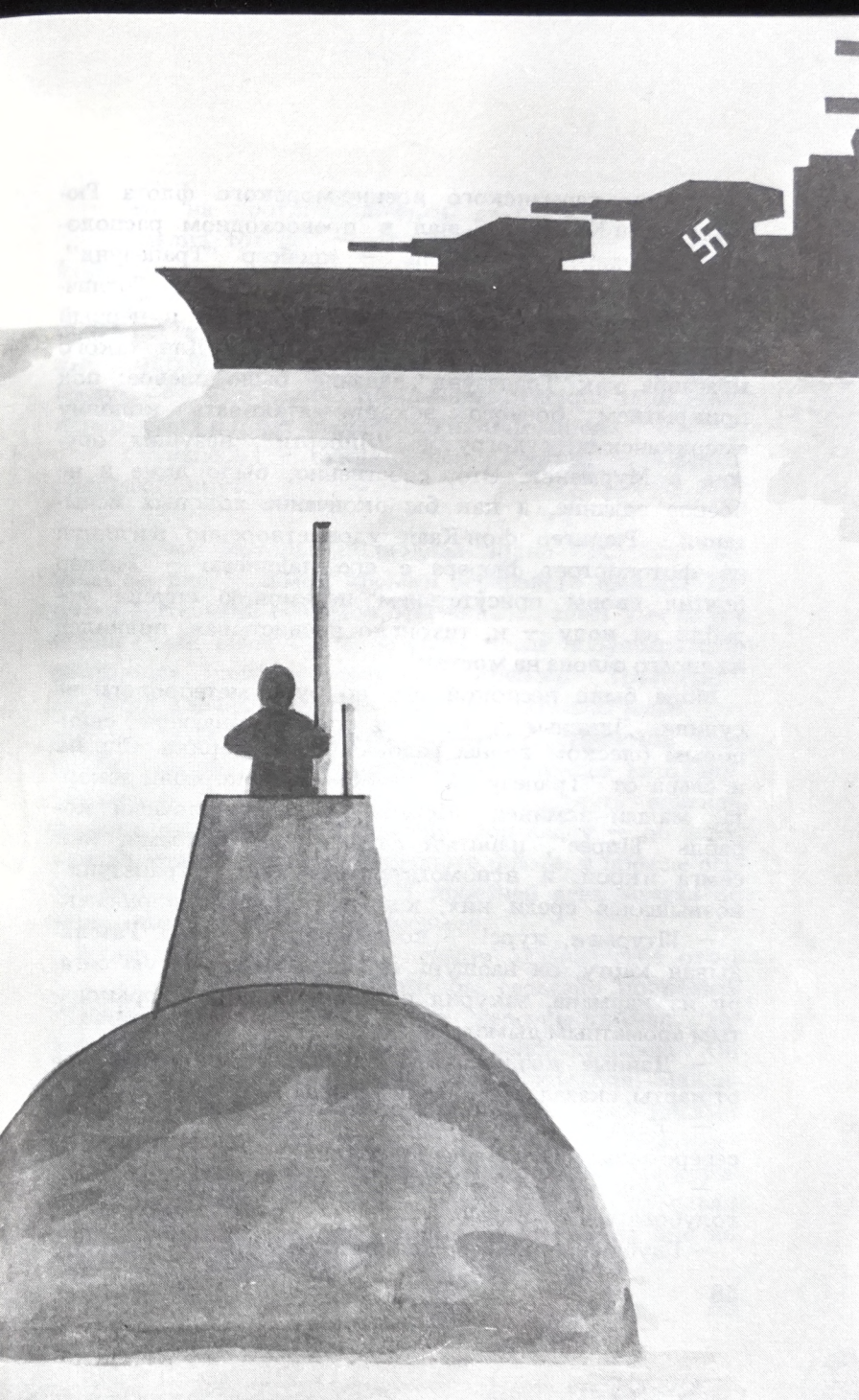
Мишка молча поднялся из-за стола и вышел в соседнюю комнату. Откинув крышку сундука, обитого подобранными в узор кусочками крашеной жести, он извлек из чрева сундука фотографию в черной металлической рамке, застекленную. Бережно неся фотографию двумя руками, он вернулся к Вульфу.

— Вот, — сказал Мишка, передавая фотографию. — Вот он, Йехескель.

Сквозь прозрачное стекло смотрел на Вульфа человек лет сорока. Угольные глаза под сросшимися, сведенными в черную черту бровями были строги и чуть ироничны — как у человека, сознающего свою силу. Волосы были подстрижены коротко, небольшие усы оттеняли верхнюю губу. Человек этот был одет в военно-морской китель, на плечах светились погоны капитана первого ранга.

— Младший брат отца, — сказал Мишка, проводя рукавом по стеклу. — Он был командиром подводной лодки "ТС-704". Крейсер "Трапезунд" — знаешь? Это он его утопил.

За столом стало тихо. Все прислушивались к словам Мишки, тянулись взглянуть на фотографию — хотя все им было известно про Йехескеля Нисимова, и портрет его они знали со школьных лет. Но так уж тут было заведено — молча и со вниманием слушать историю капитана Йехескеля Нисимова.



Капитан германского военно-морского флота Рюдигер фон-Каап пребывал в превосходном расположении духа: его корабль — крейсер "Трапезунд", гордость гитлеровского флота — с оценкой "отлично" прошел ходовые испытания и теперь в первый раз шел на боевое задание, на Север. Для такого красавца, как "Трапезунд", задание было плевое: под прикрытием боевого эскорта атаковать колонну американских сухогрузов "Либерти", везущих оружие в Мурманск. Это, собственно, было даже и не боевое задание, а как бы окончание ходовых испытаний... Рюдигер фон-Каап удовлетворенно взглянул на фотопортрет фюрера с его надписью — Гитлер почтил своим присутствием церемонию спуска корабля на воду — и, тихонько посвистывая, поднялся из своего салона на мостик.

Море было беспокойным, но бури метеорологи не сулили. Длинные и тяжелые, поблескивающие свинцовым блеском волны радовали глаз моряка. Справа и слева от "Трапезунда", веером, шли корабли эскорта: малый эсминец "Пельце", противолодочный корабль "Шпрее", набитый глубинными бомбами, как семга икрой, и вспомогательные суда. "Трапезунд" возвышался среди них, как волк среди дворняжек.

— Штурман, курс! — потребовал фон-Каап. Разглядывая карту, он наощупь вытянул маслянистую сигару из кармана, закурил и пополоскал рот горьковатым ароматным дымом.

— Данные воздушной разведки! — не отрываясь от карты, сказал фон-Каап и услышал в ответ:

— Караван "Либерти" в восьмидесяти милях к северо-западу. Охранение регулярное.

— Акустик? — капитан на миг поднял от карты голубоватые, со сталью, глаза.

— Глубина спокойна, — доложил акустик.

— Что на противоположном? — спросил фон-Каап.
— Анализ тот же, — ответил акустик: — Все спокойно.

— Курс прежний, скорость — восемнадцать узлов, — приказал командир. — Докладывать обстановку каждые шестьдесят минут, акустику — каждые тридцать минут. — Фон-Каапа тревожили русские подлодки, шнырявшие вокруг американских караванов.

— Слушаюсь, — откликнулся акустик. — Каждые тридцать минут...

Заглушив моторы, подводная лодка "ТС-704" лежала на дне, у самой кромки берегового шельфа. Капитан Йехескель Нисимов отлеживался здесь уже почти сутки — он вышел в море сразу после получения разведанных, согласно которым крейсер "Трапезунд" покинул гавань и держит курс в открытое море. Осведомленный о движении "Либерти", Нисимов был почти уверен, что фон-Каап идет наперерез каравану. Сразиться с "Трапезундом", дать глотнуть соленой водицы знаменитому Рюдигеру фон-Каапу — об этом мечтал каждый капитан Северного флота, и прежде всего командиры подлодок. И яростней всех мечтал об этом, пожалуй, Йехескель Нисимов.

Капитан первого ранга Нисимов отдавал себе отчет в том, что утопить или хотя бы серьезно повредить "Трапезунд" — задача почти неосуществимая. Но повреждение крейсера не устраивало капитана. Он намеревался пробить боевой заслон корабля, максимально приблизиться к нему, атаковать всеми видами имеющегося на борту оружия и пустить "Трапезунд" ко дну. Отлеживаясь на шельфе, Нисимов прикуривал один вонючий "Север" от другого и обдумывал возможные решения. Он готов был лежать на дне до последнего глотка воздуха.

На боевом счету капитана первого ранга Нисимова шесть потопленных вражеских судов: два эсминца, подводная лодка и три транспорта. Те корабли он топил, как охотник бьет опасную дичь: кабана или медведя. В уничтожении "Трапезунда" он видел свою личную, кровную месть Адольфу Гитлеру — месть за уничтоженные еврейские гетто и противотанковые рвы, доверху набитые мертвым еврейским мясом, за газовые камеры и лагерные крематории. В руках у капитана Нисимова была подлодка "ТС-704", и он собирался отомстить Гитлеру за свой еврейский народ.

За час до полуночи он всплыл на перископную глущину и, оглядевшись, стал вызывать базу:

— Говорит Молот-Два! Говорит Молот-Два! Как слышите меня? Перехожу на прием!

В динамике долго шипело и щелкало и, наконец, прилетел ответ:

— Слышу нормально. Говорит Наковальня. Подтвердите прием.

— Сигнал принят, — откликнулась "ТС-704". — К приему готов.

— Молот-два! Молот-два! — донеслось из динамика. — Цель подходит к намеченному квадрату. Снимайтесь в соответствии с оперативным планом 4Н-8Б, повторяю: 4Н-8Б. Как меня поняли?

— 4Н-8Б, — повторил Нисимов. — Понял хорошо.

— Желаем удачи, — прохрипел динамик. — Конец связи...

Закурив очередную папиросу, Нисимов снял трубку внутреннего телефона:

— Команда, слушать капитана! Погружение! Отдыхать — до часу тридцати! В два часа выходим на контакт!

В нарушение правил Нисимов называл себя в рейсе

капитаном, а не командиром. Начальство знало это его маленькое самоуправство, но не вмешивалось: капитан Нисимов вдруг становился буен.

Капитан Рюдигер фон-Каап тоже грешил против предписанных правил: вместо того, чтобы в часы боевого расписания спать одетым, он спал в пижаме. Переодевание отнимало драгоценные минуты сна, но фон-Каап ничего не желал с собой поделаться; он в этом был похож на пилотов американских Летящих крепостей, напяливающих поверх шлемофонов ковбойские шляпы.

Вот и сейчас, приняв ванну, капитан облачился в шелковую пижаму и лег в постель, отведя себе для сна два с половиной часа. Вестовой, двигаясь на ципочках, принес ему кружку жидкого шоколада и рогалик с маргарином. Третий рейх начал испытывать продовольственные трудности, и Рюдигер фон-Каап демонстративно перешел со сливочного масла на маргарин. Отечество заслуживает жертв от своих сынов, даже самых лучших и преданных.

Сон капитана был легок и чуток. За две минуты до стука вестового в дверь он сбросил ноги с кровати и сидел с закрытыми глазами. Он умел использовать время своего отдыха до предела.

Почистив зубы и одевшись, фон-Каап поднялся на мостик. Ночь стояла над миром, мирная бархатная ночь, ничего не желавшая знать о войне. Крохотными казались в этой ночи и крейсер "Трапезунд", и подлодка "ТС-704", и только ненависть и гнев Йехескеля Нисимова были беспредельны.

— Слева по курсу 0—4—2 слышу винты надводных кораблей, — доложил вахтенный акустик. — Дистанция двенадцать километров.

— Команда, к бою! — приказал, как выстрелил, Нисимов. — Торпедный отсек, аппараты 3 и 4 — товсь! Горизонт — два! На руле — самый полный вперед!

Лодка подпрыгнула на грунте, как конь, которого ожгли плетью. Корма окуталась облаком песка и тины, поднятым винтами, и "ТС-704" рванулась вперед. Дизели работали на пределе. Торпедисты в своем отсеке подводили тележки под торпеды. Акустик недовольно морщил лицо — рев лодочных двигателей заглушал все забортные шумы.

— Глубинные бомбы — в носовой отсек! — приказал капитан. — Все шестнадцать!

Командир артиллерийского расчета лейтенант Жванов недоуменно вскинул брови: с какой стати понадобились Нисимову бомбы в носу лодки? Но приказ выполнил четко и быстро: стальные шары были размещены и закреплены вдоль шпангоутов тесного и низкого носового отсека. Тупиковый проход между бомбами составлял не более восьмидесяти сантиметров.

Лодка взмыла к поверхности, зависла в пятнадцати метрах от нее, а потом медленно поднялась на перископную глубину.

— Самый малый! — скомандовал Нисимов и взялся за рули перископа. Прямо по курсу посверкивали сигнальные огни противолодочного корабля, обращенные под углом к морю, правее и дальше темнел монолит крейсера.

— Старпом! — не отрывая лица от резиновой обводки окуляров, позвал капитан.

— Есть! — отозвался старпом, подойдя.

— Взгляни! — сказал Нисимов, уступая перископ помощнику. — Мы атакуем противолодочный и прорвемся к цели. Там, справа, эсминец, он не поспевает.

— Противолодочный обнаружит нас через десять минут, — поворачивая перископ, сказал старпом. — Может, сразу по крейсеру, торпедами? Шесть шансов из десяти, что зацепим хотя бы одной.

— Мало, старпом, — сказал Нисимов. — Торпеды три и четыре — на взвод! Командир торпедного расчета, ко мне.

Старший торпедист явился немедленно.

— Витя! — обняв торпедиста за плечи и отводя его вглубь рубки, сказал Нисимов. — Откати вторую торпеду в нос, заряди ударным взрывателем и прижми вплотную к носовой переборке. Ты понял?

— Понял. — почти беззвучно повторил торпедист.

— Это на всякий случай, лейтенант, — сказал капитан и сжал кисть торпедиста стальной хваткой. — Половина на половину. Может, не понадобится. Выполняй!

Отправив лейтенанта, Нисимов снял с шеи ключ от сейфа и отворил стальную дверцу. В глубине ящика, за набором пронумерованных шифром коричневых конвертов с пометкой "Совершенно секретно. Главный штаб ВМС" он нащупал ученическую тетрадку, аккуратно зашитую в прорезиненную ткань. Достав пакет, он сунул его за пазуху, под тельник, и запер сейф.

— Что там? — повернувшись к старпому, спросил Нисимов.

— Выходим к противолодочному, — доложил старший помощник.

— Акустик! — рявкнул Йехескель в телефон.

— До цели — один-четыре! — отозвался акустик, как будто только и дожидался вопроса.

— Торпеды!

— Готово!

— Всплытие!

— Есть всплытие!

Взрели компрессоры, выгоняя из балластных цистерн остатки забортной воды. Рубка выскочила на поверхность, как гигантский черный поплавок. И стало слышно, как заработали скорострельные пушки противолодочного.

— Торпеды третья и четвертая — огонь! — отчетливо, негромко приказал капитан. И, выпрыгнув из люков, серые цилиндры шлепнулись в воду и помчались, оставляя за собой пенистый белый след.

— Правым бортом — огонь! — скомандовал командир противолодочного капитан Вельде. — Дымовое заграждение ставь!

— Две торпеды по правому борту! — доложили с контрольного поста.

— Машина, стоп! — заорал Вельде. — Задний! По торпедам всем бортом!

Вельде хорошо знал свое дело, но было поздно. Одна торпеда зацепила нос противолодочного на уровне ватерлинии и разворотила его. Вторая врезалась в центральную часть корпуса, и взрыв разрушил машинное отделение и вспорол нижнюю палубу. В двухметровую рваную дыру хлынула вода, корабль дал крен вправо и, заваливаясь все больше, стал тонуть.

На "Трапезунде" бешено задрезжал сигнал боевой тревоги.

Рюдигер фон-Каап был смелым моряком и прекрасным капитаном. Да, собственно, и флотский новичок догадался бы, что произошло с противолодочным кораблем. Фон-Каап же, в отличие от новичка, знал, что противолодочный потоплен двумя торпедами и что на борту советских подводных лодок размещается четыре торпеды. Следовательно, "Трапезунду" грозили две

торпеды, если атакующая подлодка была здесь единственной. На это фон-Каап и рассчитывал, исходя из этого строил оперативный план боя. Прежде всего следовало взять инициативу в свои руки — то-есть наступать, контратаковать.

— Право руля, — приказал он и, вместо сигары, сунул в рот старую трубочку с обгрызанным янтарным чубуком. — Поворот 90. Орудия главного калибра — к бою! Артиллерия правого борта — ставить ближний заслон! Глубинные бомбы — горизонт тридцать, шестьдесят, девяносто — товсь!

Рюдигер фон-Каап намеревался использовать против подлодки все имеющиеся у него средства, просить море стальными стежками, не дать русским зайти для новой атаки.

— Корма, люстру! — приказал он. — Впередсмотрящие!

Но впередсмотрящие в ослепительном мертвом свете дюжины осветительных ракет не обнаружили в море перископа: лодка ушла в глубину.

Похлюпывая трубочкой, фон-Каап смотрел, как эсминец направлялся к месту гибели противолодочного. Там, приглушенный расстоянием, бухнул глухой взрыв и фон-Каап определил, что взорвались котлы. Ему показалось, что он слышит крики людей — но он знал, что это ему только кажется. Он хотел, чтобы ему казалось.

— Правый борт — огонь! — приказал он. — Левый борт — товсь!

Завершая круг поворота, они выходили носом на невидимую цель.

”ТС—704” уходила в глубину. Глубинометр сухо пощелкивал каждые десять метров: тридцать, сорок, пятьдесят. Глубже не надо: затяжное всплытие не

входило в планы Йехескеля Нисимова.

Стальной град, обрушенный противолодочным кораблем, не миновал лодку: в третьем отсеке клокотала вода. Ставить заплату не было времени, да и людей жаль было занимать, и Йехескель поставил на помпу кока.

— Акустик! — прокашлявшись и раздавив папиросу в пепельнице, сказал Нисимов. — Курс — цель. Машина, средние обороты! Горизонт — сорок!.. — И, неспеша поднявшись с вертящегося кресла, вышел из рубки. Старпом пересел на его место.

Йехескель шел к носу. Переступив высокий порожек, он заглянул по дороге в механическую мастерскую и взял катушку провода, кусачки и сильную переносную лампу: в носовом отсеке было полутемно. Заперев за собою дверь, капитан протиснулся между рядом глубинных бомб и торпедой, словно бы обнюхивающей тупик носового отсека. Йехескель внимательно осмотрел ударник торпеды, а потом, светя лампой, откинул пружинную крышку на корпусе снаряда и присоединил к клемме конец провода. Пятясь, он добрался до ближней глубинной бомбы, пропустил провод через ее взрывное устройство и перебрался к следующей в ряду. Покончив с левым рядом, он принялся за правый. Провод опутывал и соединял теперь все, что могло взрываться в носовом отсеке. Нисимов с порога оглядел свою работу, выключил лампу и вышел, заперев дверь.

В рубке старпом молча уступил ему место. Это было непохоже на капитана Нисимова: за несколько минут до атаки уходить с поста.

— Курс! — затребовал по телефону Йехескель. — Глубина — двадцать! Первый торпедный аппарат — взвод! — И, обернувшись к старпому, спросил: — Ну, что, Леша, утопим мы его?

— Утопим, товарищ капитан, — без уверенности в голосе сказал старпом. — Стреляем с погружения?

— Первой — да, — сказал Йехескель. — А потом посмотрим... — И он вдруг улыбнулся, и зубы его сверкнули под смоляной полоской усов. — Ну, с Богом!

Старпом озабоченно взглянул краем глаза на капитана — какой-то странный был сегодня Нисимов, не такой, как всегда.

А Йехескель, взяв трубку, отчеканил отдельно:

— Экипаж — к бою! Все по местам! Самый полный вперед!

”Трапезунд” сотрясался от грохота: работала вся артиллерия, море на километр перед кораблем кипело от взрывом.

— Корма, люстру! — скомандовал фон-Каап.

Седой торпедный след он заметил одновременно с впередсмотрящим.

— Самый левый! — гаркнул он в трубку. И огромный корабль вильнул влево, как малая шлюпка.

Насмешливо кривя губы, фон-Каап наблюдал за тем, как торпеда проходит метрах в пятнадцати от корпуса. Оставалась еще одна, четвертая, последняя. Можно было надеяться, что она пойдет следом за этой, и фон-Каап увернется и от нее. Так оно и будет, наверно: эти русские умеют только камни кидать, а выстрелить и попасть торпедой во встречном бою — это им не по зубам... Рюдигер фон-Каап выбил трубочку, сунул ее в карман и закурил сигару. Чиркая спичками, он, однако же, продолжал неотрывно глядеть на море прямо по курсу: русские должны были либо всплыть, либо утонуть.

От этого пристального, азартного наблюдения фон-Каапа отвлек истерический голос акустика:

— Русские под килем!

— Цель над нами! — доложил акустик.

— Лево руля! — скомандовал Йехескель. — Стоп! Всплытие!

Поворачиваясь на месте, лодка скользнула к поверхности.

— На перископ! — скомандовал капитан.

На оптическом экране перископа, в затухающем свете люстры, Йехескель увидел в тридцати метрах тупую корму крейсера.

— Полное всплытие, — даже и не приказал, а как бы попросил Йехескель и, ничего не сказав старпому, полез по трапу на мостик. Лодка всплыла, капитан откинул люк. Рубка наполнилась свежим сырым воздухом. И уже оттуда, с мостика, старпом услышал по радиотелефону голос командира:

— Всем слушать мою команду! Курс — горизонт, ноль-ноль-два! Полный вперед.

Лодка вздрогнула и рванулась. Пласты пенной воды, как пласты черной земли под лемехом, вздыбились под ее форштевнем. Расстояние между маленьким охотником и гигантской дичью сокращалось.

Непонятная человеку сила заставила Рюдигера фон-Каапа оглянуться назад. Он увидел ныряющую в волнах рубку лодки и неподвижную фигуру на мостике. Это было похоже на танковую атаку, на командира танка, высокомерно застывшего в башенном люке своей машины. Фон-Каап открыл рот, чтобы что-нибудь закричать — приказ или просто так, бессвязное и страшное — но не успел издать ни звука: лодка сходу врезалась в корму "Трапезунда". Раздался чудовищной силы взрыв — это в носовом отсеке сработала торпеда с ударным взрывателем, за ней с промежутками в доли секунды пошли рваться бомбы. Корма крейсера распалась навстречу морю подобно гигантским воротам, и море ринулось внутрь корабля. Через шесть

минут крейсер встал на дыбы и свечой пошел ко дну.

На месте гибели "Трапезунда" эсминец "Пельце" выловил из воды растерзанный труп капитана первого ранга Йехескеля Нисимова. На груди капитана, под тельником, спасатели обнаружили зашитую в водонепроницаемый конверт тетрадь. Пакет доставили в штаб Северного флота, а затем в Берлин. Адмирал Диниц внимательно ознакомился с ее содержимым и подарил, как редкий и ценный сувенир, шефу разведки Гелену. Лучшего адреса Диниц не мог найти: Гелен прочитал документ несколько раз и запер в свой личный сейф. Сохранность тетради была гарантирована всей мощью Третьего рейха. Но мощь империй подобна ветру и праху. После крушения Германии содержимое геленовского сейфа было надежно укрыто — до поры, до времени. Много лет спустя тетрадь Йехескеля Нисимова вынырнула на поверхность — в отличие от подлодки "ТС-704", навечно нырнувшей в небытие.

Мишка закончил свой рассказ. Слушатели молчали, в который уже раз переживая эту историю борьбы и смерти знаменитого земляка. Каждый рассказчик — будь то Мишка, его отец или Зерубавель по кличке "Рубль" — щедро пристегивали к истории новые детали, столь же щедро расправляясь со старыми, прищелкнутыми предшественниками. История, таким образом, от раза к разу изменяла свое течение, как и надлежит всякой содержательной истории. Один из рассказчиков, буфетчик Шералиев, — тот, например, повествовал не столько о боевых качествах капитана Нисимова, сколько о его приверженности национальной кухне; особое место в рассказе Шералиева занимал корабельный кок, стряпавший в подводном камбузе исключительно кавказско-еврейскую снедь и тас-

кавший по этому поводу за собою в пучину мешок кукурузной муки... Но никто из этих преданнейших хасидов покойного Йехескеля не знал ничего о самом существенном, самом ценном: об ученической тетрадке, защитой в водонепроницаемую ткань.

— За свой подвиг, — заключил Мишка свой рассказ, — Йехескель получил посмертно звание Героя Советского Союза. Но он куда выше — он Герой еврейского народа!

Слушатели согласно покачивали головами, и чавканье и скрежет ножей о тарелки возобновились лишь некоторое время спустя.

— В Иерусалиме есть такой музей — Яд-Вашем, — помолчав, сказал Вульф. — Как приедешь — отнеси туда фотографию Йехескеля и расскажи им там, кто он такой.

— Обязательно, — пообещал Мишка. — Как, ты говоришь, он называется, этот институт?

— Яд-Вашем, — повторил Вульф, и Мишка записал это торжественное и красивое слово в свою записную книжечку.

Зерубавель весь вечер был оживлен и праздничен, как будто причиною встречи служил не отъезд брата навсегда, в неведомые края, а его свадьба или день рождения. Такой уж характер был у Зерубавеля Нисимова.

— Веселится брат, — наклонившись к Мишке, с оттенком упрека в голосе сказал Вульф. — Радуетя за тебя?

— Нет, это он просто так, — объяснил Мишка. — Это он за себя радуется.

Зерубавель подошел, как подлетел, жонглируя парой шашлычных шампуров.

— А у вас связи есть в Москве? — заговорщицким шепотом спросил Зерубавель.

— Кое-какие, — полуприкрыв глаза, сказал Вульф.

— А что ты имеешь в виду?

— Мне ковровые дорожки надо достать, — сказал Зерубавель. — Метров тридцать-сорок. Навар пополам.

Вульф усмехнулся освобожденно.

— Был у меня один знакомый — директор коврового магазина, — сказал Вульф. — Так он в прошлом месяце в Израиль уехал.

— Жалко, — сказал Зерубавель. — Не мог немного подождать.

Гости сидели допоздна, Мишка с родителями переходили от стола к столу, прощались. Над домом и над садом, с винным духом и шашлычным дымом, парило, звенело и шелестело это слово, произносимое на все лады — Израиль.

Глава пятая

СТЕНА ПЛАЧА

Внизу, под крылом, поблескивало море — синим стеклом, голубой россыпью. Теснясь, пассажиры прилипли к иллюминаторам. Ученые и рабочие, ремесленники и артисты, моралисты и жулики, короли черного рынка и религиозные мудрецы, шлюхи и старые девы, разбойники, дети и старики, военные инвалиды, увешанные орденами, врачи, инженеры и профессиональные бездельники, коммунисты и беспартийные — еврейский народ переселялся из Советского Союза в Израиль. Глядя на синюю воду, каждый размышлял о своем — и все думали об одном и том же: там, впереди, берег Родины, страны, с которой отныне связана вся жизнь, страны евреев, где никто не скажет тебе "жид", никто не будет передразнивать твой акцент и издевательски шутить по поводу формы твоего носа. Но и тревога соседствовала с мечтой: как там устроится жизнь, в новой стране, как обойтись на первых порах без языка? Что будет с работой, с жильем? Но тревоги таились на самом доньшке души, а мечты бурлили в ней и клокотали, и слезами застилались глаза.

Мишка глядел вперед, боясь пропустить миг, когда откроется берег. В голове у него шумело, пульс стучал в висках барабанными палочками. Он не слышал

вопросов отца и матери, его нельзя было и за волосы оттащить от иллюминатора. Вот и Кипр остался позади, еще немного — и...

И вынырнула из моря песчаная кромка берега с высокой трубой электростанции на ней. Потом стала различима коробка небоскреба, а вот и дома и домики возникли по сторонам улиц и дорог. И крохотные автомобили бежали по шоссе... Самолет лег на крыло и начал заходить на посадку.

— Подлетаем... — прошептал над Мишкиным плечом Самуил Маркович Рагозин, семидесятилетний доктор медицины, с которым Мишка познакомился и подружился в Вене. Специалист по глазным болезням, Рагозин собирался ехать в Иерусалим, там, в одной из столичных больниц, работало отделение глазной хирургии, и тамошние врачи пользовались оперативным методом, разработанным Самуилом Марковичем. Что же касается Мишки — ему было все равно, в какой конец Израиля ехать. Но, привязавшись душевно к одинокому Рагозину, он решил тоже поселиться в Иерусалиме — старика душила астма, и Мишка считал своим долгом помочь человеку, который, несомненно, принесет неоценимую пользу Израилю. Ведь Самуил Маркович даже лампочку в патрон вкрутить не умеет! Нет, надо взять такого человека под опеку, помочь ему, еду хотя бы приготовить... Мишкин иврит был далек от совершенства, но объясниться он, все же, мог и этим тоже хотел помочь Рагозину на первых порах.

Пилот мягко посадил машину, и Мишка подумал о том, о чем думает, наверно, каждый репатриант, приземляющийся на аэродроме Тель-Авива: "Вот какие наши еврейские пилоты! Асы!"

За окном промелькнуло стеклянное здание аэропорта. Самолет тормозил, вдалеке показались уже механические трапы. Вот сейчас... Целовать землю или

не целовать? Этот вопрос давно мучил Мишку — с того времени, как он подал заявление с просьбой о выезде из СССР. Тогда сомнения почти не было: целовать. Опустился на землю — и целовать. Теперь вдруг захотелось продемонстрировать свои чувства на публике, и Мишка решил — не целовать. Это не означает, однако, что он категорически отказался от своего плана целования земли предков. Можно будет пойти куда-нибудь в лес или даже в пустыню, и там, без свидетелей, наедине с Землей — поцеловать.

Решив, Мишка почти успокоился и стал дожидаться, когда откроют дверь.

К великому изумлению Мишки, отец его, Овадия, не успев сойти с последней ступеньки трапа, пал на землю лицом вниз и коснулся губами асфальта. Грузчики и техники, обступившие самолет, смотрели на старика со смешанным чувством беспокойства и сожаления. Мишка встал около отца и, пока он подымался с земли, грозно глядел на зевак: жалеть его отца не было позволено никому. Если старик вздумал целовать асфальт — это его личное дело.

Полуденное солнце нещадно пекло, но Мишка не испытывал никаких неудобств: то было его солнце, солнце его земли. Русский мороз куда хуже еврейской жары, радостно рассуждал Мишка, обливаясь потом в своем пиджаке и рубашке с галстуком. А вся группа приехавших поднялась меж тем во второй этаж аэропорта и разместилась там в длинном зале на стульях и скамьях.

— Нисимов Михаил! — выкликнул пожилой здоровячок в шортах и в кипе. — Подойдите, пожалуйста!

Смущенно озираясь, Мишка пошел, проталкиваясь сквозь толпу.

— Добро пожаловать, или, как мы тут говорим, благословен твой приход! — дружески улыбаясь, сказал

здоровячок. — Пройдемте вот в эту комнату.

Комнатка была пуста. На столе, покрытом пластиковой столешницей, стоял кувшин с апельсиновым соком и два бумажных стаканчика.

— Пейте! — пригласил здоровячок. — Лехаим! Мы знаем, что вы сделали для кавказского еврейства. У нас к вам масса вопросов, завтра за вами придет машина и мы будем говорить. А сейчас я пошлю к вам чиновника и он отправит вас в Иерусалим, в центр абсорбции. Вы согласны?

— Раз так надо — я еду! — сказал Мишка.

— Вот молодец! — снова улыбнулся здоровячок. — Если б все были, как вы.

Он вышел, и ему на смену пришел толстяк с ватын томпоном в носу, с папками подмышкой.

— Сейчас я вас живенько оформлю, — зажурчал толстяк, распахивая папки. — Вот тут подпишите, и тут.

— Я с родителями, — сказал Мишка.

— Ну, конечно! — неизвестно чему обрадовался толстячок. — Мы знаем. Они едут вместе с вами... Вот тут еще подпишите.

— И Рагозин Самуил Маркович, — сказал Мишка, подписывая, — доктор медицинских наук, пусть с нами едет. Ему тоже в Иерусалим.

— Какой еще доктор? — нахмурился толстячок. — И почему это он собрался в Иерусалим?

— Надо ему, — объяснил Мишка. — Он пожилой, старичок.

— Какой еще старичок? — совсем посуровел толстячок. — Кто вам сказал, что он едет в Иерусалим?

— Он сам мне сказал, — пожал плечами Мишка. — Кто ж еще?

— Ах, это он сам вам сказал, — хохотнул толстячок и нагло подмигнул Мишке. — Ну, пускай сам туда и

идет. Только старичка там не хватало.

— А вы что смеетесь? — Мишка привстал над столом и поглядел на толстячка, как будто выстрелил в него из двустволки. — Кто вам дал право издеваться?

— Ну-ну, — осел толстячок. — Ну-ну, не надо шуметь... Как, вы говорите, его фамилия? Рагозин? — он открыл какую-то тетрадку и стал водить пальцем по странице. — Так, так... Я могу послать вашего Рагозина в Беэр-Шеву.

— Но ему надо в Иерусалим, — терпеливо, как глухому повторил Мишка. — В Беэр-Шеву ему не надо... Где это — Беэр-Шева?

— Близко, — сказал толстячок, не задумавшись. — Рядом с Иерусалимом... А он вам кто, этот старичок? Родственник? Чего вы так волнуетесь?

— Я не волнуюсь, — сказал Мишка. — Покажите мне Беэр-Шеву на карте, — встав из-за стола, он подошел к географической карте, висевшей на стене комнаты.

— Вот она, — с готовностью ткнул пальцем в карту толстячок. — Вот Иерусалим, а вот Беэр-Шева. Рядом.

— И-е-р-у-с-а-л-и-м, — по слогам прочитал Мишка. — Верно... А-бу-Гош. Тут написано Абу-Гош! А что ж вы говорите, что Беэр-Шева?

— Так я ошибся! — пожал плечами толстячок. — Большое дело: Абу-Гош, Беэр-Шева! — толстячок еще раз пожал плечами и высокомерно добавил. — Тут у нас все рядом.

Мишка побледнел, задышал отрывисто. Толстячок попятился к двери.

— Я тебе сейчас голову оторву! — прошипел Мишка. — Чтоб врать нечем было! Ты — кто такой? Ты из ГБ?

— Ша, ша! — замахал руками толстячок. — Вы меня неправильно поняли! Я же просто пошутил! Все активисты алии такие нервные!

— Ладно, — успокаиваясь, сказал Мишка. — Кончай-

те вашу писанину.

— Но я не могу послать этого старичка в Иерусалим, — извиняющимся тоном сказал толстячок. — Не имею права! Мне специальное разрешение нужно!

— А куда имеете право? — спросил Мишка.

— В Беэр-Шеву имею право, — жалко улыбаясь, сказал толстячок. — Я же говорю! Верьте мне — это чистая правда.

— Хорошо, — решил Мишка. — Я тоже еду в Беэр-Шеву.

— Это пожалуйста! — ухмыльнулся толстячок. — Вот это очень даже важно. Куда желаете: в "алеф" или "бет"?

— Мне все равно, — сказал Мишка. — Давайте, кончайте.

— Но я же пишу! — опасливо возмутился толстячок. — К чему такая спешка?

— На морду твою надоело смотреть, — не повышая голоса, сказал Мишка. — Давай, давай!

Ворча что-то про активистов алии, толстячок закончил заполнять списки, и Нисимовы с Рагозиным, погрузив в полугрузовичок скудные пожитки, отправились в Беэр-Шеву.

— Ничего, Самуил Маркович, — вертя головой по сторонам утешал Мишка Рагозина, — это, наверное, недоразумение, ошибка какая-нибудь. Зато поглядите, какая красота!

По обе стороны дороги расстилалась безжизненная полупустыня, выжженная солнцем. Иногда, редко, появлялись в поле зрения путников какие-то люди верхом на ишаках либо верблюдах. Потом вдруг появилось целое стойбище: черные полотнища, растянутые на шестах, дикие черные козы, медлительные люди в черных и белых, до земли, рубахах, без видимой цели переходящие с места на место.

— Кто это? — тревожно спросил Рагозин. — Цыгане?

— Может, цыгане, — призадумался Мишка. — Как будто, не евреи.

— Но они же дикие! — воскликнул доктор медицинских наук. — Боже, какая там, должно быть, грязь!

— Может, иностранцы? — высказал предположение Мишка. — Туристы какие-нибудь? — Ему не хотелось принять, что израильтяне бродят по пескам вместо того, чтобы строить или воевать.

— Наверно, цыгане, — остался при своем мнении Рагозин. — Говорят, они кочуют по всему свету без паспортов и никто их не останавливает.

— Свобода! — с облегчением согласился Мишка с Рагозиным: цыгане могли бездельничать и кочевать, евреи — заниматься полезными делами.

— Кто это выдумал, что Израиль — маленькая страна! — с пафосом воскликнул Мишка, когда кочевье скрылось из виду. — Какая же маленькая, если здесь даже цыгане кочуют! Простор, Самуил Маркович, какой простор! Вон мы сколько уже едем...

— Но в Беэр-Шеве, я знаю из литературы, нет глазной хирургии, — уныло возражал Рагозин. — Что я там буду делать?

— Нет — так уедем в Иерусалим! — уверял Мишка. — Или вы в Беэр-Шеве откроете новое отделение.

— Идея неплохая, — жевал губами Рагозин. — Вы думаете, что это возможно?

— Ну, конечно! — Мишка даже привстал с сиденья, как будто намеревался выпрыгнуть из полугрузовичка и тут же, на обочине дороги, в песках, приступить к строительству новой глазной клиники. — Это жирный боров просто не знал, кто вы такой.

— Может быть, может быть... — раздумчиво покачивал головой Рагозин. — В сущности, в такой развитой стране, как Израиль, центр глазной хирургии необхо-

дим в каждом городе.

Беэр-Шева началась сразу, без пригородов: пустыня перешла в главную улицу города.

— Какая красота! — сказал Мишка. — Вот настоящие евреи — строители. — И он указал на дюжину смуглых рабочих, таскающих кирпичи и цемент на стройке.

К Центру абсорбции подъехали полные надежд, в прекрасном расположении духа. Овадия и здесь собрался было лобызать песок, но Мишка удержал его.

Поздно вечером Мишку вызвали к телефону, в контору. Звонил давешний здоровяк в шортах — тот, что встречал на аэродроме.

— А мы вас в Иерусалиме ищем, — укорчиво сказал здоровяк, — весь город перевернули... Что же вы?!

— А что? — прикинулся простачком Мишка. — Я ведь рядом с Иерусалимом, рукой подать.

— Да кто это вам сказал? — изумился здоровяк.

— Да этот, толстый, который документы заполнял, — охотно объяснил Мишка.

Наступила долгая пауза. Наконец, здоровяк подал голос:

— Ну, он у меня получит! Значит, так и сказал: "Беэр-Шева рядом с Иерусалимом"?

— Он даже на карте показал, — продолжал топить толстячка Мишка. — Вот, говорит, Беэр-Шева, а вот это уже Иерусалим.

— Я завтра за вами заеду с утра, — пообещал здоровяк. — Мы съездим кое-куда, поговорим. И Иерусалим посмотрите, — здоровяк кашлянул, — который рядом.

— Только не с утра, — твердо сказал Мишка. — Я с утра в военкомат пойду, на учет становиться.

— Да вас не возьмут! — сказал здоровяк. — Рано вам еще.

— То-есть как! — вспыхнул Мишка. — Я зачем сюда ехал — обедать, ужинать? Как это не возьмут!

— Возьмут, когда время придет, — обрезал здоровяк. — А пока у вас другие дела найдутся.

— Приезжайте в 12, — сказал Мишка. — С утра я в военкомате. — И положил трубку на рычаг.

До Иерусалима ехали часа полтора, но Мишке это было не в тягость: в военкомате ему сказали, что он поставлен на учет, и обещали вскорости прислать повестку.

— Я в танковую школу пойду, — как сокровенное, поведал Мишка флегматичному здоровяку. — А вы в каких частях были, если не секрет.

— Сначала в пехоте, а потом секрет, — сказал здоровяк. — У нас так полагается: куда пошлют, туда и пойдешь.

— Ну, конечно, — согласился Мишка. — Просто я в танковых войсках служил в Союзе, я танки знаю.

— Ну, можно будет что-нибудь придумать... — неохотно пообещал здоровяк. — Русским евреям полагается отдых, они столько натерпелись.

— Да что вы! — живо возразил Мишка. — Ничего страшного, честное слово! Это вы тут воевали, жилы рвали, а мы там — что? Ну, в милицию потащат, ну, посадят даже — так ведь сидеть каждый дурак может.

— А воевать, вы думаете, не каждый дурак может? — покосился от руля здоровяк.

— Это смотря за что, — убежденно сказал Мишка. — Вон, дядя мой, Йехескель Нисимов, Герой Советского Союза...

— Как вы сказали? — перебил здоровяк. — Йехескель? Где-то я встречал это имя...

Но тут из-за горы, из-за зеленого холма вспыхнул белым каменным пламенем Иерусалим — и замолчали оба.

Расспрашивали Мишку долго и со знанием дела. Расспрашиватель, человек лет шестидесяти, назвался Дрором. Его интересовало буквально все, и он не уставал задавать все новые и новые вопросы. В скольких городах и поселках живут горские евреи? В каких? Сколько всего евреев на Кавказе? Сколько религиозных? Есть ли легальные синагоги, сколько? Много ли евреев сидит в тюрьмах? За что? Каковы отношения с мусульманами? С русскими? С кем отношения хуже, с кем лучше? Каково в среднем количество детей в еврейской семье? Часты ли разводы? Кто следит за еврейскими кладбищами? Кто платит деньги сторожам и могильщикам?.. Не успевал Мишка ответить на один вопрос, как получал другой.

Здоровяк в шортах, который сказал "ну, зови меня, если хочешь, просто Мойше", сидел в углу комнаты и время от времени выходил за соками, кофе и бутербродами. Вопросов он не задавал, но Мишкины ответы слушал внимательно.

Последнее, что спросил Дрор, было: "Чем ты хочешь здесь заниматься?"

— Пойду в армию, — не задержавшись, сказал Мишка.

— У нас всеобщая воинская повинность, — развел руками Дрор. — Все идут в армию.

— Я хочу стать офицером, — сказал Мишка.

— Кадровым? — уточнил Дрор.

— Точно, — сказал Мишка.

— Ну, что ж, — серьезно сказал Дрор. — Если очень захочешь, годам к сорока сможешь стать генералом — время у тебя для этого есть, ты молодой. И Шестидневная война была не последней.

Мишке захотелось вскочить и, вытянувшись, крикнуть: "Служу государству Израиль!", но вместо этого он спросил:

— Вы думаете, скоро будет война? Но ведь в Шести-

дневную от них почти ничего не осталось.

— Осталось, — поправил Дрор. — Русские восстановили их потери в оружии. А в людях у них недостатка нет... Нам, Мишка, еще придется воевать, и не раз!

— Я бы, вообще-то, пошел в подводный флот, — сказал Мишка, — но важнее танки. Поэтому я пойду в танковое училище.

— Это не совсем училище... — слегка поморщился Дрор. — Но почему — в подводный флот?

— Мой дядя был подводником, Йехескель Нисимов, — объяснил Мишка. — Он Героя Советского Союза получил. Посмертно.

Йехескель Нисимов... — пощелкал пальцами по столу Дрор. — Йехескель Нисимов... Что-то знакомое.

— Да-да, я тоже это имя слышал, — сказал из своего угла Мойше. — Не помню только, где и в какой связи.

— Я попробую узнать, Мишка, — сказал Дрор. — Узнаю и сообщу тебе. Подводник, ты говоришь?

— Подводник, — подтвердил Мишка. — И еще одну вещь я хотел спросить, если можно.

— Можно, можно! — разрешил Дрор. — Все можно.

— У нас тут один родственник живет, — сказал Мишка. — Военный. Как бы телефон его достать?

— Кто это? — спросил Дрор и взял карандаш.

— Йекутиэль Адам, — сказал Мишка.

— Йекутиэль? — удивился Дрор. — Ты родственник Йекутиэля?

— Не слишком близкий, — сказал Мишка, — но — да, родственник. Мой отец и его отец — двоюродные братья.

— Вот так сюрприз! — обрадовался Дрор. — Йекутиэль сейчас в Америке, на учебе. Он скоро вернется, и мы к тебе подъедем.. Ну, Мишка, тебе с такой родней, действительно, надо в армию идти!

— Вот я и говорю, — смутился Мишка. — А Йекутиэль, он... Мы в Дербенте слышали, что он — генерал.

— Йекутиэль — один из лучших офицеров армии обороны Израиля, — сказал Дрор. — Он далеко пойдет. Как он вернется — я у него, кстати, спрошу об этом вашем подводнике: он должен знать.

Разговор был окончен. Дрор пригласил Мишку пообедать вместе.

— Что ты любишь — мясо, рыбу? — спросил Дрор. — Может, гефилте фиш? Или кус-кус?

— Нет, спасибо, — отказался Мишка. — Я к Стене плача хочу пойти. К Стене плача на сытый желудок идти нельзя — надо на голодный.

— Почему? — спросил Мойше.

— На голодный желудок думается лучше, — сказал Мишка и поднялся из-за стола.

К Стене они шли через арабский рынок, почти пустынный в этот вечерний час: только армейские патрули встречались им, да несколько раз какие-то парни пересекали им дорогу, и тогда рука Мойше тянулась к поясному ремню, под выпущенную рубашку. "Там у него пистолет", — решил Мишка и горько позавидовал Мойше — о пистолете Мишка мечтал с малых лет.

— Здесь, что — опасно? — как бы невзначай спросил Мишка, когда они углубились в особенно темный каменный переулок. — Надо было мне кинжал взять с собой.

— Ничего, — сказал Мойше. — Дойдем... А кинжал — это удобно?

— Очень! — сказал Мишка.

Стена, искусно подсвеченная прожекторами, открылась перед ними. Мишка остановился, как вкопанный.

— Это она? — шепотом спросил Мишка. — Какая огромная!

Они в молчании спустились по лестнице, пересекли белокаменную площадь и вошли в огородку. Несколько молящихся — штатских и военных — стояли вдоль

стены, прижавшись к ней лицами. Мишка обогнал своего спутника, подошел вплотную к желтоватым камням кладки и прислонился лбом к телу Стены. Ему хотелось обхватить ее, обнять, и он раскинул руки. Мысли его мешались и путались, горькое счастье переполняло его душу. Он не смог бы выразить это чувство словами, он знал точно только одно: здесь, в самом сердце еврейского мира, он готов был без раздумья отдать жизнь за свой народ.

В Беэр-Шеве, в Центре абсорбции "Алеф" дни шли размеренно, ровно: завтрак — уроки — обед — уроки — ужин — телевизор — сон — завтрак... Месяц спустя после приезда Мишка нарушил это плавное течение. Отказавшись от послеобеденных уроков, он нашел себе работенку — разгружал грузовики на овощном рынке. Жизнь сделалась не такой монотонной, да и лишние деньги не мешали.

Доктор Рагозин совсем пал духом: на все его просьбы о переводе в Иерусалим он получал отказы. В дело вмешались сотрудники отделения глазной хирургии иерусалимской больницы Хадасса, пользующиеся его методом, и появилась надежда. Но тут выяснилось, что документы Рагозина, его "Дело", потеряны без следа. На аэродроме их не было, не нашли их и в Беэр-Шеве. В ответ на отчаянные вопросы Самуила Марковича чиновники безразлично пожимали плечами: беспокойный старик изрядно им надоел, они не понимали, о чем он беспокоится. Ну, затерялось куда-то "Дело" — так ведь Рагозину не восемнадцать лет, в Университет ему не поступать, и в армию не идти. Сидел бы себе спокойно в Центре абсорбции, ждал бы смерти!

Но Рагозин не успокаивался, а, напротив, раздражался все более. Мишка ездил с ним несколько раз в Иерусалим, кричал, стучал кулаком по столу и однажды пообещал зарезать кинжалом особенно про-

тивного и наглого чиновника. Пришла полиция, Мишку забрали, но, продержав день, выпустили. А дело все не сдвигалось с мертвой точки: Рагозин жил, ел и пил, ходил по раскаленным улицам Беэр-Шевы и Иерусалима — а как бы вовсе не существовал, потому как разумное и законное существование человека должно быть подтверждено его "Делом". Старик дышал со скрипом, астма душила его, и валидол, привезенный из Ленинграда, кончился.

Мишка позвонил Дрору — тот был за границей. Позвонил Мойше — Мойше удивился, обещал "нажать". Потом сказал:

— Понимаешь, тут у нас мелкий чиновник никого не боится — ни Премьер-Министра, ни Начальника генерального штаба. Пока они эту папку не найдут, ничего нельзя сделать.

Папку не нашли, зато пообещали открыть новое "Дело". Недели шли за неделями, месяцы сменялись месяцами. Рагозина уговаривали подождать, набраться терпения — начальник какого-то отдела ушел в отпуск, заместительница начальника другого отдела не выходила на службу по причине трудной беременности.

— Вы сами поймите, — уговаривали Рагозина, — у нее шестнадцать лет не было детей, никак не могла забеременеть. Муж хотел ее бросить. И вот, просто чудо, она в положении. Если она, не приведи Бог, выкинет — это будет просто катастрофа!

Может быть, рождение нового человека важнее смерти старого. Может быть. И смерть все ближе подносила свой палец к устам старика, чтобы замкнуть их навеки.

В конце июля Рагозина разбил инфаркт. Мишка забросил учебу, с утра до вечера сидел у постели больного. Самуилу Марковичу становилось все хуже. Он отдавал себе отчет в том, что с ним происходит.

Он не жаловался ни на боли, ни на судьбу. Как-то раз сказал:

— Все мои записи, Миша, передайте, пожалуйста, в глазное отделение Хадассы. Я надеюсь, это им пригодится.

— Да вы сами передадите... — пробормотал Мишка. — Да Самуил Маркович... — но, поймав на себе пристальный, скорбный взгляд Рагозина, замолчал.

Однажды к Центру абсорбции подрулил большой зеленый "Додж" с армейским номером. Из машины легко вышел молодой сухощавый генерал, его лицо перечеркивали надвое широкие и длинные черно-смоляные усы. Шофер побежал в контору, генерал прогуливался перед зданием, исподлобья поглядывая на окна, на подъезд, на выложенную белым камнем широкую площадку перед подъездом. Пять минут спустя шофер вышел из Центра в сопровождении Мишки Нисимова.

— Значит, это ты — Нисимов? — с улыбкой глядя на ладного парня, спросил генерал. — Из Дербента?

— Я, — сказал Мишка. — А вы — Йекутиэль Адам?

— Верно, — сказал генерал. — Родня, значит?

— Родня... — сказал Мишка, глядя на генерала с обожанием. Он впервые в жизни так близко видел израильского генерала.

— А отец где? — спросил Йекутиэль. — Пойдем к нему.

Они поднялись на второй этаж, к Нисимовым. Овадия встретил троюродного племянника с достоинством. Заговорили о многочисленной родне — и здесь, и там, на Кавказе. Ципора хлопотала над угощением.

— Семья наша дружная, большая, — поглядывая на генеральские погоны, говорил Овадия. — Со всеми отроутками человек сто наберем.

Йекутиэль поглаживал усы, слушал внимательно.

Не перебивая отца, Мишка снял фотографию Йехескеля со стены, принес.

— В нашей семье один капитан первого ранга был, — сказал Мишка, — Герой Советского Союза. Он во время войны погиб, на подводной лодке.

Йекутиэль взял портрет, внимательно всмотрелся.

— Как его звали? — спросил Йекутиэль.

— Это брат мой Йехескель, — сказал Овадия.

— Йехескель Нисимов... — повторил Йекутиэль. — Я это имя знаю и фото где-то видел. Но где? То ли в книге, или, может, в военном музее... Но я не знал, что этот капитан — наша родня... Вот что, Михаэль, — он произнес мишкино имя на израильский лад, — я свяжу тебя с Яд-Вашем, там концы найдут. У них в архивах, наверно, есть что-нибудь.

— Я им расскажу, что знаю, — вызвался Мишка, — и материалы у меня кое-какие есть, советские, конечно.

— А ты, — сказал Йекутиэль, — в армию хочешь? Дроп мне говорил.

— Повестку жду уже вон сколько времени, — помрачнел Мишка, — Дядя Йекутиэль, помогите!

— Что ты хочешь-то? — спросил Йекутиэль. — Говори!

— Виллу-Вольво не хочу, — бойко отрапортовал Мишка. — В армию хочу быстрее. Время-то идет!

— Хорошо, — сказал генерал. — Проверю. Помогу. А вы, — он повернулся к старикам, — ко мне приезжайте на пятницу, на субботу. Мать моя до сих пор в субботу долму готовит, хичин — как в Дербенте. Приезжайте, я машину за вами пришлю! Мать рада будет, и вам веселей.

— Йекутиэль, время! — поглядев на часы, напомнил шофер. — Ехать надо.

— Поехали! — гость поднялся из-за стола, обнялся со стариками, пожал руку Мишке. — А тебе — помогу,

— сказал он, не выпуская мишкину руку из своей сухой крепкой ладони. — В чем в другом — не знаю, а в этом — помогу.

Не чуя под собой ног, бежал Мишка в больницу — рассказать Самуилу Марковичу о визите генерала Адама, о том, что имя Йехескеля Нисимова — и здесь не пустой звук. Не дожидаясь лифта, стремглав взбежал он по лестнице. Койка Рагозина была отгорожена занавеской.

— Без сознания он, — сказала дежурная сестра. — На искусственном дыхании.

— Можно туда? — шепотом спросил Мишка.

— Заходи, — разрешила сестра. — Родственники у него тут есть?

— Никого, — сказал Мишка. — Я один...

— Ну, сиди, — сестра отодвинула занавеску. — Недолго сидеть-то.

Самуил Маркович умер перед рассветом, не приходя в сознание. Хоронили его на городском кладбище. За носилками шли Нисимовы и еще одна семья ленинградских евреев из Центра абсорбции. Кладбищенский доброхот читал молитву над могилой, а Мишка, машинально повторяя слова, думал о том, что не так все просто и здесь, на родине. Вот, приехал ученый человек, привез свое умение и свое сердце — и не выдержал, и рыба кровь набитых ватой и тряпками чиновников на нем. А ведь хотел, а ведь мог принести пользу, и какую! Кто виноват в том, что произошло? Только ли чиновники? Или брать выше? Ведь сами, сами они убили человека, золотого человека! Мишка сжимал кулаки, злился. Нет, не только Самуил Маркович Рагозин умер этой ночью. Вместе с ним сошла в могилу наивная вера Михаила Нисимова в безусловную израильскую справедливость.

Но воевать с евреями — даже за справедливость — Мишка не хотел. Мишка хотел воевать с врагами евреев, хотел армейским порядком отгородиться от всего того, что пришлось ему не по душе в гражданской жизни.

Йекутиэль сдержал свое слово. Повестка из военкомата пришла через пять дней.

Глава шестая

С ТОРОЙ И АВТОМАТОМ

С мобилизационного пункта новобранцев вез выдавший виды автобус, ревивший на подъемах и урчавший на спусках. За окнами автобуса расстилались поля, о которых смело можно было сказать "бескрайние" — они вольно добежали до горизонта и скрывались за ним. Полуденное солнце припекало, горячий ветер метался по автобусному салону. Новобранцы с домашней едой в сумках и полиэтиленовых мешках взволнованно вертели головами по сторонам, а то затевали петь песни все вместе, на разных языках. Все здесь, в автобусе — человек сорок — были новыми репатриантами, — начиная от молодого Мишки и кончая почти старым, с красивой серебряной сединой в окладистой бороде великаном из Южной Родезии. Пятеро аргентинцев сгруппировались за кабинкой водителя и пели по-испански что-то грустное, а, может, любовное.

— О чем песня? — перегнувшись через спинку сиденья и похлопав одного из аргентинцев по плечу, спросил заинтересованный Мишка.

— О грядущей пролетарской революции в Аргентине! — услышал он в ответ и потерял интерес к аргентинским певунам.

Американцы и англичане сидели рядом, но не вместе,

не смешивались. Они пели какую-то тягучую песню, в которой то и дело упоминался чей-то день рождения.

”Надо бы поздравить!” — подумал общительный Мишка, но англосаксы глядели отчужденно, и Мишка поздравлять передумал. Глядя в окно, он соображал, куда их везут. Выходило, что — к Иерусалиму. ”Ну да, — решил Мишка, — конечно. Оружие нам ведь должны выдать? Где ж его еще и давать, как ни в Иерусалиме! Может, даже у Стены плача”.

Приятные мысли Мишки нарушены были мелодичной песней на каком-то знакомом языке. Нет-нет, не на иврите — на иврите здесь никто не пел и не говорил. Мишка вслушался, отодвигая от себя это замечательное видение: офицер со строгим лицом вручает ему автомат ”Узи”... Четверо грузинских евреев пели по-грузински прекрасную песню о доброй грузинской земле, о щедром солнце и полноводных реках Картли. Мишка поморщился и недовольно тряхнул головой: тоже, нашли о чем петь в первый день службы в Армии обороны Израиля! А грузины все пели и пели, и скользили за окном тучные поля, и светило щедрое солнце.

— Хочешь пахлаву? — вежливо спросил у Мишки его сосед, круглощекий толстяк с черными масляными глазами, лет тридцати пяти. — Хорошая пахлава, домашняя.

— Давай, попробуем, — согласился Мишка. Пахлава оказалась приторной, крошилась.

— Вкусно? — жуя пахлаву, как мясо, справился толстяк. — Мама делала.

— А ты сам откуда? — спросил Мишка.

— Из Афганистана, — сказал толстяк. — Дани меня тут зовут. — Дани говорил на иврите довольно свободно.

— А я с Кавказа, — сообщил Мишка. — Слыхал?

— Нет, — сказал Дани. — Тут в армии, говорят, очень

страшно.

— А ты не бойся, — дал совет Мишка. — Ты в Афганистане что делал?

— Я там был офицер! — гордо сообщил Дани. — Майор.

— Какого рода войск? — осторожно осведомился Мишка.

— Это там не бывает, — доставая из сумки увесистый кус рахат-лукума, объяснил Дани. — Есть офицер, есть рядовой. У меня был денщик — он был рядовой... Берихамам-лукум, он сладкий!

— А мяса у тебя там случайно нет? — заглядывая в сумку Дани, разведал Мишка.

— Мяса не бывает, — виновато вздохнул Дани. — Я вегетарианец.

— Ишь ты! — искренне удивился Мишка. В его голове не укладывалось, как это майор может по собственному желанию грызть конфеты вместо мозговых костей.

— Здесь хорошо! — беззаботно разглагольствовал Дани. — Халва нежная, морковь тоже очень хорошая. В Афганистане тоже было хорошо.

— Чего ж ты оттуда уехал? — покосился Мишка.

— Папа сказал: поедем на родину, молиться будем, — поведал Дани. — Сказал: пойдем в синагогу, будем там сидеть. А теперь меня в армию забрали. — Дани засопел и нагнулся к своей сумке, в которой уместилась бы собака средней величины.

— Ну, ты нос не вешай! — одобрил Мишка. — Держись! В армии хорошо! Танк — знаешь?

— Нет, — сказал Дани. — А у тебя жена есть?

— Нет у меня никакой жены, — сказал Мишка.

— А у меня две есть, — вздохнул Дани. — Старшую я в Кабуле оставил, а младшую с собой привез.

— Почему? — удивился Мишка.

— Младшая лучше, — объяснил Дани. — Моложе.
— А старшей сколько лет-то? — продолжал спрашивать Мишка.

— Двадцать девять уже... — сказал Дани.

— Так что ж — на помойку ее, выходит дело? — посу-
рел Мишка. — Это, знаешь, просто нехорошо — бро-
сать человека среди гоев.

— Так в том-то и дело, — перестал жевать Дани, — что
я ее тоже очень люблю. А сюда, в Израиль, с двумя же-
нами не пускают — только с одной. У папы еще две жены
были — он тоже оставил.

— Ну, тогда другое дело, — успокоился Мишка. —
Не положено — значит, не положено. Твоя, да эти еще
две, папины — проживут как-нибудь.

Аргентинцы давно уже прекратили петь и дремали,
умолкли и англосаксы, — только грузины продолжали
тянуть свою нескончаемую песню. Автобус въехал в
Иерусалим, миновал тесный центр, спустился по ши-
рокому новому бульвару, и вот замелькали по обочи-
нам арабские каменные домики. "Рамалла, 15 км", —
прочитал Мишка на дорожном указателе.

— В Рамаллу едем, — сказал Мишка закончившему,
наконец, жевать и глотать Дани. — Рамалла — знаешь?

— Да, — сказал Дани, — В Рамаллу — зачем? Там
арабы!

— Не знаю, — пожал плечами Мишка, а потом доба-
вил сердито: — В армии не спрашивают, в армии вы-
полняют. Это — знаешь?

— Нет, — сказал Дани и потянулся к своей сумке.

Рамалла осталась позади. Мотор заревел, автобус
шел в гору. На вершине горы дорога уперлась в воро-
та, у ворот, развалившись на стуле, сидел солдат.
При виде остановившегося у ворот автобуса солдат
неспеша поднялся со стула и носком ботинка пихнул
створку ворот. Автобус въехал в безлюдную в этот

час базу, миновал асфальтированный плац и остановился у длинного низкого барака с мелкими оконцами.

— Приехали! — крикнул шофер. — Выходи!

Таша свою сумку, Дани поплелся по проходу перед Мишкой.

У входа в барак новобранцев встретил высокий костлявый сержант лет до двадцати.

— Давайте, заходите! — сказал сержант. — Разбирайте койки, кладите вещи, а потом выходите и стройтесь по-трое. По-трое, понимаете? Раз, два, три. Ну, вперед!

В бараке было сумрачно, лампочки под потолком не горели: не было электричества. "Хороший барак, — подумал Мишка. — Жить можно".

— А тумбочки где? — упавшим голосом спросил Дани. — С замочками?

Тумбочек не было. Двухъярусные железные койки были похожи на остовы молодых деревьев.

— Ну, зачем тебе тумбочка? — раздраженно спросил Мишка. — Что тебе тут запирать?

— Сумку, — сказал Дани. — Часы. Все.

Утешить Дани было нечем, и Мишка промолчал. А Дани поволок свою сумку обратно к двери, прислонился к косяку и горько заплакал. Его не утешали, обходили, стараясь не задеть. Там, у косяка, его и обнаружил сержант.

— Ты чего плачешь? — спросил сержант, ничуть, однако, не удивясь.

— Домой хочу, — размазывая слезы по толстым щекам, сказал Дани. — К маме. И к папе.

Сержант и тут не выказал удивления. Взяв Дани под руку, он отодрал его от косяка и поволок куда-то через плац. Минут через пять он вернулся и позвал одного из аргентинцев:

— Эй, ты! Возьми-ка его сумку и отнеси ее вон туда, в медпункт.

— А что это с ним? — подойдя, спросил запевала-грузин. — Который плакал?

— Да ничего, — разъяснил солдат. — Домой его отправят. Истерика. С такими потом неприятностей не оберешься... Выходи! Стройся по-трое! Раз, два, три! Это называется — тройка! Все поняли?

Поняли все и, толкаясь, построились.

— За обмундированием — бе-гом! — скомандовал сержант и легко побежал впереди колонны.

Так начались для Мишки Нисимова два месяца Школы молодого бойца — шестьдесят дней, которые он назвал потом лучшими днями своей жизни.

За послушание и усердие сержант Моти назначил Мишку отделенным. Мишка был этому первому армейскому назначению горд, как будто получил орден. Но орденов, он уже знал, в израильской армии никому не дают, и поэтому гордился еще сильнее.

На сон отводилось в Школе молодого бойца пять часов, и мишкины обязанности сводились покамест к небольшому: он отвечал за то, чтобы отделение в шесть утра было на ногах. Мишка вставал в половине шестого, умывался, брился и без четверти шесть, войдя в барак, кричал: "Всем вставать!" Вставали далеко не все, и Мишка уговаривал: убеждал или сдергивал одеяло. Кроме того, он следил за уборкой постелей и за построением. Сержант Моти сделал правильный выбор: Мишка трудился не за страх, а за совесть. Но когда в один прекрасный день Моти приказал: "Песню запевай!" и, желая помочь Мишке, затянул на чудовищном русском "И от Москвы до китайских морей красная армия всех сильнее!" — тут Мишка взорвался. Он выскочил из строя, подбежал к Моти, про-

шипел: "Хватит! Я это петь не буду! Пусть мне лучше язык вырвут!" Моти опешил: что случилось с человеком? Песня как песня, шагать под нее удобно, и русских немало в отделении... Вечером, после занятий, Мишка, кипя и волнуясь, сбивчиво объяснил Моти свой срыв. "Не хочешь — не надо! — сказал Моти. — Другую будем петь", — но Мишка видел, что сержант так ничего и не понял.

В бараках, служивших до Шестидневной войны казармой солдатам иорданского Арабского легиона, Мишка чувствовал себя, как в доме родном. То, что другим новобранцам казалось неприятным или неудобным, Мишка воспринимал как праздник или просто как необходимость.

— Почему мы должны собирать окурки вручную? — спрашивали его товарищи. — Зачем таскать мешки с песком на плечах, когда можно возить их в тачке?

— Так надо, — не задумываясь, отвечал Мишка. — Армия — не дом отдыха. Солдат должен научиться слушаться. И не бояться испачкать руки.

Бег, ползание "ужом" и "восьмеркой", физические упражнения — все это было интересно и нагоняло волчий аппетит, но Мишка с нетерпением ждал того дня, когда отделение приступит к изучению оружия.

И вот этот день пришел. Сержант Моти разместил отделение на лужайке, служившей учебным классом. Посреди лужайки стоял стол. Стоя у стола, Моти объявил, что сейчас придет командир базы.

— Когда он придет, — сказал Моти, — всем заложить руки за спину. Это такое приветствие. Вставать не надо.

— А по стойке смирно и козырять? — спросил грузин-запевала. Бывший сержант советской армии, он то и дело возмущался либеральными порядками в

израильской, хотя сам был изрядный сачок и проныра.

— Козырять не надо, — подумав, сказал Моти. — У нас это тут не полагается. Козырять... Что тут — театр, что ли? А ты, Швили, заправь-ка гимнастерку в штаны!

Командир базы полковник Шауль — здоровенный мужик лет сорока, с крепчайшими руками и красной бычьей шеей кадрового офицера, в коричневых ботинках десантника — принес с собой автомат "Узи".

— Здравствуйте, солдаты! — по-русски сказал Шауль, а потом перешел на иврит. — Я покажу вам, как разбирать автомат "Узи", и хочу, чтобы вы научились это делать, как я. Сержант, платок!

Моти заученным жестом извлек из кармана черный платок и передал Шаулю. Обмотав платок вокруг глаз, Шауль завязал его концы на затылке и, уже ощупью, поставил автомат на приклад. Новобранцы сидели, как в цирке перед головокружительным прыжком акробата — только барабанной дробью не хватало.

— Готов? — спросил Шауль.

— Готов! — держа в руке секундомер, ответил Моти.

— Давай! — скомандовал Шауль.

Моти нажал на фиксатор секундомера, и руки полковника Шауля пришли в неистовое движение. Осевая гайка автомата легла на стол, потом пружина, потом полая коробка затвора. Не успело отделение перевести дух, как "Узи" был разобран по косточкам.

— Сколько? — не снимая повязки с головы, спросил Шауль.

— Восемь секунд, — глядя на циферблат секундомера, уважительно сказал сержант Моти.

— Готов? — спросил Шауль.

— Готов! — ответил Моти и нажал на фиксатор.

Через двенадцать секунд "Узи" был собран, и Шауль снял повязку. Солдаты сидели, молча переваривая увиденное.

торга.

Через полчаса пришел сержант Моти.

— По-трое стройся! — приказал Моти. — Ну! Раз-два-три! Каски все взяли?

Помахивая английскими касками, смахивающими на столовые тарелки с выпуклым донцем, отделение поплелось из лагеря в поле. Там, на отлете, выкопан был в каменистой земле длинный окопчик.

Солнце нещадно палило, настроение у людей было далеко не бойцовское.

— Ну, чего! — подбадривал Моти. — Подумаешь, большое дело: гранату бросить! Главное — не уронить ее в окопчик, а то крышка. В прошлом году один такой уронил — и его разнесло, и офицера.

— Офицер тоже будет кидать? — удрученно спросил перс.

— Ему зачем кидать! — возразил Моти. — Он в окопчике будет стоять, руководить.

— А ты? — спросил перс. — Ты будешь кидать? — мысль о предстоящем, как видно, не давала ему покоя.

— Нет, — сказал сержант. — Я буду в конце очереди стоять, следить за порядком.

— Ну, наконец-то! — засмеялся Мишка. — Если в Израиле есть очередь — так это очередь гранаты кидать.

— Ты рядом со мной вставай, — сказал сержант. — Помогать мне будешь: иногда бывает, что пытаются убежать. И вообще.

— Так я последним, выходит дело, буду кидать? — огорчился Мишка.

— Я тебе две гранаты дам, если хочешь, — усмехнулся Моти. — По протекции.

— Идет, — согласился Мишка.

Перс слушал внимательно, даже губами забыл ше-

велить.

Мишка со стороны наблюдал, как строились его товарищи в очередь — без подъема, понуро. Первым никто не хотел становиться, но увилить открыто было стыдно — и вот в голове очереди образовалась пробка. Наконец, кого-то то ли вытолкнули, то ли сам он решился.

Офицер терпеливо ждал, стоя в окопчике.

— Спускайся, — сказал офицер первому. — Иди сюда.

Первый, бывший московский закройщик Женька — парень ростом под два метра и весом за сто килограммов — послал ребятам рукою шуточный прощальный привет и спрыгнул в окоп. На дне окопа стоял открытый ящик с гранатами.

— Поворачиваешь чеку по часовой стрелке, выдергиваешь, размахиваешься, кидаешь вон туда, — учил офицер. — Кричишь "римон!" и приседаешь как можно ниже. Главное — не растеряться и не уронить гранату. — Офицеру, как видно, тоже была памятна та прошлогодняя история со взрывом в окопчике.

— Повтори! — сказал офицер.

Женька повторил.

— Ну, давай, — сказал тогда офицер и, повернувшись к очереди, добавил: — А вы, как он крикнет "римон!", все падайте на землю.

Женька швырнул, и в тот же миг проворная и сильная рука офицера легла на его каску и прижала ко дну окопа. Ниже по склону рванул взрыв. Очередь повалилась в пыль.

— Ну вот, — подымаясь, сказал офицер. — Совсем было не страшно. — Так медицинская сестра приободряет ребенка, сделав ему укол.

— А ничего! — вылезая из окопа, сообщил Женька. — Главное, сильнее размахиваться, — подал он совет, и очередь тихонько загомонила, явно завидуя бравому

Женьке.

Дело пошло ладно, ящик на дне окопа быстро пустел.

Перс, стоявший в середине очереди, упорно перестраивался и очутился, наконец, в самом хвосте, перед Мишкой. Сержант Моти наблюдал за маневрами перса с большим безразличием.

— Дальше не иди, — презрительно сказал Мишка и добавил с усмешкой: — Велик Израиль, а отступать некуда: позади Иерусалим!

Перс, однако, не обратил никакого внимания на его иронию.

— Скажи, сержант, — спросил перс, — а сколько стоит одна граната?

— Ну, как... — задумался сержант. — Ну, корпус... взрывчатка... потом еще взрыватель... Тридцать — тридцать пять, я думаю. А зачем тебе?

— Сержант, — твердо сказал перс, — я тебе пятьдесят дам. Брось за меня!

Сержант Моти выпрямился, как будто внутри его тела освободилась стальная пружина.

— Ты в Бога веришь? — сердито глядя, спросил Моти.

— Конечно, верю, — сказал перс.

— Тогда иди! — Моти повелительным жестом выкинул руку вперед. — Бог тебе поможет!

— Ну, что там?! — донесся из окопчика голос офицера. — Следующий!

Перс, горбясь и бормоча, побрел к окопу. Минуту спустя раздался взрыв, и белый, как мел, улыбающийся перс выкарабкался наверх.

— Хорошо бросил, — пошутил Мишка. — Тебе премия полагается: еще один бросок.

Не гася улыбки, перс брел прочь от окопчика.

— Все, что ли? — спросил офицер из окопчика. — Последний? Ну, давай, давай!

Мишка молодецкато спрыгнул в окоп, принял в ладонь увесистую гранату. "Наша! — с нежностью подумал Мишка. — Израильская!"

Ему было даже немного обидно, когда, после взрыва, офицер резким движением пригнул его к земле: он и сам бы наклонился. Обида, однако, тут же и прошла: раз офицер пригнул — значит, так надо.

После учений с гранатами стрельбы из пулемета показались пустяшным делом. Пулемет "ноль-три" работал превосходно, вздрагивал в руках, как живой. Мишка разбирал его и собирал не только с легкостью, но и с удовольствием — и был этим горд. Уже насмотревшись оружия, он, однако, не утратил к нему своего рода нежности, начисто лишённой панибратства: такое же, примерно, чувство он испытывал к своим родным кавказским кинжалам.

Ночные стрельбы привели его в восторг. Горели фитили в площадках, неровно освещая мишени, непроницаемый восточный мрак лежал на плечах солдат. Говорили негромко, почти шепотом — ночь навевала ощущение опасности, азартной игры и смертельного риска. И Мишке хотелось, чтоб появился вдруг из ночи настоящий, живой враг, в куфие и с "калашниковым", и он, Мишка, прошил бы его свинцовой строчкой. Нет, он, пожалуй, ранил бы его или оглушил, а потом взял бы живьем. Возможно, и сам Мишка был бы ранен в результате этой внезапной ночной схватки — но легко, несерьезно. Или даже два араба пришли бы — тогда одного можно было бы убить, а другого взять в плен... Вглядываясь в ночь, тревожно расцветенную редкими светильниками у мишеней, Мишка угадывал контуры врагов, обречённых уничтожению. И возникала в его воображении коренастая фигура с лицом, по-бандитски

закутанным в куфию: голубые глаза, соломенные волосы. Русский, советский! Это он науськивает арабов, он дает им "калашниковы"!.. Вот кого Мишка мечтал поймать всей душой, вот с кем хотел потолковать — по-свойски, по-русски.

Пылали площадки, стучали выстрелы — одиночные и очередями. Боевая ночь, ночь боя! Выпадет ли на долю солдат, на Мишкину долю красться в ночи, вглядываться, целиться, стрелять — по-настоящему?

Наверно, выпадет...

За неделю до окончания школы и принятия присяги Мишка — третий раз в жизни — столкнулся с арабами. Араб — само это слово обозначало для него понятие опасное и враждебное. Когда-то, много лет назад, Мишке указали в молодежном бакинском кафе на молодого щуплого парня и сказали: "Гляди — это араб, египтянин. Он учится здесь, в Закаталах, в летной школе" Сказали просто так, хвастаясь своим знанием: вот сидит иностранец, он учится на военного пилота, и это секрет. Но Мишка все воспринял иначе: вот сидит враг, который будет сбрасывать бомбы на израильские детские сады и школы. С врагом следовало расправиться, и немедленно.

Мишка подсел к арабу за столик, познакомился, заказал графинчик коньяка. Сообщение о том, что он, Мишка — еврей, почему-то не удивило и не насторожило будущего воздушного разбойника. Араб с диким гортанным акцентом рассказывал о какой-то своей тетке, муж которой занимался почему-то художественной фотографией. О том, откуда он родом и чем занимается в Закаталах араб не проронил ни полслова. "Хитрый, гад, — решил Мишка. — Ну, поглядим..."

Они вышли из кафе вместе, прошли с полквартала — и там, в неосвещенном месте, Мишка, не говоря

худого слова, развернулся и врезал арабу по челюсти. Парень упал и, лежа на земле, задал естественный вопрос: "За что?"

— Арабская морда! — прошипел Мишка, дожидаясь, когда противник подыметесь на ноги — бить лежачего он не хотел.

— Ну и что? — с земли спросил поверженный.

— Ты наших будешь убивать! — выдохнул Мишка. — Антисемит!

— Не все египтяне, — грустно сказал араб, — антисемиты и против Израиля. Я — нет!

Мишке сделалось неловко: может, араб не врет, и парень он, как-будто не плохой. Послали его сюда — он и поехал. До этого вечера Мишка был уверен, что все арабы без разбора — антисемиты и смертельные враги Израиля.

Не вступая в разговоры, Мишка помог арабу подняться и пошел прочь. "Может, есть среди них неплохие ребята, — с сомнением думал Мишка. — Может, даже вот этот приедет когда-нибудь в Иерусалим просто так, по-соседски — если его до тех пор не собьют".

Так состоялось первое знакомство Мишки Нисимова с арабами.

Второй раз он тоже попал впросак: принял арабов, работавших на безр-шевской стройке, за трудящихся евреев.

Здесь, под Рамаллой, знакомство случилось куда более серьезное.

Явился к Мишке грузин-запевала и сказал:

— Тиранут кончаем вот-вот, надо банкет делать. А какой банкет без шашлыка? Ты кавказский человек, понимаешь. Тут барана можно у одного араба купить, хороший баран, жирный. Пойдем сходим?

И они отправились.

Араб Муса жил на окраине крохотной, не больше

тридцати дворов, деревушки, в каменной развалюхе с глинобитным полом. В развалюхе было довольно чисто, на побеленной стене висело какое-то вышитое покрывало, на полу стоял низкий и круглый столик. Помимо Мусы, в доме обнаружилась жена его — плотная женщина неопределенных лет, молодой, не старше Мишки, племянник и престарелый то ли дядя, то ли дедушка. Кроме того, в комнату то и дело вбегали и выбегали, пяля глаза на пришельцев, малые дети. Дети испускали неприятные гортанные крики, на них никто не обращал внимания, как на мух.

Муса пригласил садиться.

Мишка сел, сложив ноги, на пол, спиной к стене, и положил автомат на колени. Грузин сел напротив и положил оружие на пол, и Мишка внутренне это не одобрил.

— Ну, продаешь барана? — сразу перешел к делу грузин. — Сколько хочешь?

Но Муса как бы и не слышал вопроса: он задумчиво глядел на племянника, принесшего на медном подносе кофе в маленьких наперсточных чашечках.

— Надо было бутылку захватить, — не смущаясь присутствием хозяина, сказал грузин по-русски. — Быстрей бы дело пошло, и заодно засадили бы по стакану.

Муса все молчал, и молчание уже становилось тягостным, когда племянник завязал разговор.

— В России, когда женятся, — сказал племянник, — сразу квартиру дают бесплатно, а здесь не дают.

— Не дают — значит, не полагается, — успокоил племянника грузин, но Мишка не дал теме угаснуть и сухо изложил состояние квартирной проблемы в СССР. Племянник слушал с недоверчивой ухмылкой, а престарелый дядя то ли дедушка, терпеливо дождавшись конца мишкиного сообщения, спросил:

— Вы зачем пришли?

— За бараном, — сказал грузин. — Ты не знаешь — так спроси вот у него, — он указал пальцем на Мусу.

— В Рамаллу зачем пришли? — углубил вопрос дедушка.

— Тебя мы забыли спросить, — начиная сердиться, сказал Мишка. — Ты кто такой?

— Ахмад, — сказал старик.

— Ну и сиди, никто тебя не трогает, — сказал Мишка.

— Я здесь родился, — сказал старик. — А ты — где?

— Это тебя не касается, — сказал Мишка, чуя подвох. — Баран — твой?

— Не мой баран, — сказал старик. — Баран вот его, Мусы. Муса тоже тут родился. А — ты? — он обратился к грузину.

— А баран где родился? — насмешливо спросил грузин. — Ты, батя, мозги кончай пудрить: "где родился". Где я родился — это военная тайна, понял?

Муса проговорил что-то по-арабски, и старик умолк, недовольно ворча.

Но тут снова ввязался племянник.

— В России хорошо живут люди, там ученье-лечение бесплатное. Зачем вы из России уехали?

— Ты там был, что ли, в России? — кладя руки на автомат, спросил Мишка. — Нет? Ну, так съезди, а потом говори.

— Это наша земля, — не пускаясь далее в спор, сказал грузин. — Бейт-Эль называется. Здесь Яков сон видал. Ясно?

Племянник с дедушкой что-то затараторили по-арабски, оборотясь друг к другу.

— Нам мирно надо жить, — перейдя на иврит, уклончиво сообщил племянник. — По-соседски, можно сказать.

— Без нас решат, — обрезал Мишка. — Есть повыше нас люди.

С этим племянник, кажется, согласился и кивнул головой.

— А деду этому, — Мишка мстительно поглядел на старика, — языком надо поменьше трясти, ему же лучше будет.

Дед сидел неподвижно — то ли не понял, то ли притворялся.

Мишка выгашил из кармана мятую пачку денег и повернулся к хозяину.

— Давай, Муса, кончать, — сказал Мишка. — Ну, сколько?

— Ты только посмотри, какой баран! — сказал Муса.

Племянник живенько сбегал и приволок барана.

— Сколько? повторил Мишка.

— Сто, — сказал Муса.

— Тридцать, — не мешкая, внес поправку грузин.

— Девяносто пять, — сказал Муса.

Тогда дедушка пришел в приятное волнение, мрачное его настроение как рукой сняло.

— Ты только посмотри, какой баран! — обращаясь то ли к Мишке, то ли к грузину, то ли к самому барану сказал дедушка. — Это же не баран, это почти два барана! Ну, баран с половиной!.. Девяносто — и режьте его на здоровье, во славу Аллаха.

— Зарежем, ты не бойся, — сухо осведомил дедушку Мишка.

— Тридцать пять, — сказал грузин. — И шкуру можешь оставить себе, в хозяйстве пригодится... И говно тоже, — поглядев на Мишку, добавил он по-русски. — За полсотни заберем.

— Тут жира сколько! — выставил свой аргумент дедушка и ткнул барана в ребра корявым пальцем. —

Восемьдесят шесть.

— Не восемьдесят шесть, а тридцать шесть! — поправил грузин. Ну, по рукам!

— Хорошо торгуешься! — одобрил дедушка, но от рукопожатья покамест уклонился. — Давай еще кофе пить.

Племянник побежал за кофе.

— Ты, дед, уже старик, а мозги у тебя работают как надо, — комплиментом на комплимент ответил грузин. — Тебе надо мясную лавку открыть.

Старик улыбнулся. Он, кажется, был не против открытия мясной лавки.

Выпили кофе, и торг возобновился.

— Курдюка у него нет, — с сожалением покачивая головой, сказал грузин. — Без курдюка — какой же это баран?

— У этого барана курдюка не бывает! — попался на крючок старик. — Это порода такая!

— А мне-то какое дело? — удивленно спросил грузин. — Мне с курдюком надо. У тебя есть?

— Нет, — признал Муса. — С курдюком у меня нету.

— Ну, вот видишь! — сказал грузин. — Сорок, и это только ради дружбы.

Спорили еще с полчаса. Мишка участия в торге не принимал — он решил обеспечивать безопасность и, не снимая рук с оружия, поглядывал то на дверь, то на старика с племянником. Муса производил впечатление человека тихого, и Мишка его в расчет не брал.

Грузин был тверд, как скала, и в конце концов сторговались на пятидесяти. Мишке даже жалко стало арабов, но виду он не показал. Выпив последнюю чашку кофе и провожаемые напутственными возгласами хозяев, Мишка с грузином вышли из дому, таща барана на веревке, полученной бесплатно.

— Сволочи они, все же, — сказал Мишка.

— А как же! — поддакнул грузин.

— То нож тебе готовы засадить в спину, — продолжал Мишка, — а как дело до торговли дошло — пожалуйста, друзья-товарищи!

— Кто торгует, тот не воюет, — убежденно сказал грузин. — Продавец с покупателем никогда не подерется.

— Если они враги нам — то какого черта продают? — вглядываясь в темноту, спросил Мишка. — А они — враги! Видал, как этот старый хрен смотрел? А племянник, будь он проклят? Он, наверно, коммунист!

— Наверно, — согласился грузин, пиная упирающегося барана ногой. — Но зато Муса — смиренный.

— Да, это верно, — нехотя согласился Мишка. — Не все они, конечно, такие. Но и Муса этот если сам не пырнет, то нож наточит с удовольствием.

— Черт с ним! — беспечно махнул рукой грузин. — Барана мы у него взяли за полцены. Хороший баран, уж я-то в этом понимаю. Мы заднюю ножку одну продадим, водку купим.

Мишка брезгливо поморщился, промолчал. Он терпеть не мог торговаться, не любил торговцев. Размашисто шагая в своих солдатских башмаках, он вдруг вспомнил своего двоюродного брата, торгового человека Зерубавеля. Что он там, интересно, поделывает в Дербенте? Не посадили ли? Вот бы поглядеть ему сейчас на Мишку, шагающего с автоматом по еврейской, но все же вражеской территории, ночью! Это вам не вагон шерсти спустить налево, дорогие товарищи. Эх, Зерубавель, Зерубавель, бизнесменская душа! Приезжал бы скорей, открывал бы лавку, что ли, торговался бы вот с такими арабами. Вот с грузином бы и открыл на паях, ему тоже по торговой части палец в рот не клади... Мишка улыбнулся воспоминанию, а потом нахмурился и завертел

головой, вглядываясь в темноту.

Вдали уже помаргивали огоньки базы.

— Ну, давай! — сказал грузин барану. — Пришли уже!

Близость еврейской военной базы несколько не вдохновила арабского барана; он трусил по-прежнему, постукивая копытцами по камням бездорожья.

Банкет решено было устроить после принятия присяги, в родном бараке. Несмотря на возражения аргентинцев и перса, сержант Моти получил приглашение и принял его. Перед вечером, часов в пять, грузины дружно зарезали барана, освежевали его и разрубили тушу. Заднюю ножку не стали продавать, а просто собрали деньги на вино. Хлеб, овощи и фрукты добыли на кухне. Перс вызвался было сторожить припасы, чтоб не украли, но Мишка пристыдил его:

— А присяга! Ты знаешь, что это — присяга? А? Ну, скажи: что важней — присяга или мясо?

Перс принялся беззвучно шевелить губами, но Мишке показалось, что он за этим шевелением разобрал слово "мясо".

Без десяти семь явился сержант Моти в отутюженной форменке и надраенных башмаках. Только голова его, поросшая буйным волосом, не подверглась праздничной обработке, и Моти был патлат, как всегда.

— По-трое стройся! — скомандовал Моти. — Ну! Раз-два-три!

Солдаты строились с охотой, шли к плацу чуть ни бегом.

В теплой летней темноте плац светился и сверкал, как огромный драгоценный камень: в рожках из промасленной бумаги горели свечи, расчерчивая бетонированный квадрат плаца на участки, отведенные взводам. Человек триста толпилось уже на плацу между

желтосветящимися дорожками. Моти вывел свой взвод на отведенное ему место и перестроил людей в сдвоенную шеренгу.

В центре плаца, на флагштоке, полоскалось бело-голубое знамя. Под знаменем стоял командир базы, полковник Шауль.

— Выпускники! — сказал Шауль, когда построение было закончено и над плацем воцарилась совершенная тишина. — С этого часа, через несколько минут вы получите право называться солдатами. Это право, эту честь следует заслужить — и вы ее, с грехом пополам, заслужили. Большинство из вас будет направлено в караульные роты, и я желаю вам успешно бороться со сном на посту. А тем немногим, которые попадут в боевые части — тем я желаю победы над трусостью! Потому что смелыми не рождаются, смелыми становятся. И победа над трусостью — это и есть смелость... Солдаты! Надеясь на мир, мы должны рассчитывать на войну. Мы воевали и будем воевать за нашу землю, которая сочтется не молоком и медом, а сочтется кровью наших героев. И мы должны побеждать, потому что у нас просто нет другого выхода: за спиной армии — дети, женщины и старики. И — море, куда нас хотят сбросить наши враги... Солдаты! Когда вы произнесете эту древнюю формулу "Я клянусь!" — подумайте, в чем вы клянетесь.

Мишка слушал командира, подавшись вперед, ловя каждое слово этого солдата с полковничьими погонями. Он молил Бога об одном: чтобы его направили в боевые части, все равно какие. И когда его вызвали к знамени и он произнес "Я клянусь!" — он клялся победить страх.

Полыхали свечи в промасленных рожках, бился и хлопал флаг, ночь лежала над холмами. В отдалении помаргивала вялыми огоньками Рамалла... Стоя в

строю, Мишка испытывал щемящее чувство грусти: завтра он расстанется с этими людьми, с которыми два месяца подряд он ссорился и мирился, расстанется с грузинами и аргентинцами, кишиневцами и лондонцами, и даже по персу он уже скучал: придется ли свидеться? Не знал Мишка Нисимов, что узки тропы войны, что на этих тропах люди встречаются куда чаще, чем на улицах городов, и встречи эти бывают удивительны и чудесны.

Звезды, крупные, как галилейские яблоки, глядели на плац, и ветер вертелся меж рядами вооруженных мужчин. Звучали слова присяги, и в освещенном кругу попирала землю, как каменная колонна, кряжистая фигура полковника Шауля.

Мишка глядел на переминающихся с ноги на ногу, перешептывающихся своих товарищей — и негодовал, и злился: как могут они, в такие минуты?! Но грузины обсуждали шашлычные проблемы, а аргентинцы, кажется, осуждали международный милитаризм. "Вот мой народ, — кипя, думал Мишка, — другого у меня нет! Торговать или просиживать штаны в конторах они хотят, а не рыскать с автоматом по ночной пустыне. Ну и пусть, что же делать! Только война, говорят, намертво объединяет всех — и торговцев, и жуликов, и пустых мечтателей, рассуждающих о всемирной справедливости. Не дай Бог — война! Дай Бог — победить в этой войне!"

Он не слышал, как Моти скомандовал: — По-трое стройся! — Кто-то толкнул его, он занял свое место в строю и зашагал к бараку.

— Ну, все! — сказал ему сержант Моти. — Отмучились... Теперь вам армия покажется домом отдыха.

А Мишка искренне удивился: какие мученья? Ну, подумаешь — недоспали сколько-там часов! В душе он был уверен в том, что куда круче следовало об-

ращаться с будущими солдатами Армии обороны Израиля в Школе молодого бойца.

Увидев батарею бутылок, сержант Моти присвистнул:

— Ну, евреи! А кока-кола у вас есть?

Нашлась и кока-кола, и Моти налил себе стаканчик и захрустел ореховой вафлей.

Койки сегодня были аккуратно прибраны, на стенах тлели зажигательные картинки из журналов "Плейбой" и "Пентхауз". Над столом, установленном посредине барака, колдовали грузины. Стол, составленный из лавок и фанерных щитов (на них написаны были призывные лозунги типа "Трудно в ученье — легко в бою" и "Солдат! Причесывайся!") был накрыт свежими простынями, на них, привольно рассыпанные, рдели помидоры и зеленели огурцы и пучки киндзы. Лакированные красные и зеленые перцы смахивали на елочные игрушки и создавали впечатление совершенной новизны момента и мира. Спелые крупные лимоны, разрезанные на две доли, мерцали и светились нежной золотистой плотью и напоминали открытые устрицы, пахнувшие морем. Красные "мясные" тарелки, принесенные с кухни, стояли высокой стопкой, как блины, на краю стола.

В барак затягивало ночным ветерком шашлычный дымок, и солдаты, грызя редиску, глотали слюну; запах жареной баранины направлял разговоры в гастрономическое русло.

— Самое лучшее мясо — в Аргентине! — беззапелационно заявил Педро, он же Пинхас, торговец фотоаппаратами из Буэнос-Айреса. — В два часа ночи — в два! — ты идешь в ресторанчик на берегу моря и сидишь там до четырех. Мясо! Вы даже не знаете, что это такое — настоящее аргентинское мясо.

Грузины с этим не согласились.

— Самое хорошее мясо бывает в Кахетии, — сердито поправил аргентинца грузин-запевала. — Это тебе каждый дурак скажет... Наши бараны жрут чистую траву, а ваши — химическую, искусственную!

Аргентинцы возмущенно залопотали по-испански, обсуждая заявление грузина.

— Мы не знаем, что такое Кахетия, — внес свое возражение Пинхас-Педро. — А ты был когда-нибудь в Аргентине?

— А ты в Кахетии не был, — парировал грузин. — Плевать я хотел на вашу Аргентину.

Аргентинцы, мстительно поглядывая на грузина, залопотали еще пуще.

— Ты просто бескультурный человек! — выразил общее аргентинское мнение бывший торговец фотоаппаратами.

Эта оценка несколько грузина не расстроила.

— Ну и что ж, — сказал грузин. — Зато я в мясе понимаю... Давайте, ребята, за стол!

Шашлык из арабского барана удался на славу — как видно, он тоже питался травкой, а не фабричными пищевыми рационами. Часа через три все было съедено и выпито, даже кока-кола. Казарма сотрясалась от разноязыких песен, подпившие солдаты обещали друг другу вечную дружбу и товарищескую поддержку в грядущих боях. Все распри были забыты, ссоры похерены... Сидя за столом на почетном месте, сержант Моти изумленно вертел головой и хлопал глазами.

К двум часам ночи песни сменились могучим храпом.

А утром Мишка Нисимов получил направление на курсы танкистов.

Глава седьмая

ЗА ДОМ РОДНОЙ

С утра улицы были пусты, безлюдны: в этот день люди спали поздно. Лишь изредка появлялись одинокие фигуры в праздничной чистой одежде, с бархатными и шелковыми мешочками подмышкой: религиозные евреи возвращались с утреннего богослужения из синагог. Тишина висела над Израилем, как гигантский голубой купол. Не летали самолеты, и машины стояли у обочин дорог и во дворах. И молчало радио, и телевидение молчало. Люди спали в своих домах или молились в синагогах, и никому и в голову не приходило отправиться в этот ясный, серебряный октябрьский день на прогулку или на лесной пикник. И были закрыты лавки и магазины, и восточные обжорки и западные рестораны, и музеи, и библиотеки, и заводы, и школы — все было закрыто и заперто.

Потому что Судный День шел по земле Израиля — Йом Кипур.

Машина, на высокой скорости промчавшаяся по улицам маленького приморского городка, где поселилась семья Нисимовых, вызвала раздражение и недовольство. Вслед машине глядели возмущенно, ворчали сквозь зубы: "Нашел время кататься! Ни стыда, ни совести! Наверно, гой какой-нибудь..." На звенья боевых самолетов, пунктирными черточ-

ками промелькнувшими над городком, смотрели уже с тревожным недоумением: "Что такое стряслось? Не было бы беды, не приведи Бог..." Потом низко пролетел военно-транспортный тихоход, потом эскадрилья вертолетов. А потом армейский грузовик подъехал к синагоге, и пожилой офицер вошел в зал и, прервав молитву, выкрикнул мобилизационные пароли: "Спусковой крючок", "Запертые ворота", "Горшок с супом", "Соляной столп". Мобилизованные прямо в талитах сели в кузов, и офицер погнал свой грузовик к другой синагоге: "Медный ключ", "Пустынный патруль", "Горный воздух"

6 октября 1973 года вспыхнула война Судного дня. Египтяне запустили с бомбардировщика ракету в направлении Тель-Авива, наши пилоты склепанную на уральском заводе смерть расстреляли в воздухе. Сирийцы стальными зубами вгрызлись в цветущую плоть Голанских высот и потихоньку заглатывали их, как удав теленка: дислоцированные на границе солдаты, получив увольнительные, спали в своих домах или молились в синагогах. И некому было разрубить сирийского удава: горстка необстрелянных срочников стояла стеной и гибла, опытные резервисты не успели еще подойти. И пала крепостица на вершине Хермона, и легендарная линия Бар-Лева пала на канале.

Услышав слово "война", Овадия Нисимов выманил свою старуху из женского отделения синагоги и сказал коротко:

— Пойдем, Ципора!

Идти было недалеко: военная комендатура размещалась рядом со зданием городского муниципалитета. По дороге в комендатуру Ципора, с трудом поспевавшая за широко шагавшим Овадией, причитала:

— Горе, горе! Не успели справиться с немцами, теперь с этими воюй! Куда тебя, старого, несет?! Ты, что кин-

жалом, что ли, собрался воевать? А Мишка, сыночек мой, уже, наверно, на фронте! Ой, горе!

Около комендатуры толпились мужчины, негромко переговаривались. Ждать Овадии пришлось недолго: комендант в разговоре ограничивался двумя-тремя фразами и отпускал посетителя.

— На войну надо идти, начальник, — сказал Овадия, войдя в кабинет коменданта. — Отправляй меня на фронт!

— Надо будет — отправим, — ничуть не удивясь требованию престарелого посетителя, сказал комендант. — Это все?

— Я пехотинец, гвардии-лейтенант, — обескураженный таким приемом, объяснил Овадия. — У меня правительственные награды есть.

— Ну, хорошо, хорошо! — нетерпеливо поморщился комендант. — Больница знаете где? Вот туда идите, скажите — комендант послал.

— Зачем? — удивился Овадия. — Я пока не ранен!

— Помогать, — объяснил комендант. — Повязки из марли складывать. Следующий!

— А со старухой можно? — смирившись со своей участью, уже от двери спросил Овадия. — Она тоже складывать будет.

— Можно со старухой, — разрешил комендант.

Ципора, пригорюнившись, сидела на лавочке у входа в комендатуру.

— Пойдем, Ципора, — сказал ей Овадия. — В больницу пойдем.

— Мишку ранило! — вскинулась Ципора.

— Типун тебе на язык! — сплюнул Овадия. — Комендант дал мне такой приказ. Давай, пошевеливайся!

Война застала Мишку в военном лагере. До окончания танковых курсов оставались считанные дни, и после

церемонии вручения дипломов полагался выпускникам небольшой отпуск. Поэтому Мишка, не раздумывая, уступил свой очередной отпускной день, выпадавший на Йом Кипур, своему сокурснику — религиозному парню из Явне: пусть помолится в родной синагоге, покается в грехах... Сам Мишка религиозным ритуалом не злоупотреблял и в синагогу не ходил, предпочитая общаться с Богом в одиночестве, подальше от людей.

Мишкин военный лагерь расположен был в центре страны, недалеко от Хайфы. 6 октября утром курсанты отлеживались в своих палатках, лениво почитывали, играли в шеш-беш под маскировочным навесом, рядом со столовой. Танки стояли в ангарах — застывшие, неподвижные... Звонок из штаба округа всполошил, вздыбил выходную жизнь лагеря.

Заместитель командира (командир был в отпуску) смерчем прошелся по комнатам штаба:

— Укомплектовать экипажи! Выдать боезапас! Сколько у вас водителей трейлеров? Быстро, к черту! Сколько экипажей?

Экипажей набралось девять, водителей трейлеров — семь. Посылать два танка своим ходом было опасным делом — путь предстоял далекий, замкомандира знал это. Решено было посадить за баранки трейлеров двух водителей танков — на гражданке грузовых шоферов. Сменщиков неоткуда было взять, командиры экипажей контролировали прогон. Через полтора часа после звонка из штаба трейлеры с танками на платформах вышли из ворот лагеря.

Стрелок Михаэль Нисимов сидел в своем танке, в вызубренной, как таблица умножения, тесноте, среди снарядов, пулеметных патронных коробок и плоских ящичков с гранатами. В танке было жарко, Мишка закатал рукава комбинезона выше локтей. Это, в сущности, было нарушением устава, но Мишка сейчас об

уставе не вспоминал. К тому же и командир экипажа Рони сидел в башне, засучив рукава. А жароустойчивые комбинезоны, изученные курсантами на лекциях, так и не были получены — на складе их почему-то не оказалось.

— Ну, как вы там? — услышал он в шлемофоне голос Рони. — Печетесь?

— Все в порядке, — поглядев на спину механика-водителя Гая, сказал Мишка. — Далеко еще?

— Это зависит от того, где сирийцы, — философски заметил Рони. — Дай Бог, чтоб летчики держали защиту, а то МИГи атакуют нашу колонну с воздуха.

— Главное — добраться... — то ли себе самому, то ли Рони сказал Мишка. — Мы же здесь просто груз, на этих тачках, беззащитный груз!

— Разберемся, — пробормотал Гай, мошавник из Гедеры. — Мимо Голан не проедем...

”Ну, конечно, — подумал Мишка, — Голаны, куда ж еще! Подыдемся немного на плато, а там сгрузимся и своим ходом пойдем. Лишь бы добраться, лишь бы по дороге не разбомбили! Но в ВВС, все же, не такой бардак, как повсюду, там хоть Йом Кипур, хоть Пурим — а пилоты на месте”.

И, как бы отвечая его мыслям, зашипело в наушниках шлемофона.

— Мишка! — позвал Рони. — Высунься, погляди!

Где-то над Цфатом, в виду горы Тавор, мчались в прохладном небе навстречу друг другу звенья боевых самолетов. Снизу, с земли, это было похоже на игру: серебряные птички сближаются, выражают, расходятся. Потом широко разворачиваются, форсажный рев рвет небо, и вот уже стрелы ракет вырываются из-под фюзеляжей.

— Есть! — не своим голосом кричит Рони и срывает

шлемофон. — Гляди, Мишка!

Сирийский МИГ вспыхивает и разваливается в воздухе. Другой, оставляя черный дымовой след, врубается в склон горы. МИГи разворачиваются и, преследуемые Фантомами, уходят за близкий горизонт.

— Молодцы наши! — шепчет Мишка, а потом кричит, как будто пилоты могут его услышать: — Молодцы!

Дорога почти пуста, трейлеры упрямо ползут по ней вверх. Становится прохладней: с Голанских высот задувает свежий порывистый ветер. Он приносит с собой запахи степных трав, но Мишка, принюхиваясь, решает: пахнет дымом! Значит, впереди, совсем близко, идет бой! И сосет у Мишки под ложечкой — от страха, и влечет его вперед — в бой. "Победить страх!" — вспоминает он наставление полковника Шауля и, кажется, становится ему легче. "Не бояться! — повторяет про себя Мишка. — И не нервничать! Спокойно, Мишка!"

Внизу в межгорье, как в каменном кубке, светится Генисаретское озеро. Вечерний свет зажигает в воде золотистые искры, дома Тверии взбегают от пляжей к вершине горы. Мир и благодать, — если б не знать, что рядом — война, что рядом горят танки и люди! Но Мишка — знает.

Небольшое стадо коров пересекает дорогу перед колонной трейлеров, араб в халабие перебегает от животного к животному, подгоняет. Араб не смотрит в сторону танков, как будто и нет их на дороге, и нет причины, заставившей их появиться здесь... Мишка Нисимов не верит этому арабскому пастуху — араб все знает про войну не хуже Мишки, и желает победы своим сирийцам, а ему, Мишке — смерти. Ишь, не смотрит, проклятый ишак, простачком прикидывается! И Мишка испытывает ненависть к арабу, Мишка хочет взять автомат и пристрелить пастуха, пока тот не излов-

чился и не всадил свой пастушеский нож ему в спину. Хорошо бы, конечно, жить в мире и распивать чай с этим дядькой в платке-арафатке и с черной веревкой вокруг башки — да до этого далеко, да и вообще вряд ли возможно: слишком уж они нас ненавидят, ненавидят безмолвно и неизбежно.

На первых же километрах подъема на плато стали попадаться встречные санитарные машины с приглушенными фарами. В сумерках они выглядели злоеще, и у Мишки щемило сердце, когда он думал о тех, кто лежит на узких носилках внутри машин, вдоль бортов. Но не только это ощущал сейчас Мишка. Он вдруг почувствовал, что освободился от всего лишнего, от всего того, что может помешать ему в бою: от привязанности к далеким друзьям и родителям, от памяти о вчерашней жизни, от страха. Нетерпение осталось в нем: скорей бы уже начать — и победить. О смерти он не думал, как будто ее вовсе не существовало.

В заросшей низкорослыми деревьями ложбине, в совершенной темноте сгрузили танки с трейлеров. Из подъехавшего джипа выскочил офицер, обошел боевые машины, покачал головой:

— Так мало?..

Потом командиров экипажей вызвали на инструктаж в штаб полка, расположенный в полукилометре от ложбины, в старинном, сложенном из черных камней брошенном доме. Экипажи сидели на земле у своих танков, переговаривались, покуривали в ладонь. Километрах в пяти-шести стреляли, можно было различить танковые орудия и раскатистый рык тяжелых самоходок.

— Вроде, и техники-то там немного, — вслушиваясь, сказал Гай, водитель. — Хоть бы знать, как там дела...

— Приедем и узнаем, — сказал Мишка. — Как ду-

маешь, ночью пойдём или к утру?

— Понятия не имею! — пожал плечами Гай. — Может, к утру — темно ведь, ничего не видать.

— Ну, ночной бой мы проходили, — успокоил Мишка. — Разберемся как-нибудь.

— А у тебя девушка есть? — вдруг спросил Гай, и в голосе его звучала тоска.

— Нет, — сказал Мишка. — То-есть, такой, настоящей, нет. А что?

— Да так, — сказал Гай. — А у меня есть. Она в ВВС, мы пожениться решили после армии.

— Не забудь мне приглашение послать, — сказал Мишка. — А я жениться пока не собираюсь, я хочу в армии остаться, в кадрах. Успею еще жениться.

— Да-а-а... — с сомнением протянул Гай. — Это конечно.

— Была у меня девушка, — искоса, настороженно глядя на Гая, сказал Мишка, — в России еще, на Кавказе. Папаша ее был... ну, как бы это тебе объяснить... ну, начальник!

— Это неплохо, — одобрил Гай. — Зарабатывал много?

— А черт его знает, — сказал Мишка. — Много, наверно... Он, понимаешь, был партийный человек, работал в обкоме.

— Евреи разве бывают партийные начальники? — поинтересовался Гай.

— Редко, но бывают, — сказал Мишка. — Этот вот как раз — был.

— Ну и что? — спросил Гай. — Чего ж ты не женился? Еврей, начальник, зарабатывал хорошо. Дочка красивая была?

— Красивая, — сказал Мишка. — На иврите ее звали бы Шошана, Шош.

— Да? — никак не выразил своего отношения Гай.

— Они городские были?

— Жили в городе, — сказал Мишка. — Но ты за них не беспокойся, у них за городом тоже дом был, целое поместье.

— Где же ты с ней жил? — спросил Гай. — В городе или в этом поместье?

— Где жил... — махнул рукой Мишка. — Я у них в городе был один раз — дом двухэтажный, кирпичный, аж страшно. Повсюду ковры, пальмы в бочках растут, фикусы. Отца ее дома не было, а мамаша такая стерва, что просто невозможно.

— А чего тебе мамаша? — удивился Гай. — Плюнул да пошел. Тебе ж не на мамаше жениться!

— Да ничего ты не понимаешь! — снова досадливо махнул рукой Мишка. — Это здесь плевать, а там не плевать.

— Ну, может быть, — согласился Гай. — На курсах один парень рассказывал про Россию — так это просто со смеху помереть.

— Коту смех, а мышке слезки, — сказал Мишка. — Они меня там в тюрьму могли упечь лет на пять, и вся любовь.

— А что ж ты с ней в деревню не поехал, — продолжал допытываться Гай, — в поместье это самое?

— Потом расскажу как-нибудь, — уклончиво ответил Мишка, и оба замолчали, взвешивая это "потом" каждый на своих весах.

— Да-а-а... — снова протянул Гай.

— Просто ты про девушку спросил, — угрюмо сказал Мишка, — вот я и говорю.

— Ну да, — сказал Гай. — Может, подремать пока? Как ты думаешь?

Но подремать им не пришлось.

— Давай по машинам! — выбегая из темноты, приказал Рони. — Выступаем!

Взрели моторы, потом заурчали прирученно. Гай взял с места так, что Мишка откинулся корпусом назад, ударился шлемофоном о выкрашенный белой краской острый выступ башни, а Рони, сидевший в своем командирском люке, сдавленно ругнулся в микрофон. Танк многотонной черной тенью вымахнул из ложбины и помчался по степному бездорожью.

Тьма далеко впереди была подсвечена, как масляными фонариками, медленными кострами, и потому казалась еще более непроницаемой, чем была в действительности. Далекие эти огни не с чем было сравнить — ни с деревом, ни с холмом — и непонятно было, ночной ли это горит костерок усталого путника или дом пылает. Или танк.

Километра через три Рони приказал остановиться и спустился из башни в танк.

— Положение, как видно, неважное, — сказал Рони. — Или — как не видно. — Он невесело усмехнулся. — Сирийцы в полутора километрах от нас, и пусть они нащупают эти полтора километра — а мы контратакуем их отсюда, с этой горки.

— Много их, сирийцев? — спросил Гай.

— Сколько есть — все наши, — сказал Рони. — Я их не считал, и никто, наверно, не считал... Ладно, что там языком болтать. Наша задача — не прорыв, на прорыв вторая волна пойдет, резервисты, они подойдут через несколько часов. А мы — заграждение, мы должны остановить сирийцев, сколько бы их там ни было. Ясно?

— Ясно! — сказал Мишка, а Гай кивнул головой.

— Мы спустимся вниз, — продолжал Рони, — и с ходу контратакуем их танки. Ты, Гай, заходи им не в лоб, а чуть справа, по дуге. Михаэль, бери прицел ниже башни — это русские танки, они там в своей Сибири на башни броню не жалеют.

— Это какие? — спросил Мишка. — Пятьдесят-четверки?

— Не только, — сказал Рони. — Есть поновей. Но семьдесят вторых нет, семьдесят вторые на соседнем участке. Зато по-русски тут переговариваются по всему фронту, наши слышали. Ты русский-то не забыл еще?

— Помню, — сказал Мишка. — А зачем?

— Ну, может, будет у тебя случай по-русски поговорить, — сказал Рони, прилаживая шлемофон.

— А зря ты все-таки тогда не женился, — сказал Гай. Мысль о женитьбе, хотя бы и чужой, не оставляла его.

— Отставить разговоры! — сказал Рони, подымаясь в башенный люк. — Поехали!

Мишкин танк был крайним в правом крыле клина, составленного из двенадцати машин. В редеющей темноте Рони ориентировался по тусклым задним огням танков, идущих впереди и левей. Но даже и без этих ориентиров можно было разобраться — сразу вслед за тем, как клин перевалил взгорье и пополз вниз, стало светло как днем: это наши дальнебойщики подсветили, бросили откуда-то издалека ракетную "люстру". Зеленовато-желтые сирийские танки медленно двигались по степи, придерживаясь странного порядка — то была не колонна и не цепь, и не отдельные звенья, а шахматная какая-то расстановка. Сирийцев было много, трудно было сосчитать, сколько. Головной танк нашего клина, часто стреляя, врезался во вражеское расположение и зажег две машины. Потом он затормозил и стал разворачиваться, и разворачивался неловко, долго — и Рони понял, что у головного повреждена гусеница. Крылья клина, стекая с холма, разделились, замыкающие машины двинулись по своим дугам к сирийским флангам. Степь наполнилась грохотом выстрелов, ревом форсированных моторов. Дальнебойщики бросили

еще одну "люстру", и вспышек огня, выкатывающихся из орудийных стволов, почти не стало видно. Зато подожженные танки, сирийские и наши, медленно разгорались, и тяжелый сажистый дым восходил к черному небу. Слева от себя, менее чем в сотне метров, Рони заметил желто-зеленого сирийца, он медленно вращал башней, как бы принюхиваясь хоботом пушки.

— Огонь! — закричал Рони. — Еще! Огонь.

После пятого выстрела движения Мишки сделались как бы автоматическими — он вел огонь, как робот, подчиняясь лишь высокому ритму, который он сам себе задал. Он работал, как в тире или на учебном тренажере; грохот боя проходил мимо его ушей. Пороховой воздух, насыщенный смертью, словно бы и не вливался в его легкие. Он с отчаянной, пьянящей радостью увидел, как посланный им снаряд ударил во вражеский танк и поджег его, как бочку с бензином — но и это приятное зрелище не сбilo ритма его трудной работы.

— Огонь!

Но Рони мог бы его и не подгонять — его и клещами не оттащили бы от пушки. И если бы голос Рони вдруг перестал звучать в наушниках шлемофона — и это не отвлекло бы его от его дела. Он стал частью пушки, сердцем снаряда. И когда обезглавленный труп Рони пополз из люка в танк, Мишка бережно принял изуродованное тело своего командира, а потом вернулся к пушке.

— Что там? — услышал он голос Гая. — Почему Рони молчит?

— Убит, — сказал Мишка. — Гони по дуге влево, мы зайдем им в тыл. Это приказ!

Еще один танк запылал, и сирийцы, сбивая пламя с комбинезонов, выскочили на броню и на землю.

— Обходи его, Гай! — закричал Мишка. — Ближе!

Гай послушно выполнил маневр, а Мишка, высунувшись из башенного люка, скосил очумевший сирийский экипаж автоматной очередью.

— Дальше! — приказал Мишка, спрыгивая вниз. — Не уходи слишком далеко!

И снова танк мчался среди низких холмов, и орудие продолжало свою смертоносную работу.

Оторвало верхний люк, сбило пулемет с башни. Но снарядов и топлива еще хватало, и это было главное. Не вспоминая о себе, Мишка забыл думать и о Гае: временами ему казалось, что танк, повинувшись его, Мишкиной, воле, идет сам по себе.

Это безоглядное, легкое ощущение прервал снаряд, ударивший в переднее левое колесо, порвавший гусеницу и сокрушивший ту крохотную тесную норку, в которой только что сидел Гай. Танк словно бы сходу наткнулся на бетонную стену и остановился как вкопанный. Мишку швырнуло вперед, он зажмурил глаза и вжал окровавленную голову в плечи. Взрыва, однако, не последовало: взрыватель снаряда не сработал. Утерев кровь с лица рукавом, Мишка отполз от того, что осталось от механика-водителя и, шатаясь, встал к пушке. Степь пылала, как газовая конфорка. Сирийские танки, не обращая внимания на искалеченную израильскую машину, шли мимо. Выбрав цель, Мишка навел ствол и выстрелил. Сириец подпрыгнул на месте, пламя вырвалось из топливного бака. Тройка танков, не останавливаясь, прошла и скрылась за взгорьем, четвертый неуверенно затормозил — но было уже поздно: он подставил корму под Мишкин ствол. Еще два танка, веером взрывая землю, стали разворачиваться. Не высовываясь из башни, Мишка выбросил из люка несколько дымовых гранат и отдраил задний люк. Закинув ремень от "Узи" на шею, прижимая к животу пару противотанковых гранат, Мишка вывалился из люка

и пополз прочь от танка. В желтом маскировочном дыму, совсем близко, он услышал выстрел и понял: стреляли и попали в его танк. Спустя несколько секунд, уже ничего почти не соображая, он услышал адский лязг и скрежет и увидел в дыму и пламени, как сирийский танк врезался в его машину. А потом взорвался боезапас, оба танка слились в огненном объятии — и на этом бой кончился для Мишки Нисимова: он вздохнул с облегчением и благодарностью, ему вдруг стало легко, он поплыл, поплыл — и увидел глубоко под собой улочки и дома Дербента.

Шошана, Шош.. Тонкий профиль, светлый, чистый лоб над огромными, цвета спелой сливы глазами. Я подымал тебя на руки, как драгоценное перышко, я, укачивая и убаюкивая, носил тебя по изумрудным лугам межгорья, и только горные архары да небесные птицы были свидетелями того, как я, железный Мишка Нисимов, становился молочным ягненком близ тебя, Шош.

Боже, как я тебя любил, как мечтал остаться с тобой навсегда! Как мы мечтали вместе о том дне, когда спустимся по самолетному трапу в Лоде, пойдем учиться, работать, рожать и растить детей!

Твой отец встал на нашем пути как стена, которую не обойти, не перескочить. Это он грозил задавить меня своей машиной с обкомовским номером, это он натравил на меня сначала милицию, а потом ГБ: все эти гады были его друзьями, все они ели и пили с его стола, из его рук. Он даже не был для них евреем, "жидовской мордой" — он был хозяином. Он всех непослушных привык давить и сажать в подвал Большого дома — только твою жизнь он пожалел, свою жизнь в тебе. Но к твоему сердцу не было у него жалости, потому что сердце для него — это кусок жареного мяса, при-

правленного чесночной подливкой... И не в том ведь было дело, что я для него — беспартийный, или бедный, или Железный. Дело было в том, что я, железный Мишка Нисимов — еврей, решивший ехать в Израиль. Это грозило его положению, его карьере и его зарплате. Отдай он тебя мне — это означало бы конец его власти: партийный хозяин вырастил дочь, полюбившую сиониста и уехавшую в Израиль. Значит, в его партийном доме наслушалась она сионистских, антисоветских разговоров, значит, и папаша ее нечист по этой части, он только притворяется беззаветно преданным партийцем и слугой народа. Гнать его поганой метлой из Обкома! Пусть убирается в свой жидовский Израиль, там ему место!.. А в Израиль, где нет Обкомов, твой отец не хотел.

Помнишь тот день, Шош, тот летний день, ту поляну посреди орехового леса? Ты пришла сказать мне, что решение твое незыблемо, как Эльбрус со всеми его скалами и крутизнами, что ты любишь меня и едешь со мной — что бы ни случилось. И вот это случилось... Свадебной постелью была нам душистая земля, одеялом — ореховые кроны, а пологом — шелковое небо, которое не бывает чужим. Сейчас, когда я умер, я вижу этот отрывочек, этот обрывочек времени самым лучшим и радостным в моей жизни. Мы сбросили одежды, ты и я, мы смотрели, стыдясь, друг на друга, и стыд медленно и трусливо отползал от нас, как змея, в кусты. Я запоминал и затверживал тебя наизусть, всю — прежде, чем взять: твои маленькие округлые груди и острые розовые соски, торчащие врозь, твои девичьи лежесные плечи, твои солнечные ноги с нежными золотистыми коленками, твое бархатное черное лоно на молочно-белом животе. И ты отдалась мне, и я взял тебя как невесту и жену. Как бы гром поразил меня, взрыв потряс. И ты, громокипящая и дикая,

слабела в моих руках, пока силы небесные не оставили тебя и ты не распласталась на зеленой земле, как шелковая шкурка ангела. Мы познали друг друга, моя Шош, и никто в эти остановившиеся миги не был властен над нами — только, может быть, Бог...

Вечером мы пришли к твоему отцу в его дом, и я, Железный, сказал:

— Я взял вашу дочь в жены. Я муж ей.

Назавтра он отправил тебя в правительственный санаторий — роскошную тюрьму, откуда тебе не было выхода, куда мне не было входа.

Одного я не могу понять: зачем, не успел я уехать, он посватал тебя за торгового моего брата Зерубавеля?

Я умер, моя Шош.

Помни тот день на зеленой земле и будь счастлива.

Глава восьмая

ЗЕРУБАВЕЛЬ

Но Мишка Нисимов не умер. Через десять минут после взрыва снарядов в его танке сознание вернулось к нему. Танковое сражение продолжалось вокруг очнувшегося. Таща свое тело по серой истоптанной земле, он подполз к слившимся в смертном объятии машинам — своей и сирийской — и услышал то ли стон, то ли просьбу:

— Пить!..

Около вывороченного люка сирийского танка лежал ничком человек в комбинезоне и черном шлеме.

— Пить! — снова попросил этот человек, и Мишка вдруг сообразил, что просит он — по-русски.

Живуч был Мишка Нисимов, и эта русская речь посреди израильско-сирийского боя вернула ему силы и ярость. Подобравшись к просящему, он рывком перевернул его на спину. Перед Мишкой лежал брат его Зерубавель.

Мишка отпрянул, как отброшенный прямым ударом в голову, в лоб, и опустился в серую пыль.

— Ты, что ли... — сказал Мишка. — Ну-ну.

— Водички... — снова попросил Зерубавель.

Мишка отцепил фляжку, отвинтил колпачок и дал Зерубавелю напиться.

— Ты не ранен? — спросил Мишка без тепла в го-

лосе.

— Нет, — сказал Зерубавель. — А ты?

— Тоже, — сказал Мишка. — Так, стукнуло немного. Ерунда.

— Меня тоже тряхнуло, — сказал Зерубавель. — Это твой танк?

— Мой, — сказал Мишка, не оборачиваясь. — А это?

— А это мой, — сказал Зерубавель.

— Так это ты, что ли, в меня попал? — спросил Мишка.

— Ну, я, — сказал Зерубавель. — Откуда я знал...

В нескольких метрах от них пыль вздыбилась длинной строчкой, как будто скакал по воде плоский камешек, кем-то брошенный с берега.

— Ложись! — крикнул Мишка и сам бросился, вжался в землю.

— Это наши из пулеметов лупят, — не подымая головы, озабоченно сказал Зерубавель.

— "Наши!" — злобно повторил Мишка. — Надо выбираться отсюда... Как ты вообще-то сюда попал, черт тебя возьми!

— Послали — вот и попал, — Зерубавель пожал плечами и сморщился от боли. — У нас, сам знаешь, никто тебя не спрашивает.

— Боевая помощь братскому сирийскому народу? — с издевкой спросил Мишка.

— Да меня и послали, потому что я на чучмека похож, — объяснил Зерубавель. — Вроде как ихний.

— Кто послал-то? — спросил Мишка.

— Тесть устроил... — сказал Зерубавель и сплюнул с отвращением.

— Как тесть? — Мишка взглянул на брата с подозрением.

— Так, — сказал Зерубавель. — Съезди, говорит, почини, мол, свою репутацию, а то даже я тебя от тюрь-

мы не спасу с твоими аферами. А я ему: как я поеду, я, все ж, еврей! А он мне: ну, это, говорит, мы устроим. Это даже лучше: еврей — а помогает братскому арабскому народу... Вот так и попал.

Рваный грохот боя то приближался, то отходил; хриплые голоса братьев были едва различимы.

— Давай за мной, — сказал Мишка и, помедлив, прибавил: — Возьми-ка вот это. — Он придвинул к нему противотанковые гранаты.

Они ползли, укрываясь за малыми складочками местности, то и дело отдыхая, к обрывистому овражку, черневшему в полукилометре. Там, в овражке, можно будет прислониться спиной к какому-нибудь выступу, можно будет сесть, не скрываясь.

Полкилометра показались им бесконечностью. Ползя перед Зерубавелем, Мишка с яростью думал о том, что в танке, в открытом бою было куда проще. Теперь приходилось прятаться, извиваться как червя. И было страшно... Но по-настоящему мучил Мишку один-единственный вопрос, который он почему-то еще не задал Зерубавелю. Главный вопрос... Мишка вспомнил Гая, ночной разговор с ним — и скрежетнул зубами.

Добравшись до овражка, они скатились на его дно и лежали некоторое время неподвижно. Дно заросло кустарником с мелкими темнозелеными листьями, земля еще не успела согреться после ночи. Звуки боя достигали этой земной щели как бы сквозь слой ваты, и трудно было угадать, что наверху люди в ярости и отчаянии убивают друг друга.

Мишка приподнялся с земли, тронул Зерубавеля за плечо. Поднялся и Зерубавель и глядел с опаской, как бы ожидая подвоха.

— Ты... — начал было Мишка.

— А зачем ты кинжал с собой таскаешь? — перебивая брата, спросил Зерубавель. — Мало тебе автомата? И

эти гранаты...

— Значит, надо, раз таскаю, — сказал Мишка. — Я, может, весь Кавказ с собой таскаю... Ты вот сказал — тесть. Женился ты, что ли?

— Женили меня, — без нажима поправил Зерубавель. — На Шош. — И прибавил извиняющимся тоном: — Приданое за ней папаша ее дал ну просто царское: полдома в Махач-Кале, "Жигули" экспортное и деньгами тоже... Ну и я, ты ведь знаешь, не единым хлебом питался.

— Есть дети? — оловянным голосом спросил Мишка.

— Девочка, — сказал Зерубавель. — Три месяца. Глядя в разные стороны, они замолчали надолго. Наконец, Зерубавель, как бы наводя мост в этом отчужденном молчании, спросил:

— Как там твои старики? Дядя Овадия?

— Живы, — сказал Мишка. — Все в порядке.

— Что-то у меня в голове гудит, и слышно плохо, — сказал Зерубавель. Он не хотел, чтобы снова нагрянуло между ними молчание, и готов был говорить о чем угодно.

— У меня тоже, — сухо откликнулся Мишка. — Контузило маленько. От этого не подохнем.

— А тетка как? — не унимался Зерубавель. — Все варенье варит?

От этого домашнего, семейного воспоминания у Мишки вдруг потеплело на душе, и он, глядя в сторону, сказал:

— Мама все такая же: себе варит, другим раздает... А твой как?

— Да как... — задумался Зерубавель. — Патимат двойню родила, Нисиму четыре года дали за левый товар, под Ташкентом где-то сидит... А так все нормально.

Солнце начинало понемногу пригревать, рев боя

стал, как будто, удаляться и стихать. Высоко в небе проносились серебристые значки самолетов. Хотелось пить, спать.

— Что делать-то будем? — искоса поглядывая на брата, спросил Зерубавель. — Так и будем тут сидеть? Пойдем, что ли...

— Куда? — спросил Мишка.

— Ну, как... — промямлил Зерубавель. — Каждый в свою сторону.

— Ну, нет! — резко возразил Мишка. — Считаю, что я тебя взял в плен.

— Это почему? — оскалился Зерубавель. — Это я тебя взял, тут кругом все наши!

— Что-то я никого кругом не вижу, — сказал Мишка. — Вот гляди — никого тут нет!

— Тут — нет, — согласился Зерубавель. — Но наверху наших в десять раз больше ваших, наши уже к озеру вышли!

— Хрен вот тебе! — Мишка рванулся к Зерубавелю, к его горлу, не чувствуя встречных ударов брата, его зубов и ногтей. Но сил не было у них, и они расцепились, задыхаясь и хрипя, и отползли друг от друга — недруги, кровные враги.

— Ты что?! — сплевывая кровь, выдохнул Зерубавель. — Ты против кого?!

— Против тебя! — сказал Мишка. — Против вас!

— Давай разойдемся, — предложил Зерубавель. — Или я пойду, а ты тут оставайся.

— И ты донесешь на меня, что я тут, — сказал Мишка. — Нет, это не пойдет!

— Чего мне доносить! — сказал Зерубавель. — Мне-то что!

— Донесешь! — упрямо повторил Мишка.

— А ваши меня возьмут, — крикнул Зерубавель, — тоже на абажур натянут! Думаешь, я не знаю!

— Тише! — прошипел Мишка. — Не ори!

Он выглянул из-за куста, оглядел овражек — и вдруг резко подался назад: из-за поворота, метрах в ста от них, показалось трое солдат. Мишка прищурился, вглядываясь: свои, чужие? Зерубавель, чуть раздвинув ветви, тоже глядел неотрывно. Мишкино сердце готово было разорваться под комбинезоном, глаза его слезились от напряжения. Каски, вроде, на них были не наши — советские...

— Если крикнешь — смотри... — прошептал Мишка. — Ложись, не шевелись.

Патруль медленно приближался. Поводя автоматами, солдаты настороженно поглядывали вокруг. Казалось, и прошмыгнувшая в кустарнике мышь привлекла бы их внимание... Мишка вжался в землю, подтянул к себе свой "Узи". Краешком глаза он поглядывал на Зерубавеля, мешком лежавшего рядом.

Теперь можно было уже разглядеть лица солдат. То были сирийцы — молодые еще ребята, лет по двадцати. Полусотни шагов не доходя до Мишкиного куста, они вдруг остановились, и один из них стал мочиться. Двое других закурили и стояли, перебрасываясь короткими репликами и посмеиваясь. Объектом их шуток был, как видно, третий, продолжавший неиссякаемо мочиться... Глядя на смеющихся, Мишка вдруг поймал себя на мысли, что и он в таком положении тоже смеялся бы и шутил.

И вот эти трое могут сейчас подойти, взять в плен, убить. Да что там — могут! Они должны это сделать, это их задача, для этого они спустились сюда, в овражек... Солдат, наконец, перестал отливать и теперь отшучивался, приводя себя в порядок. И вот они снова двинулись вперед, поглядывая по сторонам и поводя стволами автоматов.

...Зерубавель вскрикнул пронзительно и гортанно,

как будто его внезапно укололи ножом, и, собираясь вскочить на ноги, оперся руками о землю. Те трое остановились разом, как вкопанные, и взвели затворы своих автоматов. Мишка отвел от них взгляд лишь на миг — для того, чтобы выдернуть кинжал и всадить его в бок брата своего Зерубавеля, слева. Оставив кинжал в ране, Мишка дернул затвор и нажал на спуск, и веер пуль накрыл тройку перед ним, ссек ее и швырнул на землю. И только после этого пришло к нему, что те, ссеченные, тоже стреляли по кустам, и что их пули обрывали листву и перегрызали ветви, и что правая Мишкина нога вдруг онемела и стала чужой, как будто по ней ударили поленом.

Мишка продолжал стрелять по упавшим, пока не кончились патроны в рожке. Потом, положив автомат, он пополз, волоча ногу, к тем троим, — он хотел знать точно, все ли кончено и нет ли там опасности. Трое были иссечены пулями, мертвы. Тогда Мишка вернулся к своему кусту, к Зерубавелю. Тело лежало на боку. Мишка перевернул его на спину, заглянул под веки, прижал ухо к приоткрытому рту. Зерубавель не подавал признаков жизни. Потянув кинжал, Мишка выгасил оружие из раны, поглядел на влажный и темный от крови клинок и вытер его о штанину своего комбинезона. От упругих и гулких ударов в виски голова Мишки гудела, как колокол. Просидев сколько-то времени над резанным, Мишка наметил кинжалом прямоугольник на земле и расчистил его от камней и корней. Работа шла трудно, но Мишка не замечал течения времени и копал, копал... Под неистовыми ударами его кинжала открывались ходы и норки каких-то земных тварей, черви и тли спасались бегством или оставались рассеченными. А Мишка все рыл и копал, и удивленно думал о том, что укладывая мертвого в землю, живые напоследок разрушают жизнь обита-

телей земли, нехотя принимающей чужое и чужеродное тело в вечное подданство...

К сумеркам Мишка закончил свою работу: над могилой Зерубавеля вырос земляной горбик, обложенный неровными камнями. Холодно оглядев дело рук своих, Мишка срубил кинжалом тонкое деревце, очистил от веток и подогнал по своему росту. И, опираясь на самодельный костылек, потащился-побрел по оврагу, прочь от этого места.

Глава девятая

ДНЕВНИК

Добрые осенние дожди застали Мишку в военном санатории, в Акко. Нога его совсем поджила, он уже не хромал — а вот настроение оставалось подавленным, тяжким. По ночам ему снились горящие танки, фонтаны снарядных разрывов — и тот овраг, тот куст, под которым он убил брата своего Зерубавеля... Тогда, забросав могилу брата землей и камнями, он поплелся, даже и не скрываясь, прочь от того места. Опираясь на свой костыль, он брел по какой-то дороге, пока на него не наткнулся израильский патрульный джип. А что произошло после этой внезапной встречи, Мишка не помнил.

Произошло же вот что: солдаты втащили валящегося с ног Мишку в машину и с немалым трудом отобрали у него гранату и автомат. В ближайшем полевом госпитале ему обработали раненую ногу и отправили в Цфат, в больницу. Там он задал задачу не столько хирургам — рана оказалась не опасной — сколько психологам. С иврита он переходил на русский, с русского — на совсем уже непонятный горско-еврейский язык, состоящий преимущественно из щелкающих и шипящих звуков. Разобраться в том, кто такой Зерубавель и с какой целью Мишка хочет зарезать отца никому не известной Шош психологи так до конца и не смогли —

а когда, наконец, раненый обрел дар ясной речи, он замкнул рот на большой замок и не проронил больше ни слова о том, что с ним случилось после взрыва его танка.

Дни шли за днями, Мишка ел, спал, без азарта играл в шеш-беш и шахматы. Слава шла за ним следом на своих мягких кошачьих лапах: герой войны, подбил пять сирийских танков, снял вражеский патруль и, раненый, добрался до своих. Самая блистательная из всех — воинская слава шла следом за Мишкой Нисимовым, и девчонки, постреливая глазами, перешептывались за его спиной. Как-то на вечеринке в санатории медицинская сестричка, белозубая и смуглая, как мулатка, подошла к сидевшему на отшибе Мишке.

— С девушками ты такой же смелый, как в бою с сирийцами? — поблескивая глазами, спросила сестричка. — Пошли танцевать!

— Я не умею, — сказал Мишка. — Тебя как зовут?

— Хевциба, — сказала сестричка. — Идем, я тебя научу!

— Интересное имя, — сказал Мишка. — Но — не пойду.

— Тогда пошли в кино, — предложила Хевциба.

— Ну, пошли! — вдруг решил Мишка. — Хевциба...

В темноте и тесноте кино Хевциба повела себя как какая-нибудь ивановская Манька или Наташка. Сначала она прижалась к Мишке плечом, потом руки их как бы невзначай встретились и так остались одна в другой. Но — не надолго. Вскоре Мишкина отяжелевшая ладонь пошла гулять по крепкому и гладкому телу Хевцибы — от груди до коленок, кое-где задерживаясь. Хевциба отрывисто дышала, Мишка настороженно поглядывал по сторонам: не замечают ли соседи. Не успели герои фильма развернуться по-настоящему и показать, на что они способны в драке и под одеялом, как Мишка потянул девушку вон из зала.

— Давай досмотрим! — слабо возражала Хевциба. — Успеет еще! Интересно же, убьют вот этого блондина или нет?

— Надо — значит убьют, — жестко сказал Мишка и поднялся с кресла. — Давай, пошли!

Хевциба оправила юбку и послушно пошла за Мишкой.

— Пойдем в парк, — сказал Мишка, когда они очутились на улице.

— Сыро очень, — возразила Хевциба, — и земля холодная. Лучше я у отца ключи от машины возьму.

— Куда поедем? — спросил Мишка.

— Вот шляпа! — улыбнулась Хевциба. — Зачем куда-то ехать? Там спинка откидывается.

Пошли через весь город к дому Хевцибы, часто останавливаясь в неосвещенных закоулках и давая волю рукам. Мишка весь пылал, как будто его облили бензином и подожгли. Звериное нетерпенье бурлило в нем и клочкотало. Он хотел лишь одного: поскорее забраться в эту распроклятую машину и откинуть спинку. Таща девушку за собой, Мишка почти бежал. Рана его начала побаливать, он немного припадал на ногу.

— Не беги так! — просила Хевциба. — Я просто не могу! Я в школе на ксилофоне играла, а не кросс бегала!

Но Мишка не оборачивался и не отвечал. Пламя желания бушевало в нем и гудело, как в печной трубе. Открыть дверцу, откинуть спинку, опрокинуть. Задрать, сдвинуть, содрать. И вломиться, и раствориться на миг, и забыться. И забыть тот овраг, тот куст. Хевциба. Нет, Шош. Нет, Хевциба...

Отца не оказалось дома, он уехал в Нагарию на встречу бывших десантников. В ожидании этой вести Мишка топтался против дома, под деревом. Хевциба, пере-

бежав дорогу, вошла в дом. В окне вспыхнул свет... Вот она подходит к отцу, гадал Мишка, просит ключи, получает их. "Папа, я скоро вернусь, чао!". "Смотри, дочка, будь осторожна — дождь как будто собирается". "Что ты, папа, я только съезжу к подружке — и тут же назад" "Ну, езжай, езжай и быстро возвращайся!" Проиграв эту сцену до конца, Мишка взыскующе уставился на дверь дома — но Хевциба не показывалась. Нетерпеливо топчась, Мишка загадывал, какая из всех этих машин, стоящих вдоль обочины — папина. Хорошо бы вот эта, зеленая. Она, правда, старая — но не на гонки же он, Мишка, на ней собрался! Или вот эта — широкая, с мягкими, надо думать, диванами. Только бы не вон тот фольксваген-жучок — там карлик, и тот не повернется. Впрочем, солдат и "жучок" — не танцы там, в конце концов, танцевать... А Хевциба все не шла да не шла.

Но всему приходит когда-нибудь конец, и вот Хевциба появилась.

— Я переодевалась, — сказала Хевциба. — Смотри, какое платье красивое... А папа в Нагарию уехал.

— Что же делать... — с ненавистью глядя на новое платье девушки, прошипел Мишка.

— Ишь, ты, какой нетерпеливый! — игриво заметила Хевциба. — Может, завтра увидимся, а?

Мишка круто повернулся на каблуках и шагнул прочь. Хевциба догнала его.

— Ну, не злись! — сказала Хевциба. — Я ж не виновата, что его черти унесли в Нагарию... В поликлинику к нам пойдем, там у нас бельевая не хуже Хилтона.

— Там закрыто! — буркнул Мишка. — Заперто! Ночь же.

— А мы откроем, — успокоила Хевциба.

Здание поликлиники стояло в парке, окна его были

темны. Обогнув дом, Хевциба остановилась у одного из окон и потянула раму. Рама не подалась.

— Помоги же! — сказала Хевциба.

— Сторожа нет? — озираясь, спросил Мишка.

— Нет сторожа, — сказала Хевциба. — Чего тут воровать-то?

— Ну, найти можно, — уклончиво ответил Мишка. — Особенно, если поискать.

Он с силой нажал на раму ладонью, потянул вбок — и стекло ушло в стену. Морщась от боли в натруженной ноге, он влез на подоконник и, подав руку девушке, спрыгнул на пол.

— Куда идти? — сдавленно спросил он.

— По коридору прямо, — почему-то шепотом ответила Хевциба. — Не стукнись — тут карниз.

В конце коридора, справа, обнаружилась узкая дверца, ведущая в бельевую. Комната тоже оказалась крохотная, зато в углу у стены стояла коечка — Мишка нащупал ее, пробираясь в темноте. Вдоль стен громоздились дощатые полки, набитые какими-то простынями и халатами.

— Иди сюда! — сказал Мишка. Ему обязательно хотелось — повалить.

— Сейчас иду, — откликнулась из темноты Хевциба. — Тут вот одеяла есть...

Мишка молчал, вглядывался — и не видел ничего. Ждать ему пришлось недолго: повеяло ветерком от набрасываемой на коечку казенной простыни. Распялив руки, как при игре в жмурки, Мишка повернулся и поймал девушку за рукав.

— погоди! — прошептала Хевциба. — Я постелю только...

— Не надо, — сквозь зубы выдавил Мишка.

Он прижал девушку к себе, наклонил голову, нашел ртом ее губы, приоткрытые навстречу его желаниям.

Простыня опустилась на пол, как большая белая птица, Мишка наступил на ком ткани, запутался ногой и отшвырнул его прочь. Руки его нащупали молнию на платье Хевццбы, потянули за язычок. Платье распахнулось на спине, распалось. Ищущие Мишкины ладони ощутили, как благодостный дар, тепло девичьего тела, задержались на миг, впитали это волшебное тепло — и, набредя на бретельки лифчика, рванули их в стороны и вниз. Хевццба, не отрываясь от Мишкиных губ, высвободила руки и крепкую тяжелую грудь. А Мишкины бедовые ладони скользнули вниз по ее спине, гибкой и шелковистой, и вот уже, миновав досадную преграду, властно легли на два нежных, сказочных полушария, в меру напрягшихся под его пальцами. Чувствуя его возбуждение; девушка прижималась к нему все сильнее, постанывая и вздрагивая. Ему понадобилось изрядное усилие и сноровка, чтобы одним длинным движением освободить Хевццбу от платья, колготок и трусиков — и она, перебирая ногами, как жеребенок, стоптала все это и теперь стояла, нагая, на островке одежды. Придерживая девушку, Мишка шагнул вперед — и рухнул вместе с Хевццбой на низкую койку.

Руки его снова пришли в беспорядочное движение, непослушные пальцы рвали ремень, неподатливые пуговицы солдатских брюк. Тычась, словно слепой котенок в поисках материнского соска, найдя, уже погружаясь, уже из иного измерения, — он яростно рванул гимнастерку и припал, приник грудью и животом к неземной наслаждающейся плоти женщины. Стены каморки раздвинулись, их не стало вовсе. Да и женщины не стало под ним — а бездонное море очищающего счастья, казалось, неизбежного... Но понемногу мелело море, и берега проявлялись и подступали из жемчужного тумана, и обозначился на берегу —

взрыв, куст, труп.

Мишка поднялся, шатаясь, шагнул к окну.

— Обними! — пробормотала ему в спину Хевциба.
— Еще!

Мишка не обернулся, не ответил.

— Ты просто мужик какой-то! — возмущенно сказала Хевциба и потянулась за трусиками.

Можно понять и Хевцибу.

Дни шли за днями: еда, сон, снова еда. После ночного приключения с Хевцибой, Мишка стал еще неразговорчивей, еще замкнутей. На предложение девушки повторить свидание он ответил резким отказом.

Однажды ранним утром, еще до завтрака, в ворота санатория въехал зеленый армейский "Додж" Солдаты глядели с любопытством: в таких машинах ездили старшие офицеры, генералы. Гадали: кто это пожаловал и зачем?

Дверца распахнулась, из машины по-молодому выскочил стройный, подтянутый офицер с генеральскими погонами на плечах. Мощные усы, какие носили еще открыватели и первопроходцы нового Израиля, украшали загорелое лицо генерала.

— Йекутиэль Адам!.. — прошелестело среди любопытствующих.

Генерал Адам огляделся и неспеша пошел через двор к подъезду санатория. Оттуда, ему навстречу, уже спешил комендант.

— Нисимов мне нужен, — нетерпеливо выслушав приветствия коменданта, сказал Йекутиэль. — Родич мой. Где он?

— Одна минутка! — заверил комендант. — Сейчас мы его приведем. Прошу ко мне!

— Нет-нет, — отмахнулся Йекутиэль. — В другой раз... Так где он?

Мишку обнаружили в его палате и подняли по тревоге. Генерал ждал, прохаживаясь по двору.

— Ну, поздравляю! — сказал Йекутиэль, когда племянник подошел к нему. — Здравствуй, здравствуй! Дай-ка я тебя поцелую. Молодец, Мишка! Не опозорил Кавказ... Нога болит? Нет? Ну и слава Богу.

— А откуда вы знаете про ногу? — несколько потерянно спросил Мишка.

— Старики твои рассказывали, — ответил Йекутиэль. — Да и в газетах, говорят, писали — я, правда, не читал.

— Да чего там читать-то... — смутился Мишка. — Так, зацепило немного.

— Ну, не беда! — охотно согласился Йекутиэль. — Волков бояться — в лес не ходить... Ты вот что, Мишка — собирайся, поедем в Иерусалим. К вечеру тебя обратно доставят.

— Я готов, — встрепенулся Мишка. — Прямо сейчас едем?

— Прямо сейчас, — сказал Йекутиэль. — Дубон возьми, а то простынешь.

Больше всего Мишке хотелось спросить, зачем они едут в Иерусалим — но ему неловко было задавать вопросы знаменитому дяде: надо будет — сам скажет. И правда, уже в машине он обронил как-то мельком:

— В Яд-Вашем мы едем. Документы там какие-то обнаружили — может, тебе интересно будет, да и кому их и посмотреть, как не тебе... Отец твой говорит — захандрил ты, — перешел он на другую тему. — Правда это?

— Да нет, — замялся Мишка. — Просто так... Сидеть тут скучно, я поправился уже...

— Ну, это врачи решат, — сказал Йекутиэль. — Но если тебе тут надоело — мы врачам поможем. Хочешь?

— Хочу, — подумав, сказал Мишка. — Я смогу вернуться в часть?

— Это комиссия решит, — сказал Йекутиэль. — Тут уж помогать нельзя: как они там решат — так и будет.

Раскрыв какую-то папку, Йекутиэль принялся за чтение. Не желая мешать, Мишка глядел в окно, за которым мелькали один за другим маленькие приморские городки... Какие-такие документы обнаружили в Яд-Вашеме? И почему именно ему, Мишке, доверено их читать? Может, это что-нибудь из истории еврейского Кавказа, о борьбе за алию? Но ведь в Израиле есть куда более сведущие в этом вопросе люди, чем он, Мишка Нисимов... Таких безответных рассуждений хватило Мишке почти до самого Тель-Авива. Потом он задремал, покачиваясь на широком и мягком заднем сиденье генеральского "Доджа". Ему снился странный, легкий сон, полный скрытого значения и приятных, волнующих недосказанностей.

Куст снился ему на берегу моря, куст на песчаной золотистой дюне, под голубым прохладным небом, по которому брели отары облаков. Не было холодно, и жара не томила, и приятный душистый ветерок перебирал матово-черные волосы Шош, сидевшей на купальной простыне, близ куста. Шош сидела, поджав под себя ноги, согнутые в коленях, и глядела в море, приставив загорелую ладонь козырьком ко лбу. Ноги Шош светились, и в их изгибах — под коленями и у живота — таилась голубая тень. А куст за спиной всматривавшейся во что-то девушки был вовсе не куст, а Мишка, обратившийся в ветви и листья. Руки его — ветви, глаза его — листья, грудь его — ствол... Находясь за спиной Шош, Мишка мог лишь глядеть на нее — не в состоянии привлечь ее внимания, сказать ей: "Я здесь, Шош, с тобой!" Но если она и повернется, беспокоился Мишка, как она узнает меня в этом кусте? Что ей скажут эти ветви, эти листья? Как она

узнает своего любимого?.. Но опустилась с небес птица в ярком праздничном оперенье, и села на ветвь, и запела. "Девушка Шош, — пела та птица, — солнечная девушка Шош, обернись и погляди на того, кого ждет твое сердце и по кому плачет твоя душа! Обернись — и ты увидишь его!" И она обернулась, и увидела куст, и опустила глаза, вспыхнувшие было надеждой. И вдруг словно освободившейся пружинной ее подбросило! Она подпрыгнула, распласталась в воздухе, упала на землю — на тень, отбрасываемую кустом. Потому что та тень была тенью Мишки. И Шош обнимала этот темный силуэт на золотом песке, и плакала, вжимаясь в землю. А потом она подняла заплаканное лицо в золотых песчинках и взглянула и окаменела на миг: там, где был куст, стоял Мишка, и за спиной его горбился могильный холм. И поднялась с земли Шош, и пришла к Мишке, и он взял ее на том холме. И сладко было обоим.

...Мишка беспокойно открыл глаза и увидел справа Латрун, постамент памятника и танк на постаменте. Впервые, пожалуй, со дня своего боя и ранения Мишка не испытал, глядя на танк, ровным счетом ничего: ну, танк — так танк. Проглотив вязкую слюну, он ниже натянул дубон и покосился на Йекутиэля — ничего ли дядька не видел и не слышал во время мишкиного сна, особенно его конца, такого сладкого. Но генерал, сидя впереди, безмятежно глядел на дорогу.

— Мишка! — не оглядываясь, сказал Йекутиэль. — Ты только что стонал и метался. Тебе жениться надо, вот что.

Мишка сделался красен, как маков цвет.

— Я девушку одну люблю, это она мне снилась... — пробормотал Мишка.

— На ней и женись! — определил генерал. — И не тани с этим делом, чего там тянуть...

Сейчас Мишка готов был рассказать Йекутиэлю и об убийстве Зерубавеля, и об овдовевшей Шош, и даже об этом странном сне — но только не при шофере, не при чужих ушах. Был готов — и знал, что момент этот пройдет, что в Иерусалиме расхочется рассказывать.

Тем временем приехали в Иерусалим, и шофер, из-за которого Йекутиэль так ничего и не узнал о мишкиной тайне, повернул на проспект Герцля.

С директором мемориального института Яд-Вашем, отставным пехотным генералом, Йекутиэль Адам обнялся по-дружески на пороге его кабинета.

— В одном городе, вроде, живем, а видимся реже редкого, — сказал Йекутиэль. — Вот тебе, Цахи, племянник Йехескеля Нисимова, Мишка его зовут. В Дова пока не хочет переделываться.

— Как до генерала доберется — переделается, — улыбнулся Цахи. — Я ведь тоже начинал Николаем... Слушай-ка, Мишка, мы тут получили один документ, касающийся капитана первого ранга Йехескеля Нисимова. Документ этот написан на горско-еврейском языке, я хочу дать тебе его прочитать.

— Ты ему расскажи, как он к тебе попал, — перебил Йекутиэль. — Это же целый роман, только вот написать некому.

— Ты знаешь, как погиб твой дядька? — спросил Цахи.

— Он потопил немецкий крейсер "Трапезунд" и погиб в бою, — твердо сказал Мишка.

— Он взорвал свою лодку вместе с крейсером, — уточнил Цахи. — Немецкие спасатели выловили его труп и нашли на нем, под тельняшкой, — "тельняшка" Цахи сказал по-русски, — запечатанный прорезиненный пакет. В пакете лежала тетрадь с записями, что-то вроде дневника, судя по числам.

— Он вел дневник, — сказал Мишка. — К нам приходили, спрашивали об этом дневнике сначала из КГБ, потом из военно-исторического музея. Отца потом еще таскали, выпытывали, что с этим дневником случилось.

— Ничего на свете не пропадает, — покачал головой Цахи, — или почти ничего... Нашли, как будто, этот дневник, Мишка.

— Покажете? — вскинулся Мишка.

— Для того и вызвали, — сказал Цахи.

— Ты послушай, что дальше было! — снова вошел в разговор Йекутиэль. — После того, как немцы обнаружили Йехескеля.

— Немцы опознали труп, — продолжал Цахи, — и пакет с дневником отправили в Берлин. Читали его там или нет — неизвестно, но дневник оказался в одном из архивов разведки и пролежал там тридцать лет. Недавно его обнаружили — случайно, кстати сказать, это часто бывает — и разобрали несколько страниц. Речь там идет о еврейских делах, и наши друзья из немецкой разведки решили передать дневник нам. Ты будешь первым, кто его здесь прочтет.

— Это приказ, — добавил Йекутиэль. — Тебе тут дадут комнату, бумагу, пишущую машинку — все, что необходимо. Ты, как сможешь, переведешь дневник с горско-еврейского на иврит. Жить будешь у меня.

— Слушаюсь! — вытянулся в струнку Мишка, и генералы усмехнулись.

— Судя по тому, что мы знаем об этом документе, — сказал Цахи, — капитан первого ранга Нисимов носил на груди не дневник, а бомбу. Если б флотская контрразведка знала о содержимом дневника, Нисимов погиб бы не в бою, а в тюремном подвале.

— А... где он? — не сдерживая более нетерпения,

спросил Мишка. — Дневник?

Цахи подошел к сейфу в углу кабинета и торжественно набрал код. Щелкнул замок, стальная дверца отпахнулась.

— Вот дневник... — сказал Цахи, протягивая Мишке старый с виду, но отнюдь еще не ветхий пакет из серой прорезиненной ткани. — Ну, открывай!

Мишка с великой осторожностью расшнуровал, развернул. На стол перед ним легла самодельная тетрадь, с любовью обернутая в картонную, обтянутую синей тканью обложку и аккуратно прошитую. На первой странице было выведено фиолетовыми чернилами: "Йехескель Нисимов. Р а з м ы ш л е н ь я."

— Ты отвечаешь за эту тетрадь, — сказал Цахи. — Распишись. И можешь приступить к работе.

— Слушаюсь, — сказал Мишка.

— Моя секретарша проводит тебя в твою комнату, — сказал Цахи.

"Если бы я родился на свет русским, — читал Мишка, — я, скорее всего, стал бы врачом, может быть, хирургом. Но я родился евреем, и именно этот факт моей биографии продиктовал мне решение: я стану кадровым военным, офицером-подводником. Почему именно подводником? Гражданские люди склонны видеть в боевой подводной службе особый риск, требующий особой закалки и смелости, я бы сказал, даже дерзости. Стань я танкистом, в этом не было бы ничего особенного: ну, еврей-танкист. Но еврей-подводник — это уже реже случается, это уже звучит почти как "еврей — укротитель львов". Еврею стать офицером-подводником — а я стремился стать именно боевым капитаном, а не штабным адмиралом — это значит доказать гоям, укоряющим нас в трусости, что мы, евреи, истинные наследники Звулуна-море-

хода, что в наших жилах течет та же кровь, что текла в жилах Маккавеев и Бар-Кохбы. Да что там — гоям! Важнее было доказать это нам самим, евреям, поверившим в чуждый, антисемитский миф о том, что мы — торговый народ, не способный на воинский труд. Гитлер явился нам подходящим противником в борьбе, ибо эта борьба ведется нами не на жизнь, а на смерть. Мне кажется, что это испытание страшной, кровавой борьбой — последнее перед тем, как мы станем независимым и свободным народом, на своей собственной земле, и мы обретем право защищать себя самим и самим решать свою судьбу. Гитлер — враг всего мира, но он наш враг в особенности и прежде всего. Я не боюсь погибнуть в борьбе с Гитлером, но я так хочу выжить и выйти из этой борьбы победителем! Потому что тогда, после победы, я, не колеблясь ни минуты, угоню эту мою лодку к берегам Палестины и послужу моему народу, а не чужим”.

”Я вырос если и не в патриархальной, то во вполне традиционной еврейской семье, — читал Мишка несколько страниц спустя. — Мой отец не злоупотреблял посещениями синагоги, считая ее, в глубине души, не столько домом Бога, сколько домом встреч с соплеменниками. Но, вместе с тем, отец не был неверующим — он верил в Высший Замысел, верил в то, что в мире не все так просто, как кажется иным людям, верил в то, что человек — это не производное от скота. Субботний отдых он соблюдал — несколько по-своему, но соблюдал. Наверно, специалисты нашли бы на нашем столе некоторые отклонения от кошерности — но свинины в нашем доме не было никогда. В нас, детях, отец воспитывал и укреплял ощущение принадлежности к еврейству не во внешних признаках — а в непоколебимой и безоглядной преданности еврейскому народу, его истории и его будущему. Две даты отмечали мы ежегодно: Песах и Девятое Абба. В День разрушения Храма мы не плакали — мы клялись

отомстить, клялись восстановить разрушенное чужеземцами отечество. А "В следующем году в Иерусалиме" мы повторяли не как мистическую формулу — а как клятву вернуться домой из чужих земель... На этих двух клятвах я вырос, за них я благодарен моему отцу. И еще за одно: он никогда не суживал еврейский мир до того каменистого пяточка в Кавказских горах, где жили мы из поколения в поколение, где рождались и умирали. Теодор Герцль был для моего отца светочем и надеждой, а образованное и мощное европейское еврейство — оружием отвоевания Земли Израилевой, нашей земли. "Все люди равны, и все евреи равны — повторял мой отец. — Европейских евреев мы можем научить владеть кинжалом, у европейских евреев мы должны научиться владеть знаниями... Впрочем, владеть кинжалом — это тоже знание, и немалое", — обычно добавлял он. Однажды к нам в Дербент занесло дальними ветрами какого-то еврея из Белой Церкви, знатока Священных Книг — и отец мой был первым, кто потребовал открыть для этого еврея талмуд-тору. "Все мы евреи, — сказал тогда отец, — и на всех евреев — только одна Тора. И учить Торе должен тот, кто лучше ее знает, а не тот, кто волею случая родился на Кавказе, а не на Украине". "Отец продал тогда часть своего виноградника, а вырученные деньги дал на талмуд-тору. Не все в Дербенте, кстати сказать, были с ним согласны..."

"Двенадцати лет я ушел из дому, бежал, можно сказать... Не от родителей я бежал и не от родных — собственными глазами хотел я поглядеть на мир, собственными боками его почувствовать, как конь — табун. Для первого знакомства с миром я припас буханку хлеба, две головки чесноку и укороченный кинжал — это все, что у меня было с собой, когда я спустился с гор в Баку. Этот город, показавшийся мне центром мира, не потряс меня — но насторожил: ему было напле-

вать на маленького горского еврея, явившегося сюда если и не для того, чтобы завоевать это скопище домов и людей, то для того, чтобы приручить его. Городу было плевать, сдохну я с голоду или меня раздавит тяжелая, как орудийный лафет, арба, груженная арбузами. Окружающий меня мир был мне враждебен или, в лучшем случае, безразличен, и все свои усилия я направил на то, чтобы уцелеть в борьбе и окрепнуть. Моя душа так же жаждала новых впечатлений, как растущее тело — пищи: хлеба, лука, мяса. Я нанялся разнощиком, потом подрабатывал, моя полы в синагоге. Верхом моего успеха была моя работа в бродячем цирке: я там разыгрывал из себя укротителя и объезчика диких коней... И почти все люди, с которыми я сталкивался, реагировали на то, что я не просто кавказец, а кавказский еврей — а я этот факт всегда преподносил, как главное блюдо — все эти люди смотрели на меня, как на существо иного порядка, существо неполноценное, заслуживающее либо осуждения, либо жалости. Так я столкнулся и познакомился с антисемитизмом, живущим в крови мира — и сообразил, что только среди своих евреев, на своей еврейской земле я стану свободным и независимым человеком. Поездки с цирковой труппой убедили меня и утвердили в моем предположении. Мы с нашими конями, клоунами и престарелым лилипутом-алкоголиком, к тому же страдавшим подагрой, разъезжали от Тбилиси до Ростова. И повсюду, где бы я ни оказывался, я чувствовал на себе, на своем лбу, тавро: еврей. И я, как волчонок, дрался с обидчиками, а потом, зализывая раны, повторял клятву, слышанную от отца: "В будущем году — в Иерусалиме!" А вечером, на арене, я вытворял такое, я так джигитовал, что зал замирал от ужаса, а неверные мои товарищи восклицали: "Ну и жиденок! Псих какой-то! Он не знает, что

такое страх!!” И эти восклицания согревали меня и доставляли радость: я был смелей всех этих гоев, я делал то, что им делать было не под силу.

В одну из поездок, в Астрахани, я познакомился со стариком (это для меня тогда он был стариком — ему было лет сорок-сорок пять) по имени Моисей Кацев. Эта встреча во многом определила мою дальнейшую жизнь... Моисей был активным сионистом, его арестовали впервые в середине 20-х годов — а потом он только то и делал, что тюрьму менял на лагерь, а лагерь на ссылку. В промежутках между арестами и отсидками он скрывался, бродяжничал, пытался бежать через границу. И повсюду, где бы он ни был, он собирал вокруг себя еврейскую молодежь, рассказывал о нашей истории, о гонениях на нас, о нашей мечте — вернуться в Землю Израилеву. Его рассказы были для меня — как дождь для растрескавшейся от зноя почвы. Я тоже открыл Моисею душу... ”Ты боевой парень, — сказал мне Моисей. — Ты должен стать первым израильским генералом!” — ”Я хотел бы стать моряком” — сказал я. ”Ну, что ж! — сказал Моисей. — Тогда иди в подводники”. ”Почему?” — спросил я. ”Потому что среди нас почти нет подводников, а Еврейскому Государству понадобится подводный флот. И ты станешь израильским адмиралом”. С замирающим сердцем выслушал я это пророчество! А Моисей продолжал: ”Мы слишком много думаем каждый о себе и слишком мало — о всех нас, обо всем народе. Раз народу нужны подводники — значит, кто-то из нас должен забыть о карьере пилота с крылышками на груди. Этим-то настоящий народ и отличается от скопища людей: умением думать об общих нуждах, умением кое-чем жертвовать для народа”. Я слушал Моисея Кацева и думал о том, что, если еврейскому народу потребуется уборщик дерьма — что ж, я готов, я

счастлив буду стать им в моей стране. Но подлодка в океанской глубине казалась мне такой недоступной, такой далекой от Астрахани, от этой вдруг опротивевшей мне цирковой арены! "Как цирковой джигит может стать капитаном подводной лодки?" — спросил я. "Надо учиться, — сказал Моисей. — Надо уйти отсюда, вернуться домой — и уже из дома идти в военно-морское училище". "Я вернусь, — сказал я. — Завтра же"

И я вернулся. В Дербенте я пошел в школу, засел за учебники и догнал полтора пропущенных года. Я спал по шести часов в сутки, не знал ни выходных, ни праздников. Я обивал пороги военкомата, умоляя направить меня в военно-морское училище. И здесь, в военкомате, я натыкался, как на стену, на те же ухмылки, какими встречали меня гои во время моих странствий. Но я решил добиться своего — и делал вид, что ничего не замечаю... За полгода до назначения в училище мне довелось еще раз встретиться с Моисеем Кацевым. Просто постучали в дверь нашего дома — и вошел Моисей.

— Ну, вот и встретились, — сказал Моисей, когда мы прошли с ним в сад, в самую глушь, где кусты колючей ежевики переходили в непроходимые заросли. — А меня, знаешь, снова обложили — вот-вот возьмут, и, видно, надолго.

Его взяли через полтора месяца, в Баку — навсегда: Моисей Кацев был осужден на пятнадцать лет за сионизм, отправлен в колымские лагеря и погиб при попытке к бегству.

— Хорошие у вас тут ягоды, — продолжал Моисей, жуя ежевику. — У нас такие не растут, слишком жарко. У нас апельсины растут. Ты пробовал когда-нибудь апельсин?

— Нет, — сказал я. — Не пробовал. Здесь у них слишком зябко.

— Вот это верно! — воскликнул Моисей. — Молодец! Здесь — это у них, а там — это у нас... Я тебе оставлю кое-какие книжечки — Герцля, Бубера, Жаботинского, еще кое-что. У меня их все равно при аресте отберут, а тебе пригодятся. Только ты на них не сиди, давай их читать — понял?

— Понял, — сказал я. — Тут в горах, повыше, можно пещеру найти, укрыться — никто не найдет. А?

— В пещере пускай отшельники сидят, — сказал Моисей, — а я не отшельник. От меня проку для евреев больше будет в лагере, чем в этой пещере... Ну, кто там, в пещере? — пошутил он. — Орлы? Козлы? Они не евреи, им на сионизм наплевать. А в лагерях евреи сидят, и много. Большой мор надвигается на нас, Йехескель, большая беда! Кого эта власть не приберет, за тех немцы возьмутся.

— Нас, пока, в общем не трогают... — возразил я.

— Пока вы тихо сидите! — сказал Моисей. — А как только вы скажете — Шма, Исраэль! — вас всех перестреляют. Сталину нужны мертвые евреи — с ними куда спокойней. А нам с тобой нужны живые евреи, и как можно больше. В этом вопросе мы со Сталиным не сходимся, а в остальном — это дело не наше, это дело русских или грузин, нам все равно.

— Меня обещают в военно-морское училище послать, — сказал я. — Сначала издевались: "Еврей — в подводники? Это еще зачем?"

— Очень хорошо! — оживился Моисей. — Замечательно! Первым делом вступи в их большевистскую партию.

— В партию? — изумился я.

— Да-да, в партию, — подтвердил Моисей. — А ты как думал! Без партийного билета ты в лучшем случае будешь чистить на лодке гальюны. А нам нужны капитаны, а не уборщики!

— Но как же так... — замаялся я. — Большевики про-

тив независимости евреев, вы же сами говорили...

— Именно поэтому тебе и надо вступить в их партию! — воскликнул Моисей. — И оттуда — из партии — бороться за наше будущее, бороться до поры — до времени тайно. Но наступит день — и все, оставшиеся в живых выйдут из подполья. И вот тогда-то появится на сцене израильский адмирал Йехескель Нисимов! Только тогда — и ни днем раньше. Теперь ты понял?

— Но вот вы же не пошли в партию... — упорствовал я.

— А мне не надо, — спокойно объяснил Моисей. — Было б надо — я давно бы уже пошел. А не надо — потому что евреям от этого моего партийства лучше не станет. А от твоего — станет, и еще как! Партийный — ты получишь в руки подводную лодку. И когда **н а с т а н е т д е н ь** — ты поведешь свою лодку в бой за нашу свободу.

— Лодка, наверно, очень большая, — неуверенно сказал я. — А я один...

— А вот об этом тебе надо будет подумать, — посерьезнел Моисей. — Закончишь училище, получишь офицерское звание. Подбирай понемногу надежных людей, своих! Имей в виду, среди русских тоже иногда встречаются свои люди, как и среди евреев — чужие. Имей это в виду! И тогда ты не окажешься один на своей лодке.

Война все сломала, все опрокинула”.

Мишка бережно отложил тетрадь, откинулся на спинку стула. Так вот, оказывается, кем он был — его дядька Йехескель Нисимов! Об этой стороне его жизни не знал никто — ни родные, ни, наверно, КГБ. Вот ведь, действительно, парадокс: на Кавказе его приказано чтить, как народного героя. А если они там узнают о нем правду — что сделают? Впрочем, они там

в России привыкли сносить памятники, переименовывать города и даже вычеркивать людей из истории — как будто их и не было. Но люди суетятся на своих тропинках, а История идет своим путем. И примером тому — судьба дневника Йехескеля Нисимова, капитана, Героя Советского Союза, члена и х партии. Что бы, интересно знать, сказал по этому поводу высокопартийный папаша Шош? А что сказала бы сама Шош?.. Эх, Шош, Шош, как недостает тебя в Израиле, в Иерусалиме, в этой комнате института Яд-Вашем, где Мишка Нисимов с трепетом переворачивает страницы старой тетради...

”Через годы ученья в военно-морской школе, — читал Мишка, — я шел как сквозь дикий лес, ночью. У меня было много врагов — и почти не было друзей. Может быть, именно по этой причине я научился еще больше ценить дружбу — крепкую и немногословную, когда не нужно объяснять то, что ты чувствуешь, а взглядом можно выразить больше, чем часом болтовни... Меня били в закоулках темных коридоров училища — я отбивался, меня оскорбляли — я не оставался в долгу. И я учился — как безумец, как маньяк. Я знал, что первым выпускником я не стану — стану вторым, потому что первенство отдадут русскому Петру Амбросимову, племяннику начальника политуправления Тихоокеанским флотом... Этот Амбросимов в первом же капитанском походе посадил свою лодку на скалы Сааплотена и погубил экипаж, никто не вышел живым... И в теории, и в практических занятиях я опережал других, и это вызывало еще большее озлобление моих врагов: ”Какая-то жидовская морда успевает лучше, чем мы — наследники Нахимова!” При первой же возможности, получив очередную учебную похвальную грамоту, я подал заявление и

вступил в партию. И почувствовал, как прав был Моисей Кацев: меня почти оставили в покое, почти примирились с тем, что я, еврей, затесался в их "советский братский коллектив" будущих офицеров-подводников. Но дело ведь было совсем не в том, что мне стало немного легче: я убедился в том, что без этой самой красной книжки продвижение во флоте было бы мне заказано. В большинстве моих сверстников и наставников я видел если и не своих личных врагов, то откровенных врагов моего народа. А обман врага — это военная хитрость, это заслуга, — так нас учили наши командиры! И я с чистой совестью обманул моих врагов — я вступил в их партию. Теперь, не принимая меня всецело в свою среду, они вынуждены были со мной примириться — хотя бы внешне. А я, конспирации ради, вызубрил на зубок все их уставы, съезды и решения, и на их собраниях бил их — их же оружием! Цитировать Ленина и Сталина стало моей любимой забавой, и я прослыл твердокаменным сталинцем, которого следует даже немного опасаться — такой он правильный и бескомпромиссный. И я закончил училище со знаком отличия — вторым после Амбросимова.

Война все перевернула.

Война застала меня старшим помощником командира средней лодки, имевшей портом приписки Мурманск. На своей лодке я имел возможность пользоваться радиоаппаратурой не только в служебных целях. Это было, правда, небезопасно: замполит поглядывал на меня косо, но я исхитрялся слушать западные радиостанции и знал, что творит Гитлер с евреями. Гитлер стал для меня олицетворением всемирного зла. Для того, чтобы осуществилась главная мечта моей жизни, завещанная мне Моисеем Кацевым, следовало, прежде всего, сломать хребет Гитлеру. Гитлер для меня — бешеный волк, опаснейший, несущий смерть всему

моему народу. Ради моего народа я учился и выучился. Теперь — ради моего народа — я должен победить в борьбе с Гитлером. Это моя личная задача, моя личная цель: Гитлер готов уничтожить меня не за то, что я офицер советского флота, а за то, что я еврей. Итак, в этой борьбе с Гитлером мои естественные союзники — русские, еще вчера мучившие меня и издевавшиеся надо мной и, в моем лице, над моим народом. Что ж, я готов забыть им все — на время! Потом, после победы над Гитлером, мы восстановим наши счета... А пока — в ежедневный, еженощный бой, с железным сердцем и каменным лицом, никому не показывая вида, что клокочет у тебя в душе, доверяясь только этой тетради. Я понимаю, что вести ее и хранить — смертельно опасно, но я понимаю также, что я могу погибнуть в борьбе, — пусть непобежденным, пусть, как тут принято говорить, "героически", — но я не хочу уйти из этой жизни "преданным коммунистом-сталинистом". И, если мне суждено погибнуть, я сделаю все от меня зависящее, чтобы тетрадь эта дошла до моих берегов, не мурманских — а израильских. Но как мало от меня — капитана — зависит! Случай ли, судьба ли направит эти записки в их путь — не знаю. Знаю только, что мне легче было бы воевать и погибнуть, будь я уверен в том, что тетрадь эта попадет в родные руки. Но мне не дана эта уверенность, и, следовательно, нечего рассуждать на эту тему.

...Месяца три назад меня вызвал начальник особого отдела штаба флота. Я явился по вызову, дивясь тому, что явилось его причиной. "Вы примерный, безукоризненный офицер, — начал особист, — примерный партиец. И руководство намерено поручить вам задание, куда более ответственное, чем боевые действия..." Я молчал, ожидая продолжения этого странного разговора: что может быть важнее для флотского офицера,

чем боевые действия против врага? ”Вы ведь по национальности, кажется, еврей...” — вкрадчиво продолжал особист. ”Так точно, — сказал я, — еврей” Удовлетворенно кивнув, особист сказал: ”Руководство — высшее, как вы понимаете, руководство! — намерено откомандировать в США офицера связи для действий в рамках поставок по лендлизу. Выбор пал на вас...” ”Но почему на меня? — удивился я. — Я с вашим отделом никогда не был связан, и английский у меня слабоват” Особист отмахнулся досадливо: ”При чем тут английский! Вы же сами сказали, что вы — еврей” ”Да, сказал, — согласился я. — Но я не понимаю...” ”А вам и нечего тут понимать, — сухо заметил особист. — Руководство считает, что следует откомандировать боевого офицера-еврея, это произведет благоприятное впечатление на союзников. А боевых офицеров-евреев у нас в подводном флоте немного: раз-два и обчелся... Ясно?” ”Сейчас заберут, — подумал я. — Прямо отсюда... — И сказал: — Благодарю за доверие, но отказываюсь категорически — вплоть до разжалования или ареста. Я еврей, как вы правильно заметили, а еврей в этой войне должен воевать, а не торговать или отсиживаться в штабе... Прикажете сдать личное оружие?” ”Это ваше окончательное решение?” — спросил особист. ”Безусловно” — ответил я. ”Можете идти, — сказал особист и добавил мне вслед, еле слышно: — Трудно, все же с ним о чем-нибудь договориться”. Я вернулся на лодку и, к величайшему моему изумлению, вскоре получил еще одну звезду на погоны.

...Пролистав несколько страниц, Мишка с нетерпением заглянул в конец рукописи Йехескеля Нисимова. Почерк был так же аккуратен и тверд, как и в самом начале тетради. ”Особист заслал ко мне на лодку своего осведомителя, который не спускает с меня глаз. Он

уже пронюхал и донес, что я слушаю западное радио. Это, возможно, вскорости обернулось бы для меня большими бедами — но тридцать минут тому назад я получил приказ выйти в море. Этот выход, может быть, будет моим последним выходом: мне приказано войти в противодействие с немецким крейсером "Трапезунд" — и, следовательно, потопить его. Для выполнения задания я сделаю все, что в моих силах. Эту тетрадь я, как всегда, беру с собой — и надеюсь на Бога. Все, что я успел сделать в моей сознательной жизни, я сделал ради моего народа. Мы добьемся свободы. Да наступит день!"



Глава десятая

”ПАЛ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ...”

После отъезда Зерубавеля в неведомые края Шош вздохнула свободнее. Куда отправился предприимчивый муж, она толком не знала: Зерубавель подпустил по поводу своего отъезда немало тумана. То он намекал, что отправляется со специальным шпионским заданием в Нью-Йорк, то уверял, что принят в команду космонавтов, готовящихся к полету на Марс. Шош выслушивала эту похвальбу с совершенным безразличием: ей было все равно, куда едет нелюбимый муж — хоть бы в другую галактику, лишь бы поскорей и как можно на больший срок. Впрочем, про Марс она не верила — Зерубавель не подходил для этого дела ни по анкетным, ни по физическим данным. Шпионская операция тоже вызывала в Шош сомнения, правда, не такие категорические, как полет на Марс: ловкач Зерубавель мог, пожалуй, втереться в какую-нибудь спекулянтскую аферу и отправиться не то что в Нью-Йорк, но даже в Антарктиду, если там открылась внезапная возможность купить по дешевке вагон груш или продать подороже вагон льда... Однако, когда Зерубавель появился однажды в новенькой военной форме, Шош искренне удивилась: ее муж не был склонен к военным играм. ”Купил где-нибудь”, — решила Шош. Отец Шош, высокопартийный человек, по поводу

предстоящих Зерубавелевых предприятий мычал что-то о чести советского человека и о необходимости подправить подмоченную биографию... Коротко говоря, в один прекрасный день Зерубавель торопливо простился с женой и дочерью и отбыл в неизвестном направлении. И в доме молодых Нисимовых наступил, наконец, покой: Шош освободилась от постоянного страха перед ночными обысками и милицейскими чинами, являющимися без приглашения и с понатыми.

Дни шли за днями, вот и месяц укатил в прошлое — и пришло от Зерубавеля письмецо в казенном конверте, без обратного адреса. Взглянув на безликий конверт, Шош испытала двойственные чувства: посадили, видимо, Зерубавеля за очередную аферу, спустил вагон колхозной шерсти не налево, а направо — и вот сидит в лагере где-нибудь в северных прохладных краях. Но письмецо было хоть и грустное, но все же не тюремное. "Дорогая супруга и дочка, — писал Зерубавель, — я прохожу службу в героических местах, а где именно — вам знать не положено. Кормят неплохо, но еда очень пресная и от нее все время болит живот. Места здесь некрасивые — одни камни да пыль, у нас на Кавказе куда лучше. Кассетники, телевизоры и даже видеомагнитофоны здесь довольно дешевые, может, удастся привезти что-нибудь. (Прочитав это сообщение, Шош готова была принять нью-йоркскую "шпионскую" версию. Но откуда тогда сплошные камни и пыль? Может, темнит Зерубавель по своему обыкновению?) Девушки очень тощие и кривоногие, а близко не подпускают. (Ну, это Шош не волновало — подпускают или не подпускают). Учения проходят на высшем идейно-политическом уровне (тут Шош понимающе покачала головой: муж явно темнил, это было понятно и знакомо). Я, как советский человек, готов выполнить свой долг и героически пасть

(брови Шош снова удивленно поползли вверх: если Зерубавель и готов был пасть — то только на кого-нибудь, а не ради чего-нибудь. Видно, письмо это, прежде чем попасть на Кавказ, читано было чужими глазами, и, зная об этом, Зерубавель старался во-всю). Вино здесь просто жуткое, — без перехода продолжал Зерубавель, — от него потом бывает изжога и голова тяжелая. А виски страшно дорогое и я, как советский солдат, его вообще не пью. Что же касается одежды, то народ здесь очень бедный (нет, не Нью-Йорк, решила Шош) и ходит в каком-то дранье, даже стыдно. Когда я вернусь, я твоему папаше сделаю черную жизнь и все рога ему обломаю, так ему и скажи.

С тем остаюсь ваш
Зерубавель”

Дочитав письмо, Шош позвонила отцу и с удовольствием прочитала ему последние строчки. Отец, однако, воспринял грозное обещание спокойно.

— Пусть сначала вернется, — сказал в трубку высокопартийный человек. — А потом поглядим, кто кому рога обломает... Может, Шош, вернешься покамест домой с внучкой?

— Нет, — сказала Шош, — я в твой дом, папа, не вернусь никогда. — И опустила трубку на рычаг с чувством глубокого удовлетворения. Отъезд Мишки, свою разбитую жизнь — все это она ставила в вину отцу и прощать его не собиралась.

Вместо того, чтобы ехать к отцу, она уехала с дочкой в глухой горный аул, к дальним родственникам — простым и бедным людям. Старик Мордехай держал пчел, и Шош, как могла, помогала ему в его труде. Через неделю горной жизни, среди абрикосовых и ореховых зарослей, она начисто забыла и о Зерубавеле в его подозрительном далеке, и о родном отце. Вечерами, выпив козьего молока с лепешкой, она отпра-

лялась спать, и к ней являлся Мишка, и она желала ему спокойной ночи. А ее ночи были беспокойны, Мишка не исчезал из сакли, витал родным, горьким дымом по углам, приближался к ее постели — и тогда обвевало Шош сухим зноем, от которого сохли губы, грудь наливалась тяжелой силой, а сосцы становились твердыми... Так прошло три недели или около того — Шош потеряла счет дням, да и не желала следить за ними.

Однажды Шош покусали пчелы, и Мордехай заставил ее пролежать в постели несколько дней. Старик лечил "внучку", как он ее называл, целебными травами и отварами, но Шош горела как в огне, искусанное ее лицо распухло до неузнаваемости, и только глаза оставались прекрасными и золотистыми, как лучший на земле мед. Старик беспокоился — внучка, он понимал, не желала выздоравливать.

Как-то раз приехал из ближайшего села по своим житейским делам всадник: навестить кого-то или что-то продать, или купить. Этот всадник нашел Мордехая и сказал ему:

— Тут вот телеграмму тебе просили передать, вернее, не тебе, а твоей внучке, или кем она тебе там приходится... Вот, держи.

Мордехай не знал грамоты и, взяв телеграмму, пошел к Шош. Бланк он нес перед собой, как большую ценность: не каждый день привозят всадники телеграммы в аул, и не всякому аульчанину они адресованы... Шош пробежала глазами текст, потом внимательно перечитала его.

— Я должна уехать, дедушка, — сказала Шош, вставая с постели. И старый Мордехай увидел, как силы вдруг вернулись к молодой женщине, что хватит ей сил добраться до города внизу, в долине.

— Я доведу тебя до села на арбе, — сказал Мордехай,

— а оттуда в город пойдет автобус... Возьми вот баклажку меда, абрикосовый мед полезный.

— Спасибо, — сказала Шош. — Возьму.

Телеграмма, правда, вернула ее к жизни, поставила на новую дорогу, неизвестно куда ведущую. Сидя в высокобортной арбе с дочкой на коленях, она еще раз прочитала телеграфные строчки: "Зерубавелем беда точка возвращайся срочно точка мама". Вот и все. Что за беда стряслась с Зерубавелем? Поймали его, посадили? Заболел он? Беда — и все. И Шош не желала вдумываться, что это за беда. Но тревожная телеграмма, как освободившаяся пружина, подняла ее, Шош, с постели и привела в действие. Последствия этой телеграммы могли стать самыми неожиданными, и Шош, отгоняя от себя эти мысли, неотвязно, все же, думала о том, что принесет лично ей, Шош, эта самая "беда": новые тревоги и разочарования — или свободу?

— Ну, что там пишут? — не выдержал, наконец, Мордехай и тряхнул вожжами. — Родился кто-нибудь? Умер?

— Родился, — подумав, сказала Шош. — А, может, умер.

Мордехай замолчал, удивленно вжав голову в плечи. Арба тихонько катилась под гору, вниз, ее потряхивало на камнях дороги, и покачивалась податливо Шош с девочкой на коленях.

Дверь открыла мать Шош, молча и скорбно отступила, пропуская дочь в комнату. На столе одиноко желтел конверт из грубой армейской бумаги. Конверт был распечатан, из него торчал уголком белый казенный бланк. Шош вытянула бланк из конверта, прочла: "Ваш муж, Нисимов Зерубавель, пал смертью храбрых, выполняя задание родины. Память о Нисимове Зерубавеле навсегда сохранится в наших сердцах. О

сроке доставки тела для погребения Вам будет сообщено дополнительно”.

Прочитав похоронку, Шош подошла к окну, отдернула занавеску и выглянула на улицу. Улица была залита солнцем, по ней ехали автобусы и машины, шли люди, бежали дети и собаки. Через дорогу нелепо пестрела реклама нового фильма на здании кинотеатра. Круглая тетка плелась на отекавших ногах, таща плетеный зембель, доверху набитый овощами: среди сочной зелени рдели ядра редиски, бархатно темнели баклажаны.

— Гляди, мама, — не оборачиваясь от окна, сказала Шош, — тетка Патимат идет с базара.

— Ты не плачешь? — встревоженно спросила мать.

— Нет, мама, — сказала Шош. — Я не плачу.

— Тогда я поплачу! — возмущенно сказала мать и заскулила, завьла. Шош слушала, не оборачиваясь. По улице ехали, каждая по своему делу, машины; блестели в щедром солнечном свете их лакированные бока.

— Плач громче, мама, — сказала Шош, глядя на улицу. — А то соседи не услышат.

Уведомление о прибытии гроба с телом Зерубавеля пришло через четыре дня. Самолет, написано было в уведомлении, должен был приземлиться на Махач-калинском военном аэродроме в полночь.

А в полдень того же дня небольшая группа советских офицеров и солдат суежилась возле военно-транспортного ”Антонова”, на дальнейшей окраине дамасского аэродрома. В грузовой люк самолета втаскивали ящики, тюки и контейнеры. Отдельно от основного груза стоял на сером, в черных пятнах масла бетоне деревянный неструганый ящик. В этом ящике помещался гроб, окрашенный ”под мрамор” и похожий по рисунку окраски на дешевые буфеты в крестьянских домах

с достатком. Внутри гроба находился, согласно описи, другой гроб — цинковый: тонкостенный металлический сосуд, запаянный, со стеклянным окошечком на крышке. В сосуде, согласно той же описи, покоился прах военнослужащего советской армии Нисимова Зерубавеля.

Покончив с основным грузом, солдаты, под пристальным наблюдением офицеров, втащили в самолетное чрево гроб. От офицерской группы отделился старший лейтенант и поднялся в самолет — этот лейтенант летел сопровождающим груз. Все было проверено и подписано, можно было взлетать. Самолет, пошмелиному гудя движками, вырулил на взлетную полосу, задержался ненадолго, дожидаясь разрешения диспетчера на взлет — и вот уже пошел, пошел, набирая скорость. Вот он тяжело осел на корму, нос его задрался — и связи колес незаметно оторвались от бетонки. Зерубавель полетел домой, на Кавказ.

Проводив транспортник, начальник погрузки — средних лет майор с простым, безмятежным лицом, направился к домику военного диспетчера. Там, в домике, он подошел к полевому телефону и, оглядевшись, вызвал какой-то "Подвесной бак" "Бак" вскоре откликнулся, майор, еще раз оглядевшись и прикрывая трубку ладонью, спросил:

— Товарищ полковник? Как меня слышите?

— Плохо, — ответила трубка. — Ну, что там?

— Уехали, товарищ полковник, — доложил майор. — С Богом, как говорится...

— Документы в порядке? — осведомилась трубка сиплым полковничьим голосом.

— В полнейшем, — доложил майор. — Старший лейтенант полетел сопровождающим.

— Ну, смотрите... — напутствовала трубка. — Чтоб мне все было в порядке.

— Так ведь не воскреснет, — сдержанно хохотнул майор. — Это ведь рядом воскресали, не тут...

— Хватит болтать! — прикрикнула трубка. — О прибытии груза доложи.

— Так точно, товарищ полковник! — сказал майор и прервал связь.

Промежуточную посадку "Антонов" совершил в Ташкенте. И тут вышло у сопровождающего старлей досадное недоразумение. Лететь ему из Дамаска в Ташкент было скучно, занимательной книжки не оказалось под рукой, да и не большой охотник был тот старлей до книжной премудрости — и, посиживая на краешке гробового ящика, распечатал возвращающийся на родину старший лейтенант заветную бутылку виски "Черное и белое". Предпочтительней, конечно, было бы выпить водки — но, как говорится, чем богаты, тем и рады, и старлей вполне удовлетворился капиталистическим алкогольным напитком. В полете напиток пошел очень хорошо, нашелся и плавленый сырок, и крутое яичко — и время прошло почти незаметно. А в Ташкенте на аэродроме должен был ждать старлей верный дружок Генка и все сделать, как договорились и как не раз уже делали. Но то ли Генка подвел, то ли не в меру веселый старлей насторожил осмотрительного друга Генку — и тот, опасаясь неприятностей, взял да и слинял в последний момент, — одним словом, за всю многочасовую стоянку в столице солнечного Узбекистана ни одна живая душа не прикоснулась к гробовому ящику военнослужащего Нисимова Зерубавеля. В большой тревоге старлей допил виски, подписал, не глядя, акт о сдаче части груза и уже в полном отчаянии пошел в буфет пить пиво. Пива в буфете, как всегда, не оказалось, и мрачнейший старлей дернул водки. Надо было снова лететь, и на сей раз

родные просторы были совершенно непроглядны. Приняв спецпочту, мешки с картошкой и гарнитур финской мебели для заместителя начальника махачкалинского гарнизона, "Антонов" поднялся в воздух и лег курсом на Кавказ.

Слегка протрезвев, старлей попытался по-военному — строго и беспристрастно — оценить создавшееся положение. Положение это было хуже некуда: бывший военнослужащий Нисимов Зерубавель направлялся воздушным путем в родные места, вместо того, чтобы задержаться ненадолго в Ташкенте, как было договорено с другом Генкой. А в Махач-Кале никакого друга у старлея не было и, следовательно, гробовой ящик будет там безвозвратно передан в руки семьи. Допустить это было невозможно, но и предотвратить — сложно чрезвычайно. Окончательно запутавшись в оценке ситуации, старлей проглотил две чекушки, прихваченные на дорогу в ташкентском буфете, и беспокойно задремал на сопровождаемом гробовом ящике. Не понимая, что произошло с другом Генкой, он почему-то склонен был винить во всем происшедшем павшего смертью храбрых Нисимова Зерубавеля.

В Махач-Кале "Антонов" приземлился около полуночи. Ночь была темна, фонари — жидки, и это немного успокоило старлея. Винты пропеллеров замерли, грузовой люк откинулся. Бригада солдат-грузчиков лениво полезла в самолет.

— Это — в последнюю очередь, — указал старлей бригадиру грузчиков. — И поосторожней — это тебе гроб, а не бревно!

— Так точно! — козырнул бригадир сердитому старлею.

В успокоительной темноте ночи потащили грузчики из самолета ящики, мешки и гарнитур финской мебели для замначальника гарнизона. Потом пришла

очередь Зерубавеля.

— Вот сюда ставь! — распорядился старлей. — В стонку! Не кидай!

Гроб оттащили в сторону.

— Машину! — приказал старлей. — Кто тут ответственный за транспорт? Ты? Иди-ка сюда!

Угрюмый и неразговорчивый тип, оказавшийся ответственным за транспорт, очень оживился, узнав, что пьяный старлей сулит ему полсотни за машину.

— Я сам отвезу, — сказал он старлею. — Куда скажете, туда и отвезу.

— Тут рядом, — сказал старлей. — А потом — в морг... Сделаешь все, как надо — получишь еще пятьдесят. И чтоб — никому! Ни-ни! — старлей предостерегающе прижал указательный палец к губам.

— Не сумлевайся, старлей, — успокоил ответственный. — Могила!

Старлей усмехнулся. "Могила" — это как раз подходило к ситуации.

Ответственный ушел за машиной — и как в воду канул. Старлей понимал, что казенную машину вот так, за пять минут ни за что не достать — но нервничал и переживал, как абитуриент перед экзаменом. Настроение его совсем испортилось, когда какой-то солдатик, подойдя, сказал:

— Там, товарищ старший лейтенант, вдова бегает, вас ищет. Прикажете привести?

— Это военная тайна, ишак! — прошипел старлей. — Под трибунал пойдешь!

Как только солдатик, подобно привидению, растаял во тьме, старлей взялся за дело. Откинув крышку наружного ящика, он, кряхтя, снял "подмраморную" крышку и с самого гроба. Цинковая оболочка, в полном несоответствии с данными описи, была не запаяна. Заглянув в застекленное окошечко, старлей удовлет-

воренно улыбнулся и, нащупав шов в тонкой оболочке, развел его и сунул руки в образовавшуюся щель. Мгновенье спустя на свет божий — вернее, в божью тьму — выплыла видеомангитофонная кассета, на глянцево-коробке которой был красочно изображен негр с недюжинными половыми признаками, находящимися в непосредственной близости от разинутого рта дородной блондинки. Бережно положив кассету на землю, старлей потянулся за следующей — и извлек ее. Потом последовала более трудоемкая операция, в результате которой на асфальт лег сам видеомангитонфон в фирменной японской упаковке. Судя по действиям старлей, содержимое свинцового гроба этим не исчерпывалось — но нам не дано узнать, какие предметы там еще хранились: к старлею из темноты подошла Шош в сопровождении ответственного за транспорт и патруля, состоявшего из трех вооруженных солдат и офицера.

Отстранив качающегося старлей, начальник патруля посветил фонариком сначала на занимательные картинки порнокассет, а потом в застекленное окошечко гроба. За окошечком зияла пустота. В гробу не было трупа.

— Старший лейтенант, вы арестованы, — сказал начальник патруля.

Шош еще раз взглянула на пустой гроб, потом на негра с блондинкой — и, повернувшись, пошла через поле к зданию управления аэродромом.

Глава одиннадцатая

ВЫСОКОПАРТИЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК

В дом отца — высокопартийного человека Семена Хизкилова — Шош так и не вернулась: ради прокормления себя и дочки она пошла работать на фабрику — упаковывать мыло. Денег едва хватало на еду, но Шош как бы этого и не замечала. В своих обтрепавшихся платьях она была похожа на драгоценный камень, оправленный в медную проволоку, и от этого казалась еще прелестней, еще краше.

Девочке полагалась пенсия за отца, павшего, как следовало из похоронки, смертью храбрых на неведомой чужбине. Но с этой пенсией творились какие-то чудеса: давно уже миновали все сроки, а деньги, столь нужные, никак не приходили. Военкоматовские чиновники искренне пожимали плечами и не знали, что и думать: с таким странным случаем они сталкивались впервые. Заместитель начальника военкомата намекнул как-то Шош, что все пенсионные бумаги были уже выправлены, когда вдруг пришло указание из Москвы: приостановить. И, понятно, приостановили... Но разъяснений по этому поводу никаких не поступило.

История с гробом, набитым порнокассетами, расползлась по городу и вызвала немало пересудов. В основном интерес граждан направлен был на то, куда подевались кассеты и нельзя ли их как-нибудь посмотреть.

За этим интересом грусть по храбро павшему Зерубавелю была почти и неразличима. Занимала граждан и судьба неудачливого старлея: сколько он должен был получить — денег, и сколько ему дали — лет тюрьмы... О Зерубавеле Нисимове в этой связи забыли и думать, а если вспоминали иногда — то иронически, несерьезно.

Семен Хизкилов — в прошлом Шмуэль — отличался от рядовых граждан тем, что ему-то как-раз довелось поглядеть кассетку с негром и блондинкой: для руководящих партийных работников был устроен закрытый просмотр в кабинете председателя КГБ. Избранные смотрели бесхитростные приключения любовной пары в полной тишине, нарушаемой иногда глухими стенами и сдавленным бормотаньем. После просмотра хозяин прочитал доклад о разложении морали на Западе и происках иностранных разведок: американской и израильской. Доклад не сопровождался скупыми мужскими восклицаниями слушателей: они молча и сосредоточенно переваривали увиденное, и весьма волонтаристские решения зрели в глубь их голов, под покатыми толстыми лбами. Лишь секретарь обкома по сельскому хозяйству своим поведением омрачил обстановку: этот заслуженный выходец из народа запасливо прихватил с собой на просмотр бутылку коньяка "Двин", выпил ее в темноте, а потом, уже во время доклада, грубым храпом прервал докладчика.

После просмотра и доклада вышедшие, наконец, из сомнамбулического состояния партийные вожди дали подписку о неразглашении и мощной гурьбой направились к своим машинам. Однако отнюдь не по домам повезли их персональные шоферы. Возбужденные и алчущие, они искали выхода подкатившей страсти — и решили обсудить доклад председателя КГБ в правительственном доме отдыха, для краткости называемого

и в народе, и в верхах просто "домик" Получив соответствующие указания, шоферы завели моторы и помчались по скверной ночной дороге загород.

Немало нового и интересного узнали в ту ночь многочисленные официантки, поварихи и массажистки Домика. Обильно откушав и отпив, высокие гости повалили в бильярдный зал и устроили там оргию. Ничего в этом нового не было, и официантки с массажистками сохранили бы полное душевное спокойствие — если бы любовные действия партийцев не сопровождались непонятными выкриками на иностранном языке, а также безуспешными попытками загнать бильярдные шары куда не надо... Именно так поступал ослепительный негр по отношению к своей подруге — но проклятая капиталистическая блондинка, как видно, была выкроена совсем по иной мерке. Не столько перепуганные, сколько изумленные массажистки с официантками с визгом бегали по бильярдной: они не могли дать никому более того, чем располагали. Жаль, не догадались их пригласить на доклад председателя КГБ — а то они сразу разобрались бы в непростой ситуации и постарались бы получше. Ведь каждому советскому человеку известно, что для того, чтобы победить врага, необходимо изучить и освоить его оружие. И если грозное орудие негра вызывало лишь завистливые ухмылки, то боевые секреты дородной блондинки так и остались в ту ночь неразгаданными.

Усталые и неудовлетворенные, вожди повалили из бильярдного зала в банный. Там, во мгле и доменной жаре, в заботливом окружении вновь обретших родную почву официанток с массажистками, а также подоспевшими им в помощь поварихами, начальство занялось разговорами. Вначале со вкусом и в подробностях обсудили просмотренную кассету, желчно порицая при этом простодырых советских девушек,

трудившихся, кстати сказать, в этот самый момент в поте лица, Затем, выговорившись и разочарованно покачивая головами, перешли к местным новостям. Иногда, впрочем, этот обмен новостями совсем не к месту прерывался возгласами "А как он ей!.." и "А как она ему!.."

Семен Хизкилов наслаждался банными тропиками и золотозубой поварихой Любочкой, лежа на полке по соседству с начальником секретного отдела обкома.

— Ты вот что, Семен, — отдуваясь от жары и выпитого пива, сказал секретчик. — Ты, знаешь, того...

— Того — чего? — привычно насторожился бывший Шмуэль. — В каком смысле?

— А вот в таком, — оглаживая массажистку Тонечку, загадочно сказал секретчик. — В прямом...

— Значит, в прямом... — озабоченно повторил Семен и цепко взглянул на секретчика: не пьян ли чрезмерно? Но секретчик был пьян в меру.

— Я тебе как товарищу скажу, — продолжал меж тем секретчик. — Помнишь, ты мне шесть лет назад на день рождения сервиз подарил на двадцать четыре персоны? Помнишь? Ну, вот видишь, я добра не забываю и скажу тебе как товарищу... — Тут секретчик замолчал, и Тонечка, приняв его молчание за сигнал к действию, активизировала свои труды.

Глядя на секретчика, молчал и Семен — пока не открыл рот и не спросил:

— Это — хорошее или плохое?

— С одной стороны — хорошее, а с другой — плохое, — отвратительно щелкая вставными зубами, сказал секретчик и снова замолчал, потому что Тонечка все активизировала и активизировала свои труды.

"Что могло случиться? — встревоженно подумал Семен. — Хорошее — зарплату повысили или орден дали —

это понятно. Но плохое — что? Выговор с занесением в личное дело? Или переводят в район? Но — за что? Что я сделал? Может, стукнул кто-нибудь про взятку за прием в пединститут? Или про ту гулянку, когда рыжую эту татарочку вскрыли в три смычка? Так ведь ей заплатили тогда, папу ее устроили завмагом в Кубу, а ее саму устроили в медицинский. Нет, татарочка тут ни при чем... Охота в кремлевском заповеднике? Вот это может быть, если лесник стукнул. Если в Москве узнали, что я в их лесу оленей стрелял — мне конец. И поделом, ишаку!”

В это время секретчик еще раз застучал вставными зубами, очень сильно — и затих.

— Ты на охоте давно не был? — чуть выждав, разведочно спросил Семен.

— На какой охоте? — промывчал секретчик и вылупил на Семена глаза.

— В кремлевском заповеднике! — беспечно пояснил Семен. — Олени там, кабаны.

— Я рыбу только ловлю, — приходя понемногу в себя, сказал секретчик. — А что?

— Да так! — отмахнулся Семен. — К слову пришлось... — Нет, как видно, дело тут было не в заповеднике, иначе секретчик как-нибудь на это прореагировал бы.

— За кремлевский заповедник яйца оторвут! — убежденно сказал секретчик, и Тонечка улыбнулась стыдливо. — Вот в Кремль тебя переведут — тогда и езд, охоться.

— Правильно! — с подъемом согласился Семен. — Я тоже так говорю. А пока здесь сидим — с нас и рыбки хватит.

— Н-да... — с сомнением покосился на Семена секретчик. — Но тебе, Семен, надо подумать, крепко, так сказать, призадуматься...

— Что стряслось-то? — не выдержал Семен. — Скажи,

кончай издеваться-то!

— А я и не издеваюсь, — степенно молвил секретчик. — Я тебе только совет даю. А секреты мне разглашать не положено, я в том подписку давал.

— У меня в этом году овцы — прямо чудо, — льстиво глядя, сказал Семен. — Жирные, сочные! Хочешь, я тебе троечку пригоню прямо на дачу?

— Пятерочку, — по-деловому сказал секретчик. — И не на дачу, а на летовку... Да, Семен, жалко мне тебя как товарища — неплохой ты, все же, был парень.

— Ну?! — выдохнул Семен — боясь, но в то же время и сомневаясь: а не переплатил ли? Это так свойственно человеку — сомневаться.

— В Москву тебя вызывают, — как первую строчку некролога, произнес секретчик.

— Зачем? — нетерпеливо выстрелил вопросом Семен. Теперь, договорившись об оплате, он чувствовал себя уверенней.

— В КГБ, — сказал секретчик. — На Лубянку.

Семен молчал, сраженный.

— Там одного из заместителей Главного на пенсию сослали, — глядя безо всякой жалости, продолжал секретчик. — Может, тебя хотят на его место поставить?

— Не знаю... — не уловил шутки Семен. — Наверяд ли... Я недостойн...

— Когда овечек-то пригонишь? — озаботился секретчик. — Ты с этим делом давай не тяни, тебе ехать скоро. — За этой заботой прозрачно просквживала другая: "А вернешься ты или не вернешься оттуда — это еще не известно. Так что с овечками-то не тяни".

— Да, да... — сказал Семен. — Конечно... — И рывкнул на Любочку: — Отстань, кур-рва!

Немало нового и интересного узнали в ту ночь массажистки, официантки и поварихи Домика, немало

извели они бумаги, сочиняя назавтра отчеты председателю местного КГБ.

Председатель местного КГБ генерал Эдуард Хруцкий также был озабочен всем этим делом с гробом Нисимова Зерубавеля. Ведь это он, Хруцкий, клюнул на сионистскую приманку Шмуэля-Семена Хизкилова и по его жидовской просьбе помог Зерубавелю, мужу Шмуэлевой дочери, втереться в ряды патриотов и отправиться в братскую Сирию защищать там завоевания Октября. А жидов к этому делу нельзя было подпускать на пушечный выстрел... Теперь каждому дураку ясно откуда, как говорится, ноги растут: не помог бы генерал Шмуэлю — не поехал бы никуда Зерубавель, не поехал бы Зерубавель — его бы там не убили, не убили бы его там — не было бы гроба, не было бы гроба — не было бы и той комедии со старлеем и его кассетами. И если наверху начнут копать — а копать начнут, генерал в том ничуть не сомневался — то быстренько докопаются и до его, генерала Хруцкого, дружеского разговора за рюмкой коньяка с республиканским военкомом, в результате коего разговора сионистский прихвостень Зерубавель и отправился в братскую Сирию, героически противостоящую массивированной израильской агрессии. Ведь то, что он сделал — это все равно, что заслать в Дамаск израильского шпиона!.. Придя к этому выводу, генерал, в жизни своей не выдавший шпиона, вдруг почувствовал, что спина его похолодела, а ладони вспотели. И зачем он только взял у проклятого Шмулика конверт с пятьюстами рублями! Проклятое мягкосердечие подвело! А теперь его могут за всю эту историю снять. Или посадить. Или даже расстрелять как изменника родины и израильского резидента на Кавказе.

Что знают и что думают обо всем этом деле в Москве — это не давало покоя мягкосердечному генералу. А что-то там знали — иначе не отменили бы пенсии Шмуликовой дочке, вдове этого бандита. Конечно, знали! И еще как! Ведь двоюродный брат этого бандита — активный сионист, уже окопавшийся в Израиле, пустивший там свои корни, пропитанные ядом ненависти к родине демократии и социализма... и, самое существенное для будущего закрытого внутрикомитетского следствия по делу презренного изменника и предателя Эдуарда Хруцкого — это то, что труп его выдвигенца Нисимова Зерубавеля пропал. Нет его, трупа — и точка. И все.

В глубине души генерал Хруцкий был уверен в том, что предприимчивый старлей, прежде чем набить гроб кассетами и видеомэгнитофонами, выкинул труп героя куда-нибудь на собачью помойку, каких в братской Сирии, говорят, несметная уйма. Именно таким образом, во всяком случае, поступил бы сам генерал Хруцкий. И в этом, отдельно взятом случае пехотный старший лейтенант был, наверняка, не дурней генерала КГБ. Есть всем хочется, и пить тоже. Поэтому-то у людей голова работает хорошо — будь они старлеями, генералами или просто разбойниками с большой дороги. Итак, в результате психологического анализа и всестороннего исследования вот какая выстраивалась картина: старлей без помех избавился от трупа, набил гроб товаром и полетел на родину — торговать. В дороге он загулял от радости встречи с дорогой отчизной, и вот тут-то что-то не сработало: не планировал же он разгружать гроб посерединке махач-калинского аэродрома! Собственно, что там не сработало — это уже неважно, это забота старлея. А важно, чтоб в Москве поняли, что труп собачки поели, что был он, этот труп, и пропал только в результате преступной

халатности легкомысленного старшего лейтенанта. А вот пойдй докажи это в Москве! Они там в этот трупик вцепились, как клещи в моську. Подавай им труп, и все тут! А где он его возьмет, этот труп? Родит, что ли? Проклятый Нисимов Зерубавель, не сиделось ему дома! Торговал бы себе тихо-мирно колхозной шерстью и домашним вином — так нет, потащило его помогать сирийским братьям. Да хоть бы жида всех этих черножопых перерезали — хоть сирийцев, хоть даже суданцев с ливийцами, — ему то, генералу Хруцкому, что до этого за дело?.. Нет, полез в чужой котел дурак Зерубавель, а теперь отдуваться-то не ему — с него взятки гладки, отдуваться теперь генералу Эдуарду Хруцкому, Эдичке, как его в детстве мама называла...

Генералу было себя очень жалко. Потерев глаза кончиками пальцев, он налил себе стакан коньяка и выпил длинным залпом. Предчувствие неприятностей чрезвычайно его угнетало. Ведь крушение его карьеры означало конец не только для него одного. То, что жена Людмила Федоровна удавилась бы от позора — это еще полбеды, это потеря не большая. Но что будет с прелестной Лейлой Куртовной, которая, если ее шлепнуть ладонью по голому пузу, стреляла свежим огурцом на шесть метров, а иногда и дальше? Прознав про ее связь с преступным генералом, ее выгонят с работы и исключат из партии. А балеринка Фазу, эта бабочка, эта стрекоза? Она, правда, не умеет стрелять огурцами, но у нее есть другие достоинства — поет под гитару не хуже самого Высоцкого, к тому же природный "мышинный глаз": туда к ней не то что огурец — палец с трудом проходит. И такой вот совершенный клад выгонят из театра, и она будет порхать не по сцене, а по базарам, будет нищенствовать и, вполне вероятно, станет продажной женщиной, можно сказать, проституткой...

Вот ведь как неопишимо грустно обернутся дела, если генерал Эдичка Хруцкий окажется в могилке вместо этого бандита и пособника американского империализма Нисимова Зерубавеля.

Последним аккордом этого реквиема послужил вызов в Москву, в Большой дом, Шмуэля Хизкилова. В том, что сионист расколется, генерал не сомневался ничуть: он знал своих коллег, знал, что после их "уговоров" даже египетская мумия чистосердечно признается в том, что она пламенная сионистка. А раз так — значит, чертов Шмулик все как есть, и даже куда более того, расскажет о нем, Эдике Хруцком: и как он пятьсот рублей взял, и как помог получить выездную визу заклЯтому контрреволюционеру Мишке Нисимову — и тоже не совсем безвозмездно. Да мало ли что он там порасскажет! После этих рассказов кому хочешь и аморалку можно пришить, и взяточничество, не говоря уже об измене родине. О, эта измена родине! Ну, просто хоть через границу беги в Израиль или в какую-нибудь другую капиталистическую страну, это не важно. Если прихватить с собой содержимое секретного служебного сейфа, пожалуй, года на два жизни хватило бы, и какой жизни! Там, на растленном Западе, небось огурцами тоже умеют стрелять, и не хуже нашего... Придя к такому выводу, генерал Хруцкий ухватил себя за русые кудри и несколько раз дернул с силой. Но и от этой болезненной операции голова его не очистилась. Генерал налил себе второй стакан коньяка, выпил и с горечью подумал о том, что в стране Самого Передового Учения есть, все же, свои недостатки: нельзя, например, человеку купить билет, сесть в самолет и улететь, куда глаза глядят. Не так-то уж неправы диссиденты и другая контрреволюционная сволочь.

Оставалась, правда, еще одна возможность — зыбкая

и расплывчатая: поговорить с Семеном-Шмуликом. В конце концов, они вместе немало водки выпили, немало девушек перецеловали. Попросить его, Семена, прямо, даже в ноги кинуться, если надо: так, мол, Семен, и так, постарайся держать язык за зубами, а вали все на военкома. Военкому — да, заплатил, и в милиции заплатил полковнику Мамедову, когда Мищка уезжал. Тебе, дорогой Семен, все равно хуже от этого не будет — а меня спасешь от смерти. А я, если останусь на своем месте, тебе помогу, друг мой Семен, ты не сомневайся. Никто, кроме меня, тебе так не поможет. Даже если тебя, на крайний случай, посадят — я тебе обязательно помогу: у меня друзья есть. А, может, даже и не посадят — у меня в Москве, в следственном отделе, есть один корешок, я через него буду действовать. Спаси, друг Семен Хизкилов! Не губи невинную душу!

Но разговор этот не состоялся по независящим от генерала Хруцкого причинам: друг-сионист Семен-Шмулик Хизкилов улетел в Москву.

Семена вызвали в столицу спецдепешей: "Срочно явиться... такого-то числа... в таком-то часу... такой-то подъезд... просьба не разглашать..."

И уже наутро, с маленьким чемоданчиком (смена белья, жареная курица в газете, бритвенный прибор и — на всякий пожарный случай — новенький томик сочинений Ленина) Семен был на аэродроме. Надменно не глядя на знакомый ему персонал, он прошел в правительственную комнату ожидания и опустился в глубокое кресло, крытое красным плюшем. Тут же, как по мановенью волшебной палочки, на журнальном столике перед ним появилась бутылка боржоми, фужер коньяка и покрытое сухими струпьями пирожное "наполеон". Семен выпил, закусил и не удержал глубокого вздоха: не в последний ли раз

такая замечательная обслуга? Не придется ли теперь ждать не самолет "Ильюшин", а вагон "Столыпин", и не в правительственной комнате ожидания, а в пересыльной тюрьме? Семен еще раз вздохнул и вдруг почувствовал режущую колику в груди слева, и похолодел: "Сердце!" Такого с ним раньше никогда не бывало...

Семен посидел не двигаясь, думая о том, а не прика-зать ли сюда доставить врача — но боль понемногу отступила, ушла. "Даже если сейчас в больницу лечь, — подумал Семен, — все равно не поможет: на носилках повезут" Он легонько шлепнул ладонью по столу, и немедленно возникла у его плеча официантка. "Новенькая, — зафиксировал Семен, — надо трах-нуть". И усмехнулся краем губ: неизвестно еще, кого трахнут...

— Чаю, — велел он официантке. — Пожиже. С лимончиком.

С присвистом потягивая горячий чай из блюдечка, Семен терпеливо дожидался самолета. Спешить ему было незачем, предстоящая встреча в Большом доме не сулила ничего, кроме катастрофических неприятностей. "А хорошая, однако, девка, — жалобно подумал он, глядя на обтянутый синей юбкой крепкий задок официантки. — Кому, интересно, достанется?"

— Самолет подан, товарищ Хизкилов, — нежно-журчащим голоском сообщила официантка, склонившись над его плечом. Полуобернувшись, Семен заглянул в глубокий вырез ее кофточки — там тоже все было в абсолютном порядке — в третий раз надрывно вздохнул и поднялся с кресла.

Чем ближе подлетал "ИЛ-18" к Москве, тем гаже становилось на душе у Семена Хизкилова. Сидя на своем спецместе, отгороженном от других, общих мест, он, тем не менее, сжевал свой спецзавтрак: салат

”Весна”, филе с молодым картофелем, икра зернистая, водка ”Столичная” импортного исполнения. В груди покалывало, в висках постукивало... Под серебристым самолетным брюхом простирались сплошняком серебристые же облака, и омерзительной земли с торчащим посредине Большим домом, не было видно. ”Вот так бы лететь, — подумал Семен, — лететь и лететь. Вокруг земли лететь, она же круглая. И никогда чтоб не садиться на эту проклятую землю”. Стюардеса принесла ему плед, он укрылся и задремал.

Ему снился могильный холм. Посреди холма, внизу, виднелась высокая парадная дверь с блестящими бронзовыми завитушками, над дверью мертвенным зеленоватым светом светилась надпись: ”Лубянка, 2”. Семен вошел в эту дверь, и лоб в лоб столкнулся со скелетом, вооруженным автоматом. ”Боже, у меня ведь нет пропуска! — спохватился Семен. — Он меня сейчас застрелит!” Но никто его не застрелил. Противно и страшно стуча костями, появился другой скелет, заломил Семену руки за спину и поволок его по лестнице вниз, в подвал. Семена бил озноб, от костей скелета шел ледяной холод. ”Конец, — решил Семен. — Сейчас расстреляют”. Но скелет, подтащив его к какой-то двери, втолкнул его в кабинет. Стол стоял в глубине кабинета, и сидел за тем столом строгий скелет в генеральской фуражке на черепе.

— Мерзавец! — заорал генерал. — Почему ты всю жизнь скрывал, что ты — заяка?

— Кто? — одурело спросил Семен.

— Ты! — орал генерал. — Заяка!

— Но я не заяка, — пролепетал Семен.

— Врешь! — рывкнул генерал, и в глазных впадинах его черепа вспыхнули красные лампочки, похожие на елочные украшения.

— Никак нет, товарищ генерал, — с трудом выго-

ворил Семен. — Какой же я заика, если я не заикаюсь.

— А вот мы сейчас поглядим, заикаешься ты или не заикаешься, — сказал генерал и закурил сигарету "Марлборо". — Эй, Сидоркин!

И тотчас в кабинет вошел давешний скелет, притащивший Семена сюда.

— Сделай-ка ему аблеманс, — пуская клубы фабричного дыма, сказал генерал. — Или лучше два аблеманса.

— Будь сделано! — гаркнул скелет, и в мерзких его костяных кистях блеснули большие овечьи ножицы.

— Не... над-до... — прошептал Семен, не спуская с ножиц глаз.

— Сымай портки, — сказал скелет. — Чичас яйцы отрежем.

— А-а-а! — закричал Семен, чувствуя, как острые пальцы скелета копаются в его штанах. — Не над-до! Я в-в-в-се с-с-ка-жу!

— Сначала один аблеманс, — удовлетворенно указал генерал, — а потом уже другой.

— Чичас, чичас... — ворчал скелет, взясь.

— А-а-а! — закричал Семен, чувствуя окорачивающие ножи в промежности. — О-о-о!

— Ну, так как, — ласково спросил генерал. — Ты заика или нет?

— Заика я, заика! — поспешно сообщил Семен. — С рожденья самого. Скрывал, товарищ генерал, виноват. Больше не буду!

— Хорошо, — сказал генерал. — Иди, Сидоркин, пока. А ты, Семен, садись вот на стул — поговорим...

Но поговорить с генералом Семену не пришлось — помешала стюардесса, ласково водящая пальчиком

по его плечу.

— Вам срочная радиограмма, товарищ Хизкилов, — сказала стюардесса, протягивая бланк.

— Давай, — буркнул Семен. Он, в сущности, был рад, что разговор так и не состоялся.

”Дорогому Семену желаю счастья и здоровья в ответственной командировке, — написано было на бланке, — мысленно с тобой, Эдуард Хруцкий”. ”Есть среди них, все же, хорошие люди”, — растроганно подумал Семен и, аккуратно сложив бланк, положил его в карман пиджака.

— Коньяку? — спросила стюардесса. — С боржомом? Как всегда?

— Неси, — сказал Семен и взглянул в иллюминатор. Тучи разошлись, под крылом, внизу, лежала холодная и страшная русская земля с Большим домом посредине.

Выйдя из стеклянных дверей Домодедовского аэропорта, Семен взял такси и поехал в город. Москва, как всегда, гудела и мельтешила, была осыпана очередями, как тухлое мясо червями. По всем статьям русская столица проигрывала Махач-Кале и Дербенту.

Семен взглянул на часы — до назначенной встречи оставалось еще около трех часов. ”К Клавке, что ли, сейчас съездить?” — прикинул Семен. Но к Клавке не хотелось. ”Может, к Надьке?” Но не хотелось и к Надьке. Выйдя из машины у Метрополя, Семен вошел в сквер, критически оглядел каменного Карла Маркса, густо облепленного голубиным пометом, подумал, что в Махач-Кале такого безобразия никогда не допустили бы — всех птиц бы живо переловили — и сел на лавочку. Время тянулось через пень-колоду, побаливало левое плечо. Идти никуда не хотелось, хотелось, почему-то, домашнего кизилового

варенья. Или абрикосового меда.

— Эй, медовый! — вдруг услышал он. — Кизилковый! Сокол ясный, мужиночка бедовый!

Он обернулся на голос — рядом с ним на лавочке сидела неопределенного возраста цыганка в ярком грязном платье, с цветастой шалью на плечах.

— Чего тебе? — подозрительно глядя, спросил Семен.

— Позолоти ручку, серебряный, — предложила цыганка, — я тебе погадаю, все как есть расскажу. У тебя в груди тревога, впереди — дурман-дорога.

— Вот сейчас милиционера позову, — неуверенно пообещал Семен. — Он тебе пропишет дорогу...

— Не позовешь! — сказала цыганка. — Тебе ласка нужна, а не милиционер. Душа твоя измаялась.

— Верно, нужна ласка, — про себя согласился с цыганкой Семен. — И душа измаялась... Откуда она знает?"

— Почему? — спросил Семен. — За гаданье?

— Красенькую, — назвала цену цыганка.

— Пятерки хватит, — решил Семен и полез в карман. — Ишь, красенькую! Что я их — ворую, что ли?

— Не ворую, а рисуешь, — загадочно сказала цыганка, пряча деньги за пазуху.

— Хорошая цыганка, — подумал Семен. — Была б помоложе..." — и протянул женщине раскрытую ладонь.

Приняв ладонь, цыганка разогнула ее, размяла своими бегающими, не совсем чистыми пальцами, потом, наклонив лицо, внимательно взгляделась в нее, в ее линии.

— Эх, соколик, — зачастила цыганка, не отрывая глаз от руки Семена, — казенный дом тебя ждет, оконца там в решеточках, полы — каменные, на дверях замочки железные.

— Надолго? — упавшим голосом спросил Семен.

— Для кого час короток, для кого минута долга, — уклончиво сказала цыганка. — Но — выйдешь, выйдешь оттуда, на машине с фонарями яркими поедешь по дороге широкой.

— Куда? — с новой надеждой спросил Семен. — Ты говори — куда поеду-то?

— Куда шофер повезет — туда и поедешь, — вдруг рассердилась цыганка и отодвинулась от Семена. — В дом высокий поедешь, в белый, чистый. Девки там гладкие, мужики важные... Лети, соколик, — уже подымаясь, сказала цыганка, — пока крылышки тебе не обломали!

Но Семен никуда не полетел, а, сидя на лавочке и разглядывая побеленного голубями Маркса, размышлял над тем, что сообщила ему цыганка. Получалось так, что из Большого дома он, все же, выйдет — и это было отраднo. Про белый же дом он ничего не понял и, как ни гадал и ни прикидывал, не приблизился к разгадке ни на шаг. Однако наличие в загадочном доме гладких девок тоже радовало, а важные мужчины — это еще неизвестно, это проверить надо... Одним словом, Семен остался цыганкой доволен и о потраченных деньгах не жалел. Поднявшись с лавки и отряхнув штаны, он взглянул в последний раз на каменного Основоположника и пробормотал сквозь зубы:

— У этого дурака, что ли, спросить? Так он же свое уже все сказал, и глухой к тому же...

Побродив еще по центру, выпив для бодрости две кружки пива из бочки, Семен напрямик отправился на Лубянку.

Скелета-часового там в дверях не было, зато стоял вполне реальный солдат в фуражке с синим околышем и с тупой деревенской харей.

— Документы! — заученно обронил солдат, и Се-

мен незаметно возмутился. с ним, с Хизкиловым, так разговаривают! Но послушно вынул из кармана обкомовскую "корочку" и показал солдату.

— Вам в какой подъезд, гражданин? — снизошел спросить солдат.

— В этот, — сказал Семен.

— Тогда паспорт, — снова обронил солдат. — Для других документов другой подъезд есть.

То, что паршивый солдат назвал обкомовское удостоверение "другим документом", повергло Семена в жесточайшее уныние. Уже годы и годы никто не спрашивал у него паспорт — и вот потребовал какой-то сопляк...

Внимательно изучив паспорт и сравнив фотографию с лицом предьявителя, сопляк сверился с каким-то списком и вернул документ владельцу.

— Куда мне? — спросил Семен.

— По коридору, комната 134, — дал справку сопляк.

И Семен, чувствуя спиной холодный взгляд солдата, пошел по коридору. Искательно постучав в дверь, он услышал:

— Войдите!

В глубине кабинета стоял стол, за столом сидел — нет-нет, вовсе не скелет в генеральской фуражке, а лысый мужчина лет сорока, в штатском костюме. Со смущением Семен разглядел на столе пачку сигарет "марлборо".

— Присаживайтесь, гражданин Хизкилов, — без тени радушия в голосе сказал человек за столом. — Моя фамилия Сидоров. Давайте-ка поговорим по душам...

Семен сел на жесткий стул. Он не сомневался ни на миг, что этот тип в штатском такой же Сидоров, как он, Хизкилов — Петров или Иванов.

— Как доехали? — глядя в стол, спросил Сидоров.

— Нормально, — сказал Семен. — Как всегда... — В это "как всегда" Семен кое-что вложил: он, мол, Хизкилов, часто наезжает в столицу и по важным делам. Но Сидорова эта информация ничуть не тронула.

— Вы ответственный партийный работник, — начал разговор Сидоров, — и давайте переходить прямо к делу. Нисимов Зерубавель вам кто?

— Н-никто, — заикаясь, выдавил Семен. — То-ес-с-ть...

— Вы, что — заикаетесь? — удивленно поднял брови Сидоров.

— Заикаюсь, — сказал Семен, — то-есть, не заикаюсь...

— Ах, вот что... — сказал Сидоров. — Ну, это, собственно, ваше личное дело. Так кто же он вам, этот Нисимов Зерубавель? Подумайте и скажите.

— Ну, как... — сказал, подумав, Семен. — Он бывший муж моей дочери, а больше никто.

— Бывший? — спросил Сидоров. — Почему — бывший? Они развелись, что ли?

— Нет, не развелись, — сказал Семен. — Но он умер. Пал смертью храбрых в заграничной спецкомандировке.

— Умер, говорите? — как бы ничего не расслышав про храбрость Зерубавеля, спросил Сидоров. — А вы откуда знаете?

— Похоронка пришла, — сбивчиво взялся за объяснения Семен. — Уведомление, то-есть. На бланке министерства обороны, номер точно не помню. Там так все было написано, и даже что дочке пенсия полагается.

— А вы его, что, хоронили? — закуривая и пуская дым, спросил Сидоров.

— Нет, не хоронил, — сказал Семен. — Его в гробу привезли, а там оказались всякие вещи.

— Ах, вот как, — сказал Сидоров. — Так откуда же вы знаете, что он умер? А? Подумайте и скажите.

— Я верю министерству обороны, — подумав, сказал Семен. — Раз написано, значит, так и есть.

— А мне вы, значит, не верите? — с оттенком издевки спросил Сидоров, не повышая, впрочем, голоса.

— Вам верю, — не задумавшись, сказал Семен. — Нашему комитету госбезопасности свято верю.

— Очень хорошо! — одобрил Сидоров. — Вы с этим Нисимовым были друзья?

Семен смотрел очумело.

— Ну, вместе выпивали? — пояснил свою мысль Сидоров. — Анекдоты рассказывали?

— Анекдотов не рассказывали, — твердо сказал Семен. — Я лично ни одного анекдота не знаю, один только... этот...

— Какой? — проявил интерес Сидоров.

— Ну, этот... — замялся Семен. — Про одного, который пошел в гости к бабе...

— Ну? — еще более заинтересовался Сидоров.

— А там, у этой самой бабы, муж сидит... — сбился Семен.

— Муж, значит... — призадумался Сидоров. — И это все?

— Вроде все... — вовсе смутился Семен. — Там еще неприличные слова.

— Ну, ничего, — сказал Сидоров. — Итак, продолжим. Значит, вы с Нисимовым Зерубавелем поддерживали теплые, дружеские отношения?

— Выпивать — выпивали, — ушел от прямого ответа Семен. — Но редко. Грамм по сто, не больше. Я, вообще-то, не пью.

— Я вижу, — ухмыльнувшись, сказал Сидоров. — А почему не пьете? Бойтесь в пьяном виде сболтнуть что-нибудь лишнее?

— У меня сердце большое, — сказал Семен, вдруг снова чувствуя колотье слева и неприятную нехватку воздуха.

— Жаль, — сказал Сидоров. — Значит, вы оказывали

Нисимову Зерубавелю дружеские услуги, помогали ему? А?

— Иногда, — промямлил Семен. — Рублей по тридцать.

— Негусто! — покачал головой Сидоров. — А в Сирию кто ему устроил поездку, а? Подумайте и скажите!

— Он сам хотел... — сказал Семен. — И пал смертью героя.

— Сам, значит, хотел... — повторил за Семеном Сидоров. — Я вот, например, хочу купить дачу — а не могу: денег нет. А вот если б мне кто-нибудь помог... — И Сидоров сделал многозначительную паузу.

”Намекает, что ли? — подумал Семен. — Может, предложить? А потом обвинят во взятке и дадут лет пять... Подождем”.

— Я Зерубавеля только поддержал в его патриотическом стремлении, — сообщил Семен. — Морально.

— Он, кажется, еврей, этот ваш Нисимов? — как бы вскользь спросил Сидоров. — А?

— Не знаю, — сказал Семен. — Никогда не спрашивал. Меня национальность не интересует — лишь бы человек был хороший, наш, советский человек.

Сидоров задумался, набычился, желваки заиграли на его щеках. Казалось, он сейчас вскочит из-за стола, грохнет кулаками, мясным снарядом кинется на Семена.

— Так-так-так... — сказал, наконец, Сидоров. — Значит, чтоб наш советский человек. Очень правильная мысль... А вы сами, простите — еврей?

— Еврей, — сказал Семен и быстро поправился: — Горский еврей.

— Ну, это, знаете ли, все равно! — развел руками Сидоров. — Горский, не горский — мы же тут не в этнографическом музее. А?

— Не в музее, — вынужден был признать Семен. — Я от кого-то, кажется, слышал, от дочки, что ли, что Нисимов — еврей.

— Правильно слышали, — сказал Сидоров. — Еврей он, ваш Нисимов. А Сирия к себе евреев не пускает, и это ее личное дело. Только в исключительных случаях.

— Патриотический долг — это и есть исключительный случай, — не сдавался Семен. — Пал смертью храбрых... за Джумсахурию.. за Джахурию... то-есть, за Сирию за эту — Джумсахурия не там.

— Хватит Ваньку валять! — неожиданным фальцетом прикрикнул Сидоров. — Тоже, патриот нашелся! Спекулянт! Тунеядец!

”Проворовался Зерубавель перед смертью, — догадался Семен. — Рука не утерпела! Может, и кассеты эти — его?”

— Он подторговывал немного, — повесил голову Семен. — Но — смыл кровью.

— Про это мы еще поговорим, — многообещающе заметил Сидоров. — А как это расценить, что в документах этого Нисимова написано не еврей, а — тат? А? Что это еще за тат? Отправляя какого-то тата, мы ввели в заблуждение правительство Сирийской арабской республики.

— Не ввели! — с облегчением воскликнул Семен. — Тат — это и есть еврей!

— То-есть как? — удивился Сидоров, — это с каких это пор?

— Я имею в виду — горский еврей, — пояснил Семен. — Горский еврей и тат — это одно и то же, это даже в истории написано.

— В истории, — поморщился, как от кислого, Сидоров, — в географии... Еврей — значит, так и надо писать: еврей. Нас, русских, когда-то славянами звали — так у меня ж в паспорте не написано, что я сла-

вянин. Так или не так?

— А у нас у кого написано "еврей", — сказал Семен, — а у кого "тат". Вы правы, товарищ Сидоров, надо все к одному свести, а то неразбериха получается.

— Сведем, сведем, — прищурился Сидоров, — вы не беспокойтесь... Не в этом дело, гражданин Хизкилов! — голос Сидорова налился чугуном. — И не для того мы вас сюда пригласили, чтобы вы нам тут про историю с географией сказки рассказывали! А зачем мы вас вызвали? Подумайте и скажите!

— Не знаю, — подумав, сказал Семен.

— Ваш зять, Нисимов Зерубавель...

— Бывший зять, — поправил Семен.

— Молчать! — ударил по столу кулаком Сидоров. — Бывший или не бывший — это я лучше знаю!

— Но он же умер, — понизил голос Семен. — Пал смертью... — Выпитое пиво скопилось в низу живота и требовало выхода. Семен отчаянно хотел в уборную, но сказать об этом не решался.

— Пал он! — орал Сидоров. — Жив он!

— Ну и слава Богу, — без особой радости сказал Семен. — Вот дочка обрадуется... Бывают же ошибки!

— Обрадуется? — угрожающе спросил Сидоров.

— Конечно, обрадуется! — упрямо повторил Семен. В этом вопросе он чувствовал свою неуязвимость: дочка, узнав, что муж ее вовсе не погиб, имеет полное право радоваться. Не плакать же ей!

— Значит, обрадуется, — словно бы придя к какому-то очень важному выводу, сказал Сидоров. — Обрадуется, что ее муж Нисимов Зерубавель, предатель и изменник, дезертировал, перебежал к сионистскому врагу и потому остался в живых! Он сам сионист! И вы, Хизкилов, помогли ему предать родину!

Сидоров грохотал. Его голос доходил до Семена как сквозь слой ваты — боль разлилась по левой стороне

груди, отгородила его от криков Сидорова, от стен этого кабинета, от стен этого дома, самого Большого дома во всей стране.

— Наша агентура донесла, — грохотал Сидоров, — что предатель Нисимов Зерубавель, связанный с израильской разведкой Мосад, умышленно взорвал свой танк, ликвидировал своих боевых друзей и перекочевал к сионистам. Теперь его скрывают в Иерусалиме, и мы знаем, где он прячется! Мы найдем его! Ему заочно вынесен смертный приговор! Мы найдем всех, кто с ним был связан! Вы, Хизкилов, вы духовный отец предателя!

Услышав это, Семен схватился за грудь и медленно сполз со стула на пол.

Через минуту, по звонку Сидорова, в кабинет вошел дежурный врач в сопровождении офицера. Осмотрев лежащего, врач выпрямился и доложил по-военному:

— Инфаркт, товарищ генерал. Можно откачать.

— Идите, — приказал генерал Сидоров.

Врач вышел, повернувшись на каблуках.

— В больницу его, — приказал Сидоров офицеру.

— В нашу? — спросил офицер.

— В гражданскую, — сказал Сидоров. — Он не арестован. Я его просто немного напугал.

— Ясно, товарищ генерал, — сказал офицер. — Разрешите вызвать "скорую"?

— Действуй, — сказал Сидоров. — Твердый орешек этот Хизкилов. Нам такие люди нужны.

Цыганка оказалась права: в Боткинскую больницу Семена Хизкилова везли в большой машине с фонарями, и даже сирену включили. Эта правота цыганки была почему-то приятна Семену. Вслушиваясь в завыванье сирены как в далекую, райскую музыку надежды и жизни, он думал о том, что сказал генерал Сидоров и что, повидимому, не предназначалось для его, Семено-

вых, ушей: "Он не арестован. Я его просто немного напугал". Много или немного — это вопрос особый, но арест, посадка и расстрел, как видно, покамест не грозили Семену. Что же касается высокого белого дома, — это, наверно, больница. Сиделки там — гладкие, санитары — важные. Все постепенно становилось на свои места... Вот ведь молодец цыганка!

Происшествие с Зерубавелем не столько тревожило, сколько изумляло Семена. Что с ним там случилось, куда он делся?! В то, что зять — и, видать, отнюдь не бывший — никакой не сионист и никакой не израильский разведчик, — в этом Семен не сомневался. Сионист! Да он дальше вагона колхозной шерсти да проститутки какой-нибудь вокзальной никогда ничего не видел! Ему хоть советская власть, хоть китайская, хоть марсианская! Он в газете только одно и читал: фельетон, потому что там про жуликов пишут, таких же, как сам Зерубавель. Ему лучше чем в Союзе нигде на свете бы ни жилось: в Америке колхозов нет, там грабить надо. А это опасно: могут подшибить в схватке или посадить на электрический стул. Ну, а об Израиле и говорить нечего: что бы Зерубавель там делал? Из пулемета стрелял? Там, в Израиле, все евреи, там все уже разворовали и перепродали, Зерубавелю там делать нечего... Так где же, все-таки Зерубавель? Что с ним случилось? Этого не знает даже генерал Сидоров.

Неотрывно глядя в белый потолок кареты скорой помощи, Семен гадал: где зять, доставивший ему столько неприятностей? Единственный ответ, который приходил ему на ум, был: Зерубавель в Америке. Положа руку на давшее трещину сердце, Семен мог бы воскликнуть: Зерубавель сбежал из Сирии в Нью-Йорк, наслушавшись его, Семеновых, рассказов. Сам Семен побывал-таки однажды за океаном в составе партийной делегации малого калибра, и, сидя с зятем

за бутылкой, плел ему разные небылицы с правдой пополам. Более всего зятя интересовали цены на электротовары бытового назначения и половой вопрос. И Семен, бахвалясь, поведал Зерубавелю, как незабываема хороша была негротяночка, черная как сапог, с акульими зубами и каучуковой грудью, негротяночка, которую Семен и сейчас готов был бы устроить в Домик или даже отдать за нее партийный билет... Сообразив вдруг, что "сейчас" он уже ничего такого не может, даже билет этот самый выбросить в окошко, Семен скривил лицо и заплакал. Увидев светлые слезы на лице больного, сопровождающий врач озаботился и сказал шоферу:

— Леня, гони, а то не довезем!

Увлеченный своими мыслями и воспоминаниями, Семен не обратил на реплику врача никакого внимания. Эх, Зерубавель, Зерубавель! Ты сейчас седлаешь негротяночку, в одной руке у тебя стакан виски, а в другой — пачка долларов, полученных тобой за продажу советских военных секретов американским империалистам, — а я, твой тесть и, как выяснилось, духовный отец, еду в больницу с недоразорвавшимся сердцем. Вот она, совершенная несправедливость жизни! Я желал тебе добра, а ты ответил мне черной неблагодарностью. И единственное, чему я могу теперь радоваться — это то, что генерал Сидоров просто пошутил, назвав тебя, дурака паршивого, ярим сионистом.

"Скорая помощь" тем временем подъехала к Боткинской больнице и вкатила в ворота приемного покоя. Важные санитары подхватили носилки и потащили Семена Хизкилова куда следует. В тесной комнате на него нацепили намордник и облепили какими-то присосками, опутали проводами, как космонавта. А потом пришла и сиделка, гладкая коротышка с курносым носом, и, сказав ему "лежите,

лежите” — как будто он был в состоянии вскочить и накинуться на нее — сделала ему укол. Вскоре приятное тепло разлилось по членам больного, и он уснул беспокойным сном.

Проснулся Семен в другой палате — попросторней и попроще. Не было там страшных пыхающих машин непонятного назначения, и на подоконнике торчал, как пенек, горшок с геранью. В окно, сквозь марлеву ю занавеску, било чистое солнце. На соседней койке, лежал какой-то носатый старик, не подававший признаков жизни. ”Помер, кажется, — не без злорадства подумал Семен. — А я — жив!” И приятно было лежать вот так, без намордника, и сунутая в вену трубка почти не мешала.

Однако вскоре пришла сиделка — не та, вроде бы, что вчера или позавчера (Семен потерял счет времени) — но тоже очень гладкая, и сказала:

— У вас первый инфаркт, вы еще молодой больной и неопытный. Вам вставать нельзя, а шевелиться можно, но мало. Если захотите пи-пи, позовите меня — я вам судно дам.

Крахмальный халат сиделки был надет прямо на голое тело.

— А коньячку можно? — спросил Семен. — С вами?

— Когда выздоровеете, — мило улыбнулась сиделка.

— А как вас зовут? — не отпускал девушку Семен.

— Таня.

— Танечка! Вот имя какое хорошее, и волосы тоже очень красивые. — Как всякий восточный человек, Семен был неравнодушен к блондинкам.

— Если вас кто-нибудь будет угощать, вы не пейте! — погрозила пальцем Танечка. — Вам категорически нельзя!

— Ничего мне нельзя... — игриво вздохнул Семен, похожий после всего перенесенного на общипанного

носатого ворона. — А колечко можно на пальчик подарить?

— Можно, — быстро согласилась сиделка. — А правда, что вас оттуда привезли? Ну, сами знаете?

— Правда, — сказал Семен.

— Ой! — сказала Танечка, простая русская девушка.

— Это потому, что я большой начальник, — важно пояснил Семен. — Я тебя ко мне на Кавказ приглашу. Приедешь?

— Конечно, приеду! — сказала Танечка.

Из своего прошлого богатого опыта Семен знал, что девушек лучше приглашать на неопределенный Кавказ, чем в конкретную Махач-Калу или Дербент. Кавказ волшебен пах морем и шашлыками, а Дербент вонял чесноком.

— Значит, договорились, — подытожил встречу с сиделкой Семен.

Желтый старик оказался вполне живым и разговорчивым человеком. Он служил где-то лифтером, и это обстоятельство было неприятно Семену: он уж и не помнил, когда лежал в общих, неведомственных больницах с разными там лифтерами. Лифтер дядя Костя, ничуть не заботясь о том, слушают его или нет, тянул бесконечную историю о каком-то Николае, который украл из лифта зеркало, а вину свалил на дядю Костю, а когда дядя Костя пошел жаловаться в милицию, подстерег его и, затащив в бандитскую подворотню, долго бил руками и ногами. В результате побоев дядя Костя испытал сильное сердечное волнение и попал в больницу. Выслушав эту историю раза три, Семен попытался перевести старика на другие рельсы — игривые. Но и рассказы дяди Кости о любовных приключениях оказались совершенно неинтересны: в них фигурировала какая-то дворничиха Стеша, вдова, которую дядя Костя "валял" в отда-

ленные от наших времена. Отвлекаясь от вдовы Стеши, дядя Костя вскорости перешел на собственные мужские достоинства, весьма, по его словам, впечатлительные — и это слушать Семену было неприятно. Протряся языком до вечера, болтливый старик, заговорщицки подмигнув Семену, достал из больничного шлепанца чекушку, перекрестившись, выпил ее из горлышка и уснул глубоким сном довольного прожитым днем человека.

А к Семену явился гость.

— К вам гость! — объявила сиделка Танечка и ввела в палату Эдуарда Хруцкого, в штатском.

— Ну, к тебе пройти трудней, чем ко мне! — подмигнув Семену, сказал Хруцкий и присел на краешек Семеновой койки. — Пришлось документ показывать, инкогнито, так сказать, распечатывать.

— Что?! — всполошился Семен. — Поставили охрану?

— Какая там охрана! — махнул рукой Хруцкий. — Сестричка эта тебе охрана. Везет тебе, Семен, на баб!

— Да, правда... — согласился Семен — За радиogramму тебе спасибо. Ты настоящий друг, Эдик.

— Ну, а как же иначе! — притворно удивился Хруцкий. — Я ведь за тебя беспокоился... А тут в Москву вызвали по служебным делам, так я сразу — к тебе.

— По служебным? — подозрительно покосился Семен. — Обо мне справки наводили?

— Ни-ни, — успокоил Хруцкий. — А тебя, что — сильно трясли?

— Еще как! — с горечью сказал Семен и вжал голову в подушку.

— Да ты не волнуйся, — незаметно отодвигая звонок вызова сестры, сказал Хруцкий. — Тебе же нельзя.

— Как же, не волнуйся! — продолжал Семен. — Ты же сам знаешь, как они там у вас разговаривают.

— Да, к ним попасть — не дай Бог! — поддакнул

Хруцкий.

— Вот-вот! — сказал Семен. — Они мне клеили сионизм и что Зерубавель, дурак этот — сионист и шпион.

— Пугали, — с уверенностью в голосе сказал Хруцкий.

— Вот-вот, — повторил Семен. — От такого пуганья меня потом сюда приволокли... Шпион, говорят, твой Зерубавель, он товарищей своих замочил, а сам в Израиль убежал... Я как это услышал — чуть на месте концы не отдал. Представляешь?

— Представляю, конечно, — сказал Хруцкий. — А кто тебя допрашивал-то?

— Сидоров какой-то, генерал, — сказал Семен. — Чтоб он сдох.

— Псевдоним, — сказал Хруцкий. — На каком этаже?

— На первом, — сказал Семен.

— Понятно... — сказал Хруцкий, еще дальше отодвигая ногою сигнальную кнопку вызова. — Про меня не спрашивали? Через кого, мол, Зерубавель в Сирию попал? Еврей, мол — а попал?

— Спрашивали, — сказал Семен, и в полутьме вечерней палаты Хруцкий побледнел, как мел. — Я ему говорю — он же тат по документам. А он, Сидоров этот, даже не знал, что это — тат.

— Ну, и что дальше было? — спросил Хруцкий.

— Я ему тогда и говорю, — продолжал Семен, — что тут нет никакого обмана братской Сирии, а только досадное недоразумение: они, мол, там тоже не поняли, что тат — это горский еврей.

— Молодец! — с восхищением сказал Хруцкий. — Я б и то лучше не придумал.

— А он, — волнуясь, продолжал Семен, — Сидоров этот, как начал орать: ты, мол, сам фашист или вроде этого, ты его специально туда устроил! Мы тебе, мол, покажем кузькину мать!

— Это мы умеем, — прищурился глаза, сказал Хруцкий. — Меня, значит, не вспоминали?

— Говорю же, что нет! — раздраженно сказал Семен. — Он спрашивает: "Как Нисимов Зерубавель в арабскую страну попал?" А я ему: "Он сам хотел, в связи с братством народов и патриотическим долгом". А он опять орет, Сидоров этот: "Ты мне, мол, Ваньку не валяй!" А я ему: "Никакого я Ваньку не валяю, я правду говорю: он смертью храбрых пал, герой, можно сказать, я сам читал в похоронке". А генерал этот сучий зубы скалит и говорит: "Ничего он не пал, жив он, твой шпионский зять"... Скажи, Эдик, где Зерубавель? Ты знаешь?

— А хрен его знает, где он! — беспечно отмахнулся Хруцкий. — Я вот что тебе хотел сказать, Семен... Ты только возьми себя в руки, будь, можно сказать, мужчиной, как всегда...

— Что?! — вытянулся на койке Семен.

— Или, может, на-потом это оставить? — усомнился Хруцкий. — Я тебя просто как товарища хочу предупредить.

— Да говори же! — взмолился Семен. — Все говори!

— Дело вот в чем, — посерьезнел Хруцкий и наклонился к Семенову восковому уху. — Ты ведь военкома знаешь: он мужик трусливый, перестраховщик. Ну вот, он боялся, что ты стукнешь на него на допросе — что он тоже Зерубавелю помог, и накатыл на тебя донос.

— Какой донос? — прошептал Семен.

— Что ты в кремлевском заказнике оленей стрелял, — сказал Хруцкий. — И еще приписал для верности: Семен, мол, Хизкилов болтал, что он ничем не хуже Генсека: тому мол, можно — и мне, мол, можно.

— Боже мой... — прохрипел Семен. — Я пропал...

— Приказ пришел, — еще ниже наклонившись, ска-

зал Хруцкий: — Тебя с работы сняли и из партии исключили.

Семен дернулся, как будто его ушибло током. Трубка выскользнула из его вены. Хруцкий внимательно вслушался, как последний хрип утонул в его горле, подождал еще немного — и, придвинув сигнальный звонок, нажал на кнопку вызова.

Глава двенадцатая

ПИСЬМО

Подступало лето, бугенвиллии сбросили алые цветы с голых ветвей, на смену цветам появились нежные молодые листья. Кошки перестали давать свои умопомрачительные концерты по ночным дворам, а шакалы все стонали и плакали в духоте ночей. Обыватели подымали головы с пропотевших подушек и испуганно пялили во тьму налитые сном глаза, а буйно-головые не обращали внимания на грустные песни зверьков и спали спокойно.

Работа над "Дневником" Йехескеля продвигалась медленно: Мишка быстро уставал, у него начинала кружиться голова; давали себя знать последствия контузии. Но эти образы — танк, куст, холм — совершенно перестали его преследовать. Недавнее прошлое как бы расплылось, исчезло в дымном мареве, а Кавказ словно бы уменьшился до калейдоскопического размера, превратился в набор подсвеченных солнцем цветных стеклышек... Просыпаясь в доме Йекутиэля отдохнувшим и бодрым, через два-три часа Мишка вдруг скисал, его вновь клонило ко сну в его тихом кабинете в Яд-Вашем. Это состояние ни от кого не укрывалось — ни от сотрудников института, ни от домашних. Мать Йекутиэля, старуха Лилит, так определила состояние мающегося родственника: "Вой-

на тут ни при чем. Ему жениться надо”.

А сам Мишка не задумывался ни над будущим, ни над прошлым. Он отказался возглавить клуб-музей выходцев с Кавказа, почти перестал звонить в Дербент и Махач-Калу — друзьям-отказникам, дожидаясь его ободряющего слова. Он не жил, а существовал, как капуста на огородной грядке. В нечастые наезды домой Йекутиэль глядел на племянника озабоченно, но советов не давал и вопросов не задавал. Как-то раз, наслушавшись сетований старухи Лилит, он позвал Мишку и закрылся с ним в своем домашнем кабинете.

Сидя перед дядей, Мишка оглядывал стены комнаты, завешанные оружием и картинами военного содержания. Только на одной из картин изображен был мирный пейзаж: на фоне зеленых гор и далекого моря сверкал ледяной белизной тяжелый шлем Казбека. Картина висела на старинном персидском ковре, по обе ее стороны серебрились дамаскские сабельные клинки, а внизу строго чернел длинный кавказский кинжал в кожаных, скупо отделанных серебром ножнах.

— Ну, как дела? — помолчав, спросил генерал. — Скучаешь, говорят?

— Нет, дядя, — сказал Мишка.

— В кино ходишь? — разведаль генерал.

— Давно не был уже... — сознался Мишка.

— Молодые люди в кино должны ходить! — указал генерал. Ему куда легче было командовать дивизией чем вести воспитательные разговоры с племянником.

— Так я ведь телевизор смотрю! — защитился Мишка.

На это Йекутиэль не знал, что возразить.

— Хочешь за границу съездить? — снова помолчав, спросил генерал. — Во Францию или там в Грецию?

— Не хочется что-то... — сказал Мишка. — Я лучше

здесь побуду.

— Ну, это как хочешь, — согласился генерал. Он, объездивший мир с секретными военными заданиями, тоже ни с того, ни с сего не поехал бы ни в Грецию, ни во Францию.

— Я тут в саду у вас сижу, — сказал Мишка. — Тихо, хорошо.

— Чего там в саду сидеть! — поднял брови Йекутиэль. — Это не дело! — Сам генерал ни за что не стал бы переводить время на сидение под апельсиновым кустом. — Ты вот что, Мишка: бери машину, поезжай в Акко на денек, навести товарищей. — И, уловив в лице племянника сомнение, добавил твердо: — Это приказ!

— Хорошо, — сказал Мишка. — В пятницу поеду.

— Деньги возьми в столе, сколько тебе надо, — сказал Йекутиэль. — Повеселись немного, погуляй. В воскресенье вернешься — сядешь за работу.

— Слушаюсь! — сказал Мишка без военного подъема, и Йекутиэль подумал: "Права мать, жениться ему надо".

Проезжая через Хайфу, Мишка завернул на Кармель, посидел там в кафе за чашкой кофе, поглядел на море, а потом зашел в магазин игрушек и, долго не выбирая, купил там куклу — для Хевцибы. Он вспомнил о Хевцибе в тот самый момент, когда Йекутиэль приказал ему ехать в Акко, и это воспоминание оказалось приятным. Действительно, хорошая девушка, раздумывал Мишка, вертя в руках куклу. Хорошая, послушная. Может, жениться на ней, детей завести? Не все ли равно, в конце концов, на ком жениться! Раз надо — значит, надо, все так говорят. Телевизор купить, или что там еще полагается в этих случаях. Чем Хевциба хуже, чем какая-нибудь Ривка или Ави-

ва? Да ничем, все у нее есть, что нужно мужчине. А Шош — Шош за тридевять земель, на другой планете. Шош, отца ребенка которой я убил собственными руками. Да ведь это ни в чьей голове не уляжется, ни в чьей душе! Это до самой смерти, до кладбища будет преследовать, как страшный сон, как ночной кошмар! До самой последней ямы, куда ложатся навечно!

Но воспоминание о Хевцибе было приятно и волнительно, и Мишка, сунув коробку с куклой в багажник машины, поехал в Акко.

В военном доме отдыха было по-прежнему сутолочно и беззаботно. Мишку встретили там, как будто он никуда отсюда и не уезжал, а отлучился всего лишь на несколько часов по каким-то своим делам и пропустил обед. Его потащили к столу, накормили — и оставили в покое. Послonyaвшись по дому и по двору, Мишка собрался уже было незаметно ускользнуть и отправиться на поиски Хевцибы — но тут ему встретился его сосед по комнате Шмулик, сержант из дивизии Голани, потерявший три пальца на левой руке.

— Ну, как ты?

— В порядке. А ты?

— В полном. Как дела?

— На все сто процентов. А у тебя?

— Будет хорошо... Слушай, Мишка, тут тебя комендант искал, письмо тебе какое-то пришло.

— Письмо? — Мишка пожал плечами. — Мне? Откуда, не знаешь?

— Почему я знаю! — сказал Шмулик. — В газете, наверно, прочитала про тебя какая-нибудь курочка — вот и пишет.

Тут Мишка опять вспомнил про Хевцибу, про то, какая у нее тяжелая упругая грудь, какая гладкая и душистая кожа — и ему захотелось поскорее увидеть девушку, рывком снять с нее все, все... Надо пойти

в гостиницу, чтобы вечера не дожидаться.

— Да, курочка, — сказал Мишка. — А где письмо-то?

— Да у коменданта, — сказал Шмулик. — Сходи, возьми у него.

Но комендант уехал в Хайфу, а секретарша его ничего не знала ни про какое письмо.

— Он к вечеру вернется, — сказала секретарша. — Часам к восьми подойди, получишь письмо это. Или завтра.

Но до завтра оставаться здесь Мишке не хотелось. "Зайду, все же вечером, — решил он. — Интересно: кто это мне пишет?"

Подъехав к поликлинике, Мишка напрочь забыл о письме. Держа подмышкой коробку с куклой, он вошел в вестибюль и огляделся, как будто договорился с Хевцибой о свидании, пришел вовремя и вот теперь ищет свою девушку, где она сидит или стоит: у входа в аптечный ларек, около обшарпанного круглого стола с несвежими журналами или под картиной "Гора Хермон". Разные люди стояли здесь и сидели, здоровые и больные, но Хевцибы не было среди них. Удостоверившись в этом, Мишка подошел к плешивому старику в соломенной шляпе и железных очках празднично сидевшему за конторкой, и спросил вполголоса:

— Хевциба где?

— Какая Хевциба? — спросил старик, как показалось Мишке, с подозрением.

— Медсестра, — пояснил Мишка.

— А ты ей кем будешь? — сурово глядя, спросил старик.

— Знакомый я, — сказал Мишка, сдерживаясь. — Ну, где она?

— А фамилия ее как? — продолжал допытываться старик.

— Слушай, дед, — опасно понизив голос и переги-

баясь через конторку, сказал Мишка. — Ты мне, давай, кончай голову морочить: кто, да почему. Говори, где она, а то я тебе сейчас ноги оторву! Ну!

— В третьем кабинете, — глядя с ненавистью, проворчал старик и, глядя в спину уходившему Мишке, добавил: — Понаехали бандиты из России, спасу от них нет! И куда полиция смотрит!

Перед третьим кабинетом торчала очередь.

— Куда? Куда? — слышались вопросы, обращенные к подошедшему Мишке.

— Я по личному делу, — решительно минуя очередь, огрызнулся Мишка и отпихнул какого-то амбала, возникшего у самой двери. — У меня ничего не болит! А ну, отойди!

В процедурной, перед кабинетом врача, Хевциба перебирала какие-то папки в выдвижном железном ящике. Увидев ворвавшегося Мишку, она опешила и открыла рот. В первый момент она, кажется, его не узнала.

Подойдя к девушке, Мишка положил куклу на стол и сказал:

— Это тебе. Здравствуй!

— Мишка... — недоуменно молвила Хевциба. — Это ты!

— Ну да, — сказал Мишка. — Ты работаешь, что ли? — В белом медицинском халатике Хевциба была прелесть как хороша.

— Мне еще пятнадцать минут осталось, — взглянув на часы, сказала Хевциба. — Даже четырнадцать.

— Вот хорошо, — сказал Мишка. — Я к тебе приехал, Хевциба. Я тебя перед входом подожду, в садике. Халат этот не снимай.

— А почему? — удивилась Хевциба.

— Так мне нравится, — не стал пускаться в объяснения Мишка.

— Я ключ возьму, — шепотом сообщила Хевциба. —

От бельевой.

— Не надо! — отклонил Мишка, но потом передумал: — Впрочем, бери.

Независимо пройдя мимо тихо негодующей очереди, он спустился в садик и сел на скамеечку. Припекало. Из Старого Акко доносился заунывный голос муэдзина. ”Жениться, что ли... — греясь на солнышке, раздумывал Мишка. — Мать тоже плешь мне проела: внуков хочу. Чего, в конце концов, искать: все одинаковые. Все равно полюбить никого не полюблю. А с этой хоть приятно...”

Хевциба не ослушалась — выскочила в халатике, ее смуглая кожа красиво контрастировала с крахмальной белизной ткани, зубы сверкали, как звезды на темном небосклоне. ”Послушная...” — удовлетворенно подумал Мишка, и колени его отяжелели в предвкушении мужской работы, и глаза отяжелели.

Глаза его придирчиво, как по собственному произведению, скользили по обнаженному телу Хевцибы и не могли обнаружить изъяна: фигура девушки была совершенна. Белый халат горкой сбитых сливок лежал на ковровом полу гостиничного номера. Опершись спиной об изголовье широкой кровати, Мишка пытливо разглядывал девушку, не испытывавшую, впрочем, смущенья.

— Иди сюда... — сказал Мишка. — Ну, иди же!

И ладони его вновь ощутили неземную прелесть женского тела, все его волшебные взлобки и впадинки, и детородную влагу и засушливость сухотравья. И бились и задыхались двое на скомканной простыне, как серебряные рыбы на снегу, и было хорошо. И спустя время несчитанное разъялись, распались...

— Я люблю тебя, — с закрытыми глазами прошептала-пропела Хевциба. — И кукла такая чудесная.

Мишка промолчал, глядя в сторону, закурил сигарету.

— Кукла понравилась? — наконец спросил он.

— Очень! — сказала Хевциба. — И глазки как у живого ребеночка... Миш, а, Миш!

— Ну?

— Скажи что-нибудь.

— Что сказать-то?

— Ты меня любишь?

— Никогда меня об этом не спрашивай, — нахмурившись, резко сказал Мишка. — Поняла? Ни-ког-да!

— Ладно, не буду, — поспешно согласилась Хевциба. — Если тебе это неприятно... Ты настоящий мужчина, тебе ничего не надо говорить...

И Мишке приятно и горько было это слышать.

И где-то вдалеке забрезжило вдруг: танк, куст, холм.

— Иди, — выдавил Мишка сквозь зубы. — Ближе!

Хевциба была послушна, как пружина в сильных пальцах.

— Знаешь что, — сказал Мишка, когда земная жизнь вернулась к ним после любви, — иди за меня замуж. Ну?

Хевциба припала чистым лбом к его плечу и, улыбаясь, заплакала.

— Ты что? — подивился Мишка. — Ну, пойдешь или не пойдешь? И кукла у тебя новая будет, через девять месяцев. А?

— Пойду, — сказала Хевциба и вдруг сделалась серьезна.

— Ну, вот и хорошо, — облегченно вздохнул Мишка. — Чего там...

— Давай через три месяца свадьбу устроим, — предложила Хевциба. — А пока просто поживем вместе, чтоб проверить. Все так делают.

— Через три — так через три, — согласился Мишка. —

И считай, что мы уже начали наш испытательный срок...
А теперь одевайся.

— А мы тут не остаемся? — спросила Хевциба. — Тут так красиво...

— Мне надо ехать, — сказал Мишка. — И в Дом отдыха к нам надо еще заскочить.

Хевциба накинула халатик, подала Мишке одежду и ботинки.

— Если б ты остался, — искательно сказала Хевциба, — я б тебе постирать успела...

— В другой раз, — сказал Мишка, поднимаясь. — Ехать мне надо.

Подбросив Хевцибу к ее дому, Мишка выехал на приморскую дорогу и погнал, и только километрах в десяти от Акко вспомнил о письме. Возвращаться не хотелось, но Мишка сбросил скорость, раздумывая: ехать назад или отложить до следующего приезда, до следующей пятницы? Мишка намеревался провести здесь конец недели с Хевцибой, поехать с ней по северу, обсудить перспективы этой странной ситуации, которая называется "испытательный срок". И почти вопреки собственным намерениям и желаниям, Мишкины руки как бы сами по себе повернули руль, разворачивая машину на узком шоссе.

Было около девяти вечера, когда Мишка въехал во двор Дома отдыха. Комендант уже вернулся, в его кабинете горел свет, но дверь была заперта, Мишка подергал дверь, постучал, сначала тихо, потом посильней. Никакого ответа. Проходившая мимо уборщица стуча сабо, спросила:

— Чего дверь ломаешь? Спроси, а потом уже ломай!.. В клубе он.

Чертыхаясь про себя, Мишка отправился в клуб. Там играл заезжий оркестрик, певица, поводя бедрами, пела о любви и о горячих губах какого-то Дани.

В зале было полутемно, коменданта трудно было обнаружить среди сотни солдат, слушавших певицу. Стоя в дверях, Мишка вполне безуспешно водил взглядом по рядам голов. А певица, покончив с Дани, перешла к другой теме: тот, кто попусту тратит время, вместо того, чтобы заниматься любовью — тот теряет все. "Да это вроде про меня! — даже изумился Мишка. — Это я тут торчу, вместо того, чтоб лежать с Хевцибой под одеялом. Какой же я, действительно, дурак! Почему не остался в гостинице? Куда меня черти несут? И девочка бы порадовалась: "Тут так красиво!" Сейчас найду коменданта, получу письмо и поеду обратно к Хевцибе. Это даже здорово: сделать ей сюрприз".

Но певица все пела, и комендант все не проявлялся. Мишка уже решил уходить, а за письмом явиться завтра, когда, наконец, в зале зажегся свет. Комендант сразу нашелся, и узнал Мишку, и спросил, как его здоровье, и как здоровье генерала Йекутиэля Адама. Получив стандартные уверения в том, что "все в порядке на все сто процентов", комендант повел Мишку в свой кабинет.

— Да, было тебе письмо, — сказал комендант. — Но куда я его дел?

— Не знаю, — хмуро ответил Мишка.

— А, может, я тебе его отдал? — высказал предположение комендант.

— Нет! — твердо заявил Мишка.

— Тогда, значит, оно где-то здесь! — решил комендант, вороша груды бумаг на столе и бессистемно выдвигая ящики. — Я его как сейчас помню, марка еще там была какая-то интересная.

— Интересная марка? — удивился Мишка. — Откуда письмо-то?

— Да я не знаю! — сказал комендант. — Из-за границы откуда-то, только не из Америки.

— Тогда я подожду, — зловеще вымолвил Мишка, усаживаясь на диван. — У меня время есть.

— Может, лучше завтра? — предложил комендант. — А то темно, днем-то видней.

— Вон лампочку можно еще одну зажечь, — сказал Мишка.

Письмо отыскалось на полке с видеокассетами.

— Это я его на виду оставил, — пояснил комендант, — а потом уже забыл. Держи, друг! Откуда письмо-то? Письмо было из Дербента.

Выйдя в коридор и отыскав безлюдный уголок, Мишка вскрыл конверт, развернул листок и прочитал:

”Дорогой Мишка! Столько времени тебе не писала — руки не подымались, а теперь вот собралась. У меня в жизни все перевернулось: папа скоростижно умер, Зерубавель погиб в армии, говорят, что ”пал смертью героя”. Я осталась с маленькой дочкой на руках. Мама болеет, не выходит из больницы. И вот я решилась попросить тебя: пришли мне вызов. Это тебя, разумеется, ни к чему не обязывает, ты просто сделаешь мне огромное одолжение. Я найду себе какую-нибудь работу, буду просто жить, растить ребенка. Мне очень плохо, Мишка. Лучше б я умерла, когда отец отправил меня из Дербента; мне и сейчас жить не очень хочется... Дойдет ли до тебя это письмо? У меня и адреса твоего не было, я случайно услышала о тебе в передаче израильского радио — что ты после какого-то подвига отдыхаешь в городе Акко. Если, все же, получишь это письмо, ответь, пожалуйста. И прости меня, если можешь. Шош”.

Мишка закончил читать, сложил письмо, спрятал в карман. Вышел на улицу пружинящей походкой, сел за руль. И, забыв обо всем на свете, погнал в Иерусалим.

Бедная красивая Хевциба.

Глава тринадцатая

СКАЗАНИЕ О ВУЛЬФЕ БРУБЕРЕ

Вульф Брубера знал об израильском житье-бытье Мишки Нисимова несколько больше, чем Мишка — о ссылочном сибирском сиденье Вульфа Брубера. Это было и естественно: в деревянной развалюхе, лишь в силу традиции называвшейся "изба", в красном углу хрипел и мурлыкал с утра до ночи транзисторный батарейный радиоприемник: электричество в деревню Дальний Погост еще не провели. Этот волшебный ящик, сработанный хитромудрыми японцами, и принесил Вульфу новости со всего света, и то, что услышала Шош, услышал и Вульф.

Сибирское ссылочное сиденье, по разумению Вульфа Брубера, обладало и определенными преимуществами: грязные волны радиоглушителей сюда не домахивали, климат был весьма здоровый, и, кроме того, ссыльного Брубера никто не мог обвинить в тунействе, потому что в деревне Дальний Погост делать было решительно нечего: ни фабричная труба не коптила тут небо, ни колхозная живность не хрюкала и не мычала: не было здесь и колхоза. Центральная усадьба колхоза им. Сергея Лазо была расположена в деревне Ближний Погост, километрах в сорока от Погоста Дальнего. Связывала деревни таежная дорога, похожая больше на тропу, чем на транспортную ар-

терию. Магазин, правда, размещался тоже в Ближнем Погосте, а бани не было и там. Судьба жителей Дальнего Погоста находилась, таким образом, в их собственных руках — советской властью здесь и не пахло по причине отсутствия даже завалящего милиционера. Преклонного возраста немногочисленные дальнепогостцы жили как белки или бурундуки, заготавливая впрок грибы, ягоды и кедровые орешки. Случалось у них в котлах и мясо, но нечасто. Хмельные напитки они также не обходили стороной: варили медовую бражку, а вонючий самогон гнали из покупного сахара, для приобретения которого раз в два месяца налаживали конную экспедицию в Ближний Погост, в магазин. Попутно прикупали там и прочие необходимые вещи: спички и керосин, охотничью снасть, чай и соль. Впрочем, дальнепогостцы могли обойтись и без всего этого, и безбедно просуществовали бы натуральным хозяйством. И если б неведомые враги захватили бы вдруг Ближний Погост, а вместе с ним и весь Советский Союз, закаленные граждане Погоста Дальнего затворились бы в своем медвежьем углу и сидели бы там, не кланяясь захватчику, до самого второго пришествия.

Поскольку медвежья охота не привлекала Вульфа, то он прокормления ради разбил огород около своей лачуги. Девственная земля охотно рожала картофель и лук, редьку и морковь. Из очередной сахарной экспедиции привезли Вульфу по его просьбе бидон подсолнечного масла, и зажил ссыльный почти по-царски, не хуже твоего Ильича, томившегося шестьдесят лет назад в какой-то тысяче километров отсюда. Ильичу, правда, царская казна регулярно выдавала баранов, но времена ведь меняются, и Вульф, баранов ни от кого не получавший, вскоре отыскал для себя хлебное необременительное занятие: по вечерам, когда окрест-

ный мир набухал тишью, Вульф пересказывал деревенщине романы Дюма и Стивенсона, Буссенара и Марии Шкапской. Всякий труд требует вознаграждения, и деревенщина расплачивалась с рассказчиком то коровьим маслицем, а то и мясом — говядиной, а чаще дичиной. А сидеть антисоветчику Бруберу в деревне Дальний Погост было всего-ничего: два года.

Но истории про Монте-Кристо, разбойников и пиратов иссякли, вместе с ними иссяк продовольственный ручеек — а своей головой сочинять приключения беззаботных и лихих людей Вульф не умел. Тогда он рассказал бедовым бабкам и разбойным дедкам собственную историю, историю своей жизни:

”Я, знаете ли, еврей, дорогие товарищи. Слыхали вы когда-нибудь про такое? Ну, вот, я и есть самый настоящий еврей, хотя отец мой, как ни странно, был украинцем. Я вижу, бабка Палаша, ты крестишься и сплевываешь через левое плечо — от нечистой силы. Но ты можешь не плевать: нет у меня ни рогов, ни хвоста, как у черта. И если ты, бабка, никогда в жизни не видела еврея, откуда же ты знаешь, что у него есть рога и хвост? Твоя бабка тебе рассказывала? Ну, что ж, значит, она заблуждалась... Итак, мой отец был украинцем, хотя звали его Моисей. Это тоже не чудо: вон, деда Емельяна фамилия — Моисеев, а он, сколько я понимаю, не еврей, а совсем наоборот. Откуда, вы спрашиваете, среди русских взялись Моисеи? Из Библии, дорогие товарищи, из Библии. Я вам об этом как-нибудь в другой раз расскажу... Так вот, родом семья наша с Украины, из Киева — слышали о таком городе? Нет? Ну, не важно. Отец крестьянствовал когда-то, вот, как вы тут, потом пошел в техникум учиться, в город, и познакомился с моей будущей матерью. И полюбил ее — на ее и на свою беду. И, на свою беду, она его полюбила.

Когда ее родители, верующие евреи, узнали, что дочка выходит замуж за нееврея, за гоя — они надели траур, как по умершей. Ты, дед Касьян, не ужасайся: у каждого народа, знаешь ли, свои представления о мире, свои привычки. Мне, между нами говоря, это тоже не по душе: если не еврей, то уж и траур, как будто умер человек. А вышло-то так, что они траур надели — верно, семь дней на полу просидели не зря.

Итак поженились — ни к раввину не пошли, ни к попу. Сняли комнатку дешевую на Подоле. Отец курсы какие-то закончил ветеринарные, мать учительствовала. Я родился — назвали меня Володей, в честь Ленина. Вульфом я уже потом стал, по собственному, так сказать, разумению и желанию... Так и жили — не хуже, а лучше других: любили друг друга. Перед самой войной сестра у меня родилась, и это еще счастья прибавило семье. С Подола перебрались поближе к центру, в комнатку попросторней. Как-то поехали в отцовскую деревню, к родителям его. Деревенька красивая, хатки белые, сады повсюду. Родители отцовские, дед мой да бабка, на мать мою смотрели, как вот бабка Палаша — на меня: где хвост у жидовки? Как будто она не человек, а зверь или того хуже. И недели мы там не прожили, как мать чемоданчик свой собрала — и вон, обратно в город: не могу, мол, чувствую, что ненавидят они меня, убили б, если б смогли. Но — не могли еще...

В сорок первом, летом, пришли немцы. Отца в армию не забрали по инвалидности: лошадь копытом ему колennую чашечку выбила, он прихрамывал. Об эвакуации, о бегстве никто и не думал — ну, как пришли немцы, так и уйдут. А что мама еврейка — так ведь папато зато украинец, он ее защитит. И ее, и детей.

Работы у отца с приходом немцев не уменьшилось: скотина она и есть скотина при любом режиме, яйца

жеребцу рубят и при Сталине, и при Гитлере. С самого утра, с сумкой ветеринарных инструментов, отец ушел из города, бродил по деревням. Потом конь у него появился, под кавалерийским седлом. "Это немецкое седло, — всполошилась мать, — военное! Вот тут, смотри, номер. Может, его украли со склада! Тебя за это арестуют!" Отец глянул в сторону, ухмыльнулся: "Не беспокойся, у меня справочка есть". Какая-то такая справочка, он распространяться не стал, только ясно было, что та справочка — от немцев, от немецкого начальства. Что общего у отца может быть с немцами, мы себе представить не могли. Помню только, мать сказала: "Если он связан с немцами, значит, нас не тронут". А я подумал: "Выходит дело, немцы нас вот-вот начнут "трогать". А если отец как-раз будет в отлучке? Или справка его недостаточно могучая? Может, лучше всего сбежать отсюда, пока не поздно?" Но это я про себя так подумал, а матери ничего не сказал.

Как-то раз отец привез домой целую гору продуктов: мяса, рыбы, овощей. "Гости будут, — сказал он маме. — Приготовь ужин на все сто! Еврейское тоже можно что-нибудь: фаршированную рыбу, цимес, — они это любят".

Мать целый день хлопотала в кухне, а я гонял по улицам с приятелями — такими же мальчишками, как я. Такими же — да не совсем: они были украинцами, русскими — чистокровными. А я, выходит дело, был получистокровным, или, если с другой стороны на это взглянуть — полугрязнокровным. А немцам эта моя половинка вообще не учитывалась — я для них был полностью "гязнокровным", евреем, жидом.

Во дворе какого-то разрушенного бомбежкой дома мы искали осколки и стреляные гильзы и надеялись, конечно, найти что-нибудь более ценное: клад, напри-

мер. Вымазанные в грязи и пыли по самые уши, мы присели отдохнуть на груде мусора. "Жидам крышка приходит, — отламывая мне от своего ломтя хлеба, сказал Коська Хоменко, — всех скоро переведут". Коське как-то в голову не приходило, что и я — еврей. "Куда переведут?" — не понял я. "Куда!.. — знающе ухмыльнулся Коська. — На тот свет — вот куда". Я спросил: "За что?" Коська взглянул на меня, как профессор на школьника: "Да за то, что они жидами родились" И я поперхнулся присыпанным горьковатой солью коськиным хлебом.

Вечером пришли гости — четыре немецких офицера, с ними две девушки-украинки, секретарши какие-то из немецкого учреждения. Отец завел патефон, поставил пластинку. Стол ломился от блюд — мама постаралась наславу. В центре стола красовалось блюдо с огромной фаршированной щукой, и красный хрен багровел в вазе. Один из немцев отведал рыбы, усмеялся:

— Еврейская щука, а?

— Так точно, — сказал отец. — Это, так сказать, сюрприз: мы берем у евреев лишь то, что заслуживает внимания. Вкусно?

— Очень, — согласился немец.

— У нас на Украине, — продолжал отец, — еврейская кухня очень популярна.

— Ну, как же! — проявил знание предмета другой немец. — Это потому, что жида у вас на шее триста лет сидели!

Мать стала белой, как мел. Отец незаметно толкнул ее ногой под столом.

— Спасибо вам, — сказал отец, — вы нас от этого груза избавили.

— Не только вас, — важно разъяснил немец, — но, прежде всего, себя. Этот народ заслуживает истребле-

ния, так же как их кухня, — он хохотнул, по-петушиному задрал голову, — заслуживает сохранения.

— И от их жратвы, и от них самих чесноком несет, — заметил третий немец. — Ваша супруга, — он пристально взглянул на отца, — как истинно славянская женщина, в эту рыбу чеснок не положила.

— А хрен хорош! — вытирая глаза платком, сказал первый немец. — Мы, европейцы, к такому крепкому не привыкли — аж глаза режет.

— Давайте выпьем нашей украинской горилки с перцем, — сказал отец, уводя разговор от опасной темы. — Она куда крепче жидовского хрена!

Мужчины и их девушки выпили. Мать, сидя окаменело, не прикасалась ни к чему. Разговор, перейдя на другие рельсы, коснулся успехов немецкой армии.

— Мы в Москву войдем еще перед зимой, — уверенно сказал второй немец. — Фюрер будет принимать парад наших победоносных войск, стоя на трибуне мавзолея. А потом, после парада, мы мавзолей взорвем, вместе с его начинкой.

— И тогда наступит, наконец, светлое будущее, — сказал третий немец. — Все будут счастливы, как сказал наш фюрер. Каждый получит свой кусок колбасы и свой кусок счастья. Я, разумеется, имею в виду чистокровных арийцев.

— Ну, наши друзья из украинцев и даже русских тоже кое-что получают, — немного поморщился либерально настроенный первый немец. — В других, конечно, пропорциях, меньше, чем мы — но все же и им кое-что достанется.

— Строго лимитированно, — твердо возразил третий. — Конина. Мыло — хозяйственное. Хлеб — черный. Белье — посконное. Масло — растительное.

— А — счастье? — тихо спросила мама.

— Это сколько угодно! — улыбнулся, как удачной

шутке, третий. — Это без лимита! Под властью Третьего Райха каждый может быть счастлив постольку, поскольку он сам этого желает. Это ведь дело сугубо личное, мы вмешиваться не будем.

— Ошибаешься! — поправил первый, у которого, очевидно, были какие-то свои счеты с третьим. — Ошибаешься, и еще как!

— Это почему? — настороженно вздернул бровь третий.

— Всеобщее счастье тоже в руках фюрера, — объяснил первый, — и только он обладает правом делить его между подданными. Немецкий солдат-освободитель в нашем светлом будущем должен получить куда больше счастья, чем какой-нибудь дикий татарин или китаец. Мир основан на неравенстве, и так и должно быть. Равенство возможно только в нашей среде, в среде арийцев.

— Я именно это и имел в виду, — подумав, согласился третий и поджал губы. — Надеюсь, ты именно так и истолковал мои слова.

— Не совсем, не совсем... — мстительно щурясь, сказал первый. — То есть, почти так, но с небольшими отклонениями. Ты, как идеологический работник с практическим уклоном, должен более тщательно подбирать слова.

— Что ж, ты совершенно прав! — не раздумывал более третий. — И я благодарен тебе за товарищескую критику.

Отец слушал эту скрытую перепалку, очумело разинув рот. Мать сидела, опустив глаза, глядя в пол. Ведь этот разговор, в сущности, ничем не отличался от разговора двух сталинских партийных чиновников на каком-нибудь собрании или инструктаже.

— Я — крестьянин, фермер, — сказал вдруг четвертый, молчавший до сих пор. — И я заявляю со всей

ответственностью: счастье пропорционально деньгам. Чем больше у тебя денег или, скажем, земли и скота — тем ты счастливей. После войны я хочу остаться здесь, на Украине. Мне здесь нравится...

— Добро пожаловать! — радушно развел руками отец. — Вот это я понимаю! Я ведь тоже крестьянин!

— Да, нравится, — не обращая внимания на слова отца, продолжал четвертый. — Земля тут хорошая, скот тучный. А услуги туземного населения должны оплачиваться в соответствии с законом, по минимальному тарифу. В большей своей части едой. В меньшей — деньгами. Мне понадобится сотня туземцев — сельскохозяйственных рабочих. Я буду специализироваться на производстве свиного мяса, шпига и мясных консервов. Через четыре года я разбогатею и буду совершенно счастлив.

— Римские императоры поощряли такую систему на присоединенных территориях, — заявил подкованный первый. — Наш фюрер развивает идеи великого Рима. Да здравствует фюрер! Хайль Гитлер! Выпьем!

— А как же мы? — состроив капризную гримаску, спросила одна из девушек. — Нам тоже, что ли, свиной пасти?

— Ты не беспокойся, — утешила ее вторая. — Мы не пропадем. Мы им детей будем рожать.

— Кому это — "им"? — вежливо осведомился третий.

— Да кому ж — вам! — не скрыла своих намерений вторая.

— Вы заблуждаетесь, дитя, — тонко улыбаясь, сказал третий. — Связи арийцев с местными женщинами будут осуществляться в специально приспособленных для этих целей помещениях, где медицинский персонал будет следить за состоянием вашего здоровья и решительно пресекать возможные последствия половых контактов.

— Так это что ж — публичный дом, что ли? — вспыхнула первая.

— Что ж, своего рода, — согласился третий. — Хотя, прошу вас учесть, в новом обществе все старые понятия будут тщательно пересмотрены. В публичный, как вы говорите, дом будут допущены лишь лучшие из вас — как по породе, так и по идеологическому профилю.

— Пока, небось, берете, что есть, — сварливо заметила вторая. — Без проверки.

— Издержки военного времени, — пожал плечами третий. — Будьте спокойны, это будет исправлено. Каждый получит то, что ему положено. Красивые и идеологически зрелые девушки будут направлены в Дома Здоровья, а уродливые и колеблющиеся будут пасти свиней, мыть полы и заниматься другой подсобной или черной работой, необходимой для развития всякого прогрессивного общества.

— Не всякого, а нашего! — снова внес поправку первый. — Существует лишь одно прогрессивное общество — национал-социалистическое, генеральным зодчим которого является наш фюрер. Иных прогрессивных обществ нет и быть не может.

— Верно, — согласился второй. — В мире существуют капиталисты, коммунисты и мы. Ну и дикари всякие, вроде негров. Еще жиды и цыгане, но они не в счет.

— О них мы не говорим! — поморщился третий. — Их участь предрешена самим ходом истории и, — он взглянул на первого, — гениальными решениями нашего фюрера. Они свое слово уже сказали, и теперь им предстоит замолчать навеки. Мы избавим от них мир — навсегда. И в этом одна из заслуг нашей национал-социалистической цивилизации, нашей германской справедливости, заботящейся о будущем всего мира.

— А я бы жидов, которые покрепче, оставлял, — высказал свое мнение практичный четвертый. — Их

можно использовать на полевых работах, брюкву, например, убирать.

— Нет! — отрезал третий. — Вопросы, поставленные самой историей перед великим германским народом, мы должны решать кардинально. Евреи должны исчезнуть с лица земли. И цыгане тоже. Они скомпрометировали себя в глазах мира. Все до единого. Без всяких исключений. Ты должен понять это и управиться со своей брюквой силами славян.

— Сильный и здоровый человек — такое же добро, как битюг, — не унимался четвертый. — Зачем же добро то переводить?

— Это опасное добро, — объяснил третий. — Отравленное. Они весь мир своей отравой заразили. Даже тебя, как я вижу.

— Ну, меня-то они, положим, не заразили, — отвел подозрение крепыш-четвертый. — Меня и не такая холера не возьмет... Если б мне десятка три крепких жидов дали на ферму, я бы их использовал очень продуктивно.

Отец снова завел патефон, зазвучала музыка и за танцами немцы позабыли о своих планах — девушки их интересовали не меньше политики... Разошлись поздно, я к тому времени уже спал в коридоре, на старом сундуке.

Наутро мать сказала мне:

— Нам надо бежать на Восток, и как можно скорей.

Но бежать мы не успели. На второй день после опубликования приказа немецкого командования об ответственности укрывателей евреев, отец повел мать, меня и сестренку в немецкую комендатуру. Я, когда увидел над комендатурой красный флаг с черной свастикой, вырвал у отца руку и убежал, а мать с сестрой отец заволок в здание. Вот так, можно сказать, закончилась первая картина моей жизни... А мать с девочкой

погибли в Бабьем Яру, под Киевом. Отец? Когда красная армия вернулась в Киев, отца арестовали за связь с немцами и он погиб в лагере. А я сначала по лесам прятался, с голоду пух, потом меня крестьяне приютили, потом к партизанам попал... Много чего было, а теперь вот я к вам в ссылку приехал, на Дальний Погост”.

Рассказ Вульфа Брубера был принят простодушными сибиряками с великим сочувствием. Вечером того же дня в его развалюху дальнепогостцы нанесли и мяса, и масла, и свежего хлеба — снеси куда больше того, чем раньше одаряли его за истории о Монте-Кристо и трех мушкетерах.

О причинах водворения в сибирскую ссылку Вульф сибирякам не рассказывал. А дело было вот как:

В один ясный зимний день, когда земля кажется покрытой белой эмалью, а небо — голубой, — в этот день Вульф Брубер устроил демонстрацию: забаррикадировав входную дверь в свою московскую квартиру, вывесил на решетке балкона лозунг с надписью: ”Отпустите меня в Израиль!” Москвичи и иногородние командировочные, шаставшие по главной улице столицы в поисках дефицитных товаров либо девочек, выпучили глаза: по слухам, никто здесь лозунгов не вывешивал ни разу с самого 17 века. Народ подгробал поближе к балкону, толпился. Большинство молча изучало белую надпись на красном полотнище, но отдельные несознательные граждане выражали как бы солидарность с неизвестным им Брубером, заявляя вполголоса: ”Хочет в Израиль — ну и пусть себе едет, нечего его тут держать” Иные же резко протестовали. ”Ишь, ты, расписался тут! Тоже, писатель нашелся! В Израиль он хочет! Посадить его — и все! Или сразу к стенке...” Облокотившись о перила балкона, над своим полотнищем, Вульф меланхолически поглядывал на

клубящуюся внизу толпу. Тем временем молчаливые, но решительные парни из спецотряда по борьбе с еврейским движением уже колотили в Вульфову забаррикадированную дверь, перемежая удары с угрозами: "Лучше открой! Открой, а то хуже будет!" Вульф, однако, на эти просьбы никак не реагировал, словно бы их и не слышал. Тогда кто-то из осаждавших прибежал к старинному проверенному методу, позаимствованному из драматических историй обороны крепостей: поднявшись этажом выше, в квартиру патриотически настроенных соседей, этот сообразительный "кто-то" вышел на балкон как раз над головой Вульфа, имея в руке чайник с кипящей водой. Склонившись над перилами, он приладил чайник между прутьями и наклонил его. Кипяток весело побежал из носика. Ошпаренная толпа внизу дрогнула и разразилась бранью: "Жиды проклятые! Людей шпарят! Петька, дай-ка вон камень! Да я б в войну такого первый расстрелял!" Осаждающие удвоили свои старанья, дверь подалась и сорвалась с петель. Вульф был, наконец, схвачен, отвезен в участок, обвинен в распространении лживой антисоветской пропаганды, а так же в членовредительстве советских людей, выраженном в обливании прохожих крутым кипятком — и сослан в Сибирь.

Сидя в Сибири, в деревеньке Дальний Погост, он из радиопередач узнал кое-что о судьбе Мишки Нисимова, своего кавказского приятеля. Он вспомнил дербентский двор, сад, проводы. "Вот бешеный кавказец! — с удовольствием подумал Вульф. — Побольше бы нам таких..."

Менее чем через год Вульф Брубер освободился из ссылки и вернулся в Москву.

А еще через месяц в его дверь, кое-как восстановленную после штурма мордатых спецотрядников, тихонько постучали.

На пороге стояла хрупкая женщина удивительной красоты, с ребенком на руках. Нежданная гостья была, несомненно, не из Орла или Курска, а откуда-то из восточных земель.

— Товарищ Брубер? — спросила восточная красавица, глядя на Вульфа огромными грустными глазами. — Здравствуйте. Я Нисимова Шошана, мне ваш адрес когда-то Миша Нисимов дал, может, вы его помните...

— Вы его сестра? — пропуская гостью в дом, спросил Вульф.

— Нет... — сказала Шошана. — Но я вам все объясню.

И вот они уже сидели за столом, и Шош, грызя знаменитые вульфовы сушки, благодарно улыбалась. Приехав в Москву сегодня утром, она явилась к Вульфу прямо с вокзала. Если б не он, она б и не знала, что ей делать... А делать надо было много чего: получать справки, оформлять разрешения и запрещения, идти в посольства за визами. И ребенок. И денег в обрез, если вообще хватит... И Мишкина фраза, сказанная годы назад: "Запомни в Москве одно имя: Вульф Брубер. Он поможет..."

Сидя против Вульфа, глядя в его доброе, чуть ироничное лицо, — Шош чувствовала присутствие здесь, в комнате, третьего — Мишки. Вот здесь, на этом стуле, он должен — должен был бы! — сидеть, и девочка — его девочка! — тихонько играла бы у него на коленях... Как же это все не по-людски, не по-Божески вышло: она, Шош, едет в Израиль одна, без Мишки, а ее ребенок — это мишкина племянница, а не мишкина дочь. А ведь все, все могло быть иначе! Не было бы никакого Зерубавеля в ее жизни, и не было бы этой чудовищной истории с его смертью, и жив был бы отец, а Мишка был бы ее мужем и ее любовью и жизнью, и вот сейчас, сидя у Вульфа, они беспечально готовились бы покинуть русскую землю навсегда, безвозвратно. Покинуть, натяги-

вая золотой канат, по которому еще пройдут, замирая над пропастью галутного страха, евреи — кавказские, российские, бухарские. Балансируя, потянутся евреи из России в Израиль. И кто-то упадет и разобьется, а кому-то дано будет добраться до родных берегов. Так говорил Мишка... А теперь все идет кувырком: Шош прилетит в Израиль — одна, с маленькой дочкой. Кто ее встретит? Куда она пойдет? Ей будет стыдно поглядеть Мишке в глаза, если она его увидит: не выдержала, пошла замуж по настоянию отца, просто предала своего Мишку! Нет, лучше совсем его не видеть, не встречаться. А ведь он, по доброте своей души, прислал ей вызов, не отвернулся. Он, наверно, уже женился давно, у него семья, дети...

— О чем вы мечтаете? — как сквозь туман, долетел до нее голос Вульфа.

— Да так... — замялась Шош. — Вспомнилось что-то...

— Ну-ну... — не стал спрашивать Вульф. — А я, знаете, с тех Мишкиных проводов так в ваших краях и не был. Все собирался, собирался — да так и не попал. В Сибирь попал.

— А мы там сидим, на Кавказе, — словно бы оправдываясь, сказала Шош, — ничего не знаем. Ну, просто ничегошеньки...

— Кавказские евреи — замечательный народ! — сказал Вульф. — Крепкий, пороховой! И ничего удивительного нет, что у них возникли кое-какие проблемы в Израиле.

— Какие проблемы? — удивилась Шош. — У нас на Кавказе об этом никто ничего не рассказывает.

— А письма? — спросил в свою очередь Вульф. — Письма о т т у д а ходят по рукам? Пишут — что?

— Разное пишут, — неопределенно пожала плечами Шош. — Одним жарко, другим холодно. Пишут, что гор высоких нет, что баранина другая. Еще пишут, что кое-кто из наших лавки пооткрывали, овощи про-

дают, фрукты.

— А что нелегко им там приходится — не пишут? — спросил Вульф.

— Ни разу не читала, — сказала Шош. — Даже не слышала.

— Вот молодцы! — воскликнул Вульф. — Гордые люди!

— Было одно-два письма, — поправилась Шош, — что, мол, работу трудно найти кавказцам, что по сравнению с европейскими евреями они там в худшем положении. Но наши старики решили, что эти письма нам ГБ подбросила.

— ГБ, — покачивая головой, повторил Вульф, — ГБ... Я тебе, Шош, кое-что сейчас расскажу, а ты Мишке передай, как его увидишь. И скажи ему: "Мишка, борись! В мире за все бороться надо, яблоки только ворью да жулю сами в ладошки падают!" Скажешь?

— Скажу... — смутилась Шош. Может, действительно, удастся передать Мишке такие серьезные вещи, поговорить с ним с глазу на глаз. А, скорее всего, не удастся.

— Ну, так вот, — продолжал Вульф. — Это все пусть между нами останется, не для чужих, так сказать, ушей... Дело в том, что группа кавказских евреев зондирует почву в Штатах — не перебраться ли туда из Израиля. А другая группа просит разрешение на возвращение в Советский Союз.

— Не может быть! — вскинулась Шош. — Наши на такое предательство никогда не пойдут!

— Все может быть, Шош, — с грустью в голосе сказал Вульф. — И не только ваших кавказцев надо винить. Да и вообще винить никого не надо — надо делать так, чтоб беды не случилось. А если кавказцы, даже десять-пятнадцать семей вернутся в Союз, это большая беда для всей кавказской алии.

— Ужас какой! — прошептала Шош. — Лучше в окош-

ко кинуться!

— Не все так думают, как ты, — сказал Вульф. — Сегодня ваши кавказцы и в Вене сидят, и в Берлине, и в Нью-Йорке. Правда, покамест немного.

— Может, они разведчики? — высказала предположение Шош. — Может, их из Израиля специально заслали?

— Все может быть, — уклончиво скосил глаза Вульф. — Но, если честно говорить — то вряд ли.

— Что же делать? — спросила Шош. — Это же позор! Позор на весь Кавказ!

— Вот слушай, — сказал Вульф. — Вы, кавказские люди, должны основать в горах Галилеи или на Голанах свое поселение, такой небольшой городок. Это, как ты понимаешь, не я придумал — это сами ваши евреи придумали. Таким образом, они считают, можно будет избежать большой беды.

— А что там будет? — с любопытством спросила Шош. — В этом городке?

— Прежде всего — горы, — сказал Вульф. — Не так жарко, как внизу. Большая часть горских евреев живет на побережье, климат там для них нехорош, окружение — тоже. Многие работают у какого-то жулика на ковровоткацкой фабрике, в очень тяжелых условиях. Это все порождает недовольство, брожение... Нужно все начать сначала — пока не поздно. И это новое начало должно быть в горах, чтоб напоминало людям те края, в которых они выросли, к которым они привыкли. Но за это в свободном обществе нужно бороться, понимаешь?

— Понимаю... — тихонько сказала Шош. — Как бороться-то?

— Ну, ясное дело, не кинжалами! — усмехнулся Вульф. — Если твой Мишка с Софьей Властьевной сумел справиться — справится и с нашими родными еврейскими бюрократами, и с политиканами грошовыми.

У Шош сердце подпрыгнуло к самому горлу: "Твой

Мишка”!

— А Мишка, — продолжал Вульф, — в армии героические подвиги совершает, а ради своих кавказцев палец о палец не ударяет. Это со многими там происходит, не только с ним: мы, мол, уже стали стопроцентными израильтянами, нас наше галутное прошлое не волнует! Так нельзя рассуждать, Шош. Мишка — самая подходящая фигура для того, чтобы заняться общественными делами, прежде всего — судьбой общины выходцев с Кавказа. Так ему и передай. И еще скажи: ”Вульф тебя об этом просит” Скажешь?

— Скажу! — встрепелась Шош. — Все скажу! Если он, конечно, захочет слушать...

— Это уже твоя забота, — сказал Вульф — Если он не захочет выслушать то, что я ему передаю — значит, ты в этом будешь виновата.

— Да... — вздохнула Шош. — Я постараюсь.

— Ты спрашиваешь — что там будет, в городе, — продолжал Вульф. — Вначале, может быть, сельскохозяйственное поселение — овцы, виноградник, производство какого-нибудь особого вина. Ковровоткацкая фабрика на десять-двенадцать станков — вы ведь в этом деле кому хотите фору дадите.

— Моя двоюродная тетка, — перебила Шош, — в прошлом году уехала, так она с собой увезла ковровоткацких узоров целую папку.

— Ну, вот видишь! — сказал Вульф. — Вот твоя тетка и пойдет работать на эту фабрику. Где она, кстати, живет — ты знаешь?

— Кто? — не поняла Шош.

— Да тетка!

— В Ор-Акиве, — сказала Шош. — она как раз на ковровоткацкой фабрике работает, у какого-то раввина.

— Нечего на чужого дядю работать, — решительно взмахнул рукой Вульф, — когда на себя можно!

— А детский садик там будет? — взглянув на дочку,

с надеждой спросила Шош. — Ну, в городе?

— Будет, будет! — успокоил Вульф. — И детский садик, и школа. И все это во многом зависит от Мишки, как он за дело возьмется.

— Я первая туда жить пойду, — решительно заявила Шош. — В наш город. А как он будет называться?

— Ну, это уж как вы решите! — развел руками Вульф. — Нью-Дербент — едва ли.

— Какой там Нью-Дербент! — возмутилась Шош. — Никто даже об этом не говорит!

— Я пошутил, — спокойно заметил Вульф. — Я от кого-то из ваших кавказцев слышал — Кфар-Йехескель. В честь героя-подводника Йехескеля Нисимова.

— Мишкиного дяди? — обрадовалась Шош.

— Его, — подтвердил Вульф. — Он ведь не только советский герой, — он еврейский герой. По-моему, хорошая идея.

— Очень! — сказала Шош. — Это тоже Мишке передать?

— Обязательно, — сказал Вульф.

— А вы к нам приедете? — с надеждой спросила Шош. — В Кфар-Йехескель.

— Если снова в Сибирь не поеду, — грустно улыбнулся Вульф. — Передай Мишке: Вульф снова отказ получил, уже после возвращения из ссылки. Но наступит когда-нибудь праздник и на моей улице. Вопрос только — когда?

— Чего они вас здесь держат... — вырвалось у Шош. — Чего мучают... Ведь столько уже лет прошло!

— Евреи ждали две тысячи лет, — покачивая головой, сказал Вульф, — придется подождать еще немного. Но мне хотелось бы в ваш Кфар-Йехескель не пенсионером приехать, а работником.

— Да вы... — не нашлась, что сказать, Шош. — Да мы...

— Ну, в крайнем случае, сторожем пойду работать на ваш виноградник, — сказал Вульф то ли в шутку, то ли всерьез. — В сторожа пенсионеров тоже принимают.

Буду сторожить виноградник и читать "Песнь Песней". Нет, лучше, пожалуй, Экклезиаста... Но это ты Мишке не рассказывай. Скажи: Вульф продолжает драться, как может.

— Я все скажу, — опустила голову Шош. — Я ведь Мишку знаю: он, если б мог, выкрал бы вас отсюда. Через границу или как там это делается.

— Ну, что ж, пусть выкрадет, — кивнул головой Вульф. — Я согласен. А то, пожалуй, я и пенсионером к вам туда не доберусь. Последнего еврея провожу — и умру тут же, на вокзале.

— Не дай Бог! — протестующе подняла руки Шош. — Если б я могла, я б вам мою визу отдала, честное слово!

— Я верю, — грустно сказал Вульф. — Но добрые намерения людей, как правило, отступают перед злыми обстоятельствами. Так устроен мир, Шош, поверь мне. И ничего с этим нельзя поделать, или почти ничего.

— Об этом я тоже ничего никому не скажу, — пообещала Шош. — Потому что иногда все-таки отступает зло.

Шош уезжала в Израиль, не возвращаясь в Махач-Калу. Весь багаж ее состоял из чемодана да сумки с продуктами — до границы, до Чопа. Провожал ее один только Вульф.

Перонные стукачи Белорусского вокзала, как видно, знали его в лицо — они переговаривались за его спиной, поглядывали понимающе. По перрону прохаживались хорошо одетые мужчины и женщины, советские чиновники и туристы — они ехали в Берлин, Париж, Женеvu. На их фоне Шош в своем простеньком бедном пальтеце, с картонным чемоданом, перевязанном для крепости веревкой, выглядела как беженка на балу. Но она

была единственной здесь, не млевшей в предвкушении европейских лавок и кабаков — и это было написано на ее матовом лице с громадными глубокими глазами. И прогуливающиеся по перрону в ожидании отправления поезда оглядывались на нее!

— Езжай, девочка, с Богом, — сказал Вульф, поднося запястье с часами к близоруким глазам. — Скажи им там, чтобы они, все-таки, не забывали про Вульфа Брубера.

Глава четырнадцатая

ПОД СЕНЬЮ ФИКУСА В КАДКЕ

В этот день Мишка явился в Тель-Авив спозаранку. Самолет из Вены прибывал поздним вечером, Мишка не находил себе места: время тянулось изнуряюще медленно. Изнывая от жары, Мишка пил стакан за стаканом грейпфрутовый сок у лотков, маялся в кафе за кофе. Потом забрел на базар Кармель, через силу съел острый, ароматный йеменский суп из говяжьих ножек, запил приторным чаем с наной. Делать было решительно нечего, время сочилось по капле, пыточно: каждая минута была — капля, падающая на Мишкино пылающее темя. Ночной аэродром с приземляющимся самолетом брезжил впереди, как мираж в пустыне... 'Около полудня Мишка вспомнил о многочисленных приглашениях заглянуть в Генеральный секретариат Общества выходцев из Советского Союза. Вспомнил — и обрадовался: можно зайти, убить час-другой.

Секретариат располагался в торжественном здании, похожем на броненосец, но облицованном не стальными листами, а беломраморными плитами. На уровне третьего этажа зияла, как глазная впадина, глубокая ниша с устроенными в ней солнечными часами: какая-то бронзовая остроугольная доска, вычурные цифры и почему-то колокольчики на цепочках. Догадаться,

который час, было никак невозможно, глядя на это сооружение.

Миновав длинную, гомонящую торговую улицу, смесившую в себе Восток с Западом и местечко с городом, набитую лавками, киосками и бедовыми торговцами, предлагающими прохожим противосолнечные очки, бухарские пиалы, японские беспощадные транзисторы и китайскую тигриную мазь, сваренную в районе Центральной автобусной станции из егупецкого столярного клея, Мишка вошел в высокий вестибюль дома-броненосца. Здесь было относительно прохладно, хотя кондиционеры и не работали: от стенки к стенке прогуливался ветерок, не предвещавший однако же, бури. На самом продуваемом месте, близ бездействующего эскалатора, торчал меланхоличный субъект с парой брюк, перекинутых через руку. К полосатой брючной штанине была приколота булавоочкой бумажка с указанием цены. Субъект едва ли был немым или очень молчаливым — ему просто лень было в такую жару вступать в разговоры с потенциальными покупателями: надежда совершить выгодную сделку была невелика.

Ничуть не удивившись бездействию эскалатора и не досадуя по этому поводу, Мишка через две ступени взбежал по лестнице на четвертый этаж. Там, на одной из высоких дверей — хоть на коне проезжай — он нашел покосившуюся картонную табличку с выполненной от руки, и весьма коряво, надписью: "Ген. секретариат вых. из СССР". Толкнув дверь, замки которой оказались сорванными, Мишка оказался в обширном зале, чрезвычайно грязном и запущенном. Разнокалиберные стулья и скамейки были бессистемно разбросаны по тому залу, на дощатой эстраде чернел концертный рояль, его лоснящиеся черные челюсти были заперты на всякий амбарный замок. Вертящийся концертный же та-

бурет стоял перед роялем, прикованный к его ноге собачьей цепью. Украсть табурет можно было, таким образом, только вместе с роялем, что представляло собою известную техническую трудность. Мишка с первого взгляда оценил обстановку и подивился предусмотрительности завхоза.

Стены в грязевых разводах также не пустовали: они были украшены картинками, вырезанными из журналов, и бодрыми лозунгами типа: "Добро пожаловать, оле!" и "Бесплатная дача юридической консультации". У всякого российского гражданина при виде второго лозунга неизбежно возникали душевные сомнения: в суд, что ли, отсюда поведут? Само понятие "юридическая консультация" отдавало хлопотами и изрядными неприятностями, вплоть до посадки.

Полюбовавшись на третий плакат "Достойнейший — в Кнессет!", Мишка по темному коридору — электрические лампочки кто-то выкрутил — вышел к молочно-белой двери со стеклянной дощечкой, на которой золотыми буквами было выведено: "Председатель". Из-за двери доносилось стрекотание пишущей машинки и девичий смех. Постучав легонько и не дожидаясь ответа, Мишка вошел.

Две девушки-секретарши помещались в приемной перед кабинетом Председателя. Одна из них стучала по клавишам машинки, а другая хохотала, прижав к уху телефонную трубку. На столе, рядом с машинкой, стояли грязные стаканы из-под кофе и жестяная коробка с сахаром.

— Здравствуйте! — сказал Мишка.

Продолжая заниматься своими делами, девушка ничего не ответила Мишке.

— Председатель здесь? — спросил Мишка.

— А вы кто? — не отводя трубки от уха, навела справку хохотунья.

— Нисимов я, — сказал Мишка. — Мне к Предсе-

дателю.

— Ждите! — объявила хохотунья, возвращаясь к прерванному веселому разговору.

Но Мишка не стал ждать. Смерив не в меру смешливую секретаршу презрительным взглядом, он шагнул к двери, ведущей в кабинет.

— Куда?! — без азарта воскликнула секретарша. — Он занят! — Но Мишка уже закрывал за собою председательскую дверь.

Председатель, известный всему Израилю активист алии по имени Яша, человек лет шестидесяти, сидел во главе обширного стола и задумчиво глядел на стоящую против него бутылку водки и куски колбасы, разложенные на газетке.

— Нисимов, — вполне дружелюбно отрекомендовался Мишка. — А вы — Яша?

— Дай я тебя обниму, сынок! — подымаясь из-за стола, сказал Яша. — Как чуяла моя душа, что ты придешь! Бери стакан!

Они выпили, глядя друг на друга, и зажевали колбасой.

— Вот, значит, ты какой, наш герой! — растроганно сказал Яша. — Пришел-таки! Ну, сейчас мы дела раскрутим! Я скажу тебе между нами, это большой секрет, государственная тайна: ожидается большая алия! И мы должны к ней подготовиться! Ты нужен нам, Мишка, ты нужен русским евреям! Я поставлю тебя во главе подготовительного комитета, сразу вслед за собой: сначала я, а потом ты! И больше нам никого не надо! Мы перевернем горы! Налей-ка еще по чуть-чуть, вот, до половинки!

Мишка налил, поднял стакан, чокнулся. Ему вдруг захотелось опьянеть, вырубиться — до вечера, до аэродрома. Но человек, сидевший против него с куском колбасы во рту, чем-то настораживал, вызывал внутренний протест. Впрочем, это было не так-то уж и су-

щественно: он, Мишка, пришел сюда не для того, чтобы подружиться с этим Яшей, рассказывающем какие-то дурацкие истории.

— Ты уже не первый день в стране, Мишка, — продолжал меж тем Яша, — ты уже успел покрыть себя славой на поле боя — а разобраться в самых простых вещах еще не успел. Ну, ничего, сынок! Я тебя всему научу, не сомневайся. Мы с тобой будем сидеть в Кнессете в соседних креслах. Для начала нам нужно сколотить группу давления, настоящую русскую мафию. Политическую, я имею в виду! Завтра же мы пойдем с тобой к Премьер-министру! Нет, завтра я не могу — у меня очередь к зубному врачу... Хорошо, послезавтра! Мы пойдем и скажем: Ваше превосходительство Премьер-министр! Мы — я, Яша и Мишка Нисимов — мы гарантируем вам на выборах пятьдесят тысяч русских голосов. За это мы требуем два места в списке, но — реальных места: двадцать третье, скажем, и двадцать четвертое.

— Почему именно двадцать третье и двадцать четвертое? — с интересом перебил Мишка.

— Потому что! — сабельно рубанул рукою воздух Яша. — Потому что надо стоять на своем! В принципе, это нам безразлично — двадцать третье и двадцать четвертое или двадцать четвертое и двадцать пятое. Но мы должны стоять на своем, и пусть Премьер-министр думает, почему именно двадцать третье и двадцать четвертое. Пусть у него болит голова — она у него большая! Именно там делается политика, и ты должен это понять как можно скорее, уже сегодня! Ты понял меня, сынок? Налей еще чуть-чуть, вот досюда, и колбасу бери. Выпьем за нашу партию, чтоб она была здорова и мы вместе с ней! Только надо действовать с умом, и все будет в полном порядке.

— Но я не хочу в Кнессет, — сказал Мишка, дивясь

тому, что еще не перевернул стол или, по меньшей мере, не послал Яшу ко всем чертям.

— В свое время я тоже не хотел в Кнессет, — грозил коротким прокуренным пальцем, сказал Яша. — А потом, в свое время, захотел. И поверь мне, сынок: чем раньше захотеть в Кнессет, тем лучше.

О Яше Реувейни, в недавнем прошлом Янкелевиче, Мишка читал книги и статьи в газетах, а еще больше слышал. В Прибалтике, откуда Яша происходил родом, он занимался добрым и хлебным делом: починял швейные машинки, преимущественно системы "Зингер", с ручным и ножным приводом. Но несправедливость жизненного устройства не давала Янкелевичу покоя ни днем, ни ночью. Он мечтал изменить мир, и это благородное стремление никак не было связано с материальными интересами. Еврейская национальная проблема была Янкелевичу, естественно, ближе других проблем, также требовавших своего справедливого разрешения. Почему, например, евреи должны встречать праздник 8 марта всеобщим ликованием, а Пейсах или Пурим им праздновать категорически не рекомендуется? Это пример вопиющей несправедливости, коей в семье братских советских народов быть места не должно. И вот Янкелевич, занавесив окна и заперев двери, пишет листовки, объясняющие природу еврейских праздников и ритуал их встречи, а также настоятельно рекомендуемые описанные праздники встречать и отмечать в торжественных условиях. Закончив кропотливую непривычную работу, Янкелевич, крадясь, как тать в ночи, разносил листовки по квартирам знакомых и незнакомых евреев и опускал их в почтовые ящики. Дальше — больше. Следуя примеру знаменитого борца за еврейские права, Янкелевич запаковал свою медаль "За трудовую доблесть" в коробку из-под леденцов-монпасье и отправил ее наложенным

платежом в адрес Верховного Совета. В сопроводительном письме он ссылаясь на опыт Фейгина, возвратившего правительству свои боевые ордена, и требовал свободы выезда для тех евреев, которые этого хотят. Сам же Янкелевич, как следовало из письма, ехать никуда не собирался и даже готов был по первому же зову партии отправиться на строительство Братской ГЭС или другой какой-нибудь Великой Стройки Коммунизма... Запечатывая конверт, Янкелевич ухмылялся мудрой ухмылкой: камуфляж — вот первая заповедь нелегальной подпольной работы. Как нетрудно догадаться, в Братск Янкелевич готов был отправиться только по приговору народного суда.

Менее чем через полгода Янкелевич был арестован и судим за распространение рукописных листовок, содержащих антисоветскую пропаганду и получил пять лет лагерей. Судьба, иногда склонная к шуткам, распорядилась таким образом, что Янкелевич отправился сидеть свой срок именно в Братск.

Просидев от звонка до звонка, Янкелевич вернулся в родную Прибалтику и со смущением узнал, что он стал национальным героем. Газеты всего просвещенного мира писали о нем, как о знаменитом борце за права человека, еврейском народном самородке и замечательном диссиденте. Ему стали звонить по телефону из мировых столиц, ему стали присылать посылки и денежные переводы для отоваривания в валютных магазинах. Он быстренько сообразил, что одному еврею на двух стульях не усидеть и публично открестился от диссидентов: он, Янкелевич, природный еврей, его интересуют еврейские праздники и беспрепятственный выезд в Израиль для воссоединения семей, а что до Советской власти — так это его ничуть не касается: этим пусть занимаются диссиденты, им тут жить, вот пусть и падут.

Когда Янкелевич отправился в ОВИР с просьбой о выезде в Израиль, его сопровождала густая толпа молодых решительных евреев, распевавших Аतिकву, Гимн Пальмаха и Бейтаровский гимн "Оба берега Иордана". Порог ОВИРа Янкелевич переступил с глазами, влажными от слез. Он был тронут.

Выпустили его скоро, и с небольшим чемоданчиком, в котором хранились инструменты для починки швейных машин, он прибыл в Израиль. На аэродроме его встречал Премьер-министр, министры и руководители мирового еврейства, случайно оказавшиеся в стране, а также прибывшие специально для встречи героя. Было пролито много слез, выпито много кофе и фруктовых соков. Потом Янкелевича с его бесхитростными рассказами о листовках и Братской ГЭС послали в Европу, потом — в Америку и в страну кенгуру — Австралию. Чемоданчик с инструментами пылился в подсобке квартиры на проспекте Пилотов, в Тель-Авиве. Да как-то Янкелевичу, ставшему уже Реувейни, и в голову не приходило надеть мышинного цвета рабочий халат и приступить к починке швейных машин с ручным и ножным приводом. Просто времени у него на это не хватало: все дела да дела, то встреча с министром абсорбции, то завтрак с секретарем Гистадрута, а то и визит в детский садик: пение с малышами и бесхитростные рассказы о советских евреях.

И как-то само собою получилось, что Яша Янкелевич-Реувейни выбился на общественную стезю и без него уже даже и не мыслилось само существование движения в поддержку советского еврейства и его благополучной акклиматизации в Израиле. Яша манипулировал цифрами, фактами и датами — и не было того, кому было бы не лень проверить эти данные. Яша давал советы — к ним прислушивались в правительственных кругах или делали вид, что прислушиваются. И знаменитый

Яша вполне конкретно представлял себя в качестве члена Кнессета или, на худой конец, послом в Москве. Мысля, как он полагал, исключительно политическими категориями, Яша определил в Мишке Нисимове боевого коня, на котором можно скакать и прискакать первым. Следует только надеть на Мишку-иноходца прочные шоры — и тогда все будет в порядке.

— Налей, Мишка, еще чуток, и выпьем за нас с тобой — за меня и за тебя, — сказал Яша. — Ты золотой парень, сынок, просто золотой. Я научу тебя всему, что ты еще не знаешь. Горы мы с тобой перевернем, горы!

Водка была теплая, Мишка поморщился. Он ничего не ответил Яше, но тот, как видно, и не требовал ответа: достаточно было того, что он сам говорил. Откинувшись на спинку стула, Мишка оглядел кабинет. На стенах висели фотографии: Яша с премьер-министрами, с министрами, с начальниками генерального штаба. Яша с израильтянами. С американцами. С японцами. Яша с Корчным над шахматной доской. Яша играет в волейбол с инвалидами войны, сидящими в колясках. И, наконец, Яша с "мисс Израиль" в бикини и страховыми перьями на голове.

Рассмотрев фотографии, Мишка вернулся к хозяину кабинета. За его кожаным креслом, чуть сбоку, высился мощный фикус в деревянной кадке.

— Яша, вы знали в Союзе человека по имени Вульф Брубер? — спросил Мишка.

— Ну, конечно! — подтвердил Яша. — Этот активист алии из Москвы. — Не было в мире активиста, которого бы не знал Яша Янкелевич. — Но должен тебе сказать, между нами, конечно, что наши прибалтийские активисты куда активнее. Ну и, разумеется, ваши, кавказские.

— Что — кавказские? — переспросил Мишка.

— Они тоже значительно активней московских ак-

тивистов, — уточнил свою мысль Яша. — Ну, вот, скажем, еврейские праздники. Кто в Москве вообще знает, что это такое? А у нас в Прибалтике евреи зажигают свечи в субботу, отмечают праздники и почти не едят свинины. Ты же знаешь, как я им помог моими листовками...

— Что значит, — перебил Мишка, — почти не едят свинины? Или едят, или не едят: здесь, вроде, среднего не бывает.

— Это значит... — опасливо покосился Яша. — Ты, конечно, прав... Но, видишь ли... Семь с половиной процентов...

— А эта колбаска, — снова перебил Мишка, — она, по-моему, не полукошерная, а стопроцентно свиная. А?

— Ты правильный парень, сынок, — подмигнул Яша. — Но это наша, израильская свинина — а не их, гойская. Израильская свинина — это все равно, что гойская баранина. Здесь, на исторической родине, мы можем есть свинину, а там, в галуте — нет! Это же ясно даже без очков.

— А что вы делали в Прибалтике, Яша? — спросил Мишка. — Ну, чем занимались?

— Я писал и распространял листовки, — пожал плечами Яша. — Ты что, забыл?

— А на кошерную колбаску чем зарабатывали? — Мишка смотрел жестко, почти угрожающе, и Яша почувствовал беспокойство.

— Я — рабочий, — сказал Яша. — Я вышел из народа.

— На заводе работали? — уточнил Мишка. — Или на стройке?

— Я мастер по ремонту машин, — насупясь, сказал Яша.

— Грузовых? — продолжал спрашивать Мишка. — Или легковых? Или тракторов?

— Швейных, — сообщил Яша. — С ручным и ножным приводом:

— Хорошая специальность, — одобрил Мишка. — Вот вы все цифры помните наизусть, у вас просто не голова, а синагога. Сколько же швейных машинок вы тут, в Израиле, починили?

— Я трудоустроил одну тысячу девятьсот восемьдесят четыре репатрианта! — напористо объявил Яша. — Семьсот шестьдесят восемь олимских семей получили через меня квартиры. Я с моей концертной группой "Бесхитростные рассказы" культурно обслужил шесть тысяч четыреста двадцать восемь человек — исходя из проданных билетов. Мои лекции посетило более тридцати тысяч слушателей — репатриантов, старожилов и сабр. Я покрыл более полумиллиона километров...

— Да хоть бы ты корову покрыл! — взревел Мишка, рывком подымаясь со стула. — Ишак! В Кнессет он хочет! Иди работай! Чего ты тут сидишь!

Яша глядел непонимающе на бушующего Мишку.

— Иди, иди, — он плавно махнул рукой. — Я у тебя совета не спрашиваю. Чего орешь?

— Как это чего ору?! — продолжал орать Мишка. — Да тебе за что зарплату платят? За то, что языком трясеешь? Ты только вред приносишь, больше ничего! Вон, брюхо отрастил! Иди, чини свои машинки! Посол! Осел ты, а не посол! Тебя в тюрьму посадить надо, если хочешь знать!

— Это тебя, разбойник, надо в тюрьму посадить, — негромко, но убежденно молвил Яша. — Ишь, ты, разорался! Урка! Политику делать — это тебе не кинжалом махать!

Услышав про кинжал, Мишка опешил, а потом захохотал. Он хохотал громко и раскатисто, и Яша взирал на него с искренним изумлением. Он не понимал,

что смешного нашел Мишка Нисимов в сложившейся ситуации. А Мишка все более приходил в себя, хохотнее, бойцовское настроение возвращалось к нему.

— Ну, ишак! — отсмеявшись, сказал он. — Такого ишака даже в зоопарке за деньги не показывают... Ну, иди, иди отсюда!

— Как это — иди? — взревел Яша. — Это мой кабинет! Ты иди! Хулиган!

Мишка, все еще усмехаясь, поднял стул и, размахнувшись, грохнул им о стол. Стул развалился от удара, одна из ножек просвистела мимо окаменевшего Яши и, угодив в фикус, опрокинула его на пол.

Секретарши в приемной внимательно и с нескрываемым интересом прислушивались к крикам и грохоту, доносившимся из-за двери хозяйского кабинета.

— Опять скандал, — понимающе улыбаясь, сказала хохотушка машинистке. — Вызывать, что ли?

— Подождем еще немножко, — сказала машинистка. — Пусть повоюют.

Вытянув шею, они вслушивались в обрывки слов.

— Деньги, наверно, требует, — высказала предположение хохотушка. — На той неделе тоже один чучмек приходил, бухар, три стула сломал.

— Тот за алию выступал, — уточнила машинистка, — он хотел, чтоб Яшка цепью к министерству абсорбции приковался и голодовку объявил.

— Дерьмо, — презрительно пожала плечиком хохотушка. — На телеграмму согласился.

— Да я ее печатала! — сказала машинистка. — "Господин министр, требую улучшения условий абсорбции бухарского еврейства. Реувейни".

— А этот решительный, — хохотушка кивнула в сторону кабинетной двери. — Вон как бушует!

В этот момент из кабинета донесся грохот и нечле-

нораздельные крики.

— Давай, звони, — сказала машинистка. — А то не полицию придется вызывать, а скорую помощь.

Но до полиции дело все же не дошло: Мишка Нисимов танцующей, победной походкой вышел из кабинета.

— Ну и начальникек у вас, девочки! — остановившись на миг, укоризненно сказал он. — Гоните его отсюда в три шеи.

— Вот вы и гоните, — сказала хохотушка. — Вы вон какой здоровый!

— И выгоню, — пообещал Мишка. — Вот увидите.

— Пойдете к нам в председатели? — поинтересовалась машинистка и добавила, понизив голос: — Мы не против...

— Ни за что! — отчеканил Мишка. — Я еще, девочки, работать не разучился.

Не успела за Мишкой закрыться дверь, как из кабинета выскочил Яша.

— Полицию вызвали? — выпалил Яша.

— Не успели, — сказала хохотушка. — Сейчас звоню, пусть хоть протокол составят... Развелись тут бандиты всякие, работать спокойно не дают!

— Не вызывать! — махнул рукой Яша. — Не надо!

— Почему? — удивилась машинистка. — Он же мог вас убить!

— Это герой войны Нисимов! — не без бахвальства в голосе объяснил Яша. — Слыхали о таком? Вызовешь полицию — а он потом на танке сюда приедет, все разворотит... Кофе мне! И никого больше сегодня не пускать! Хватит для одного дня!

Приключение подействовало на Мишку бодряще: выйдя на раскаленную улицу, он не чувствовал давящей тяжести солнца, и вялость как рукой сняло:

он шел легко и размашисто. До самолета оставалось еще шесть часов, нужно было как-то прожить, пережить это время. На море, что ли, пойти, на пляж? Но сама мысль о бесцельном лежании на песке была отвратительна. Мишку тянуло к движению, к действию. Он бы с удовольствием попил бы сейчас дрова часика два-три или взялся бы копать какой-нибудь котлован или ров. Он даже огляделся по сторонам — но никто ничего не пилил и не рыл на центральной торговой улице. Может, заглянуть в кино? Но отвлекаться от своих мыслей означало как бы бежать от вечернего самолета, от Шош. Засорять душу чужими, выдуман-ными переживаниями, порошить глаза экранными образами со знакомыми всему миру лицами знаменитых кинозвезд... Нет, это было бы отчасти даже дурманом, трусостью. Сейчас следует думать только о предстоящем вечере, о том, как приземлится самолет, как подгонят трап. Еще шесть часов, целых шесть часов! С ума можно сойти...

Мишка вышел на улицу Ибн-Гвириоль и зашагал к северу. Машина Йекутиэля, на которой он приехал из Иерусалима, стояла на стоянке около Тель-Авивского музея, и Мишка, не думая ни о чем, машинально брел к этому гигантскому асфальтированному полю, испещренному автомобилями всех цветов, моделей и возрастов. Современное здание музея и библиотеки манило основательностью, незыблемостью, немом приглашало войти в кондиционированный прохладный мир непреходящих ценностей: картин, скульптур, книг. Взглянув на часы уже в сотый раз с утра, Мишка прошел вдоль каменного заборчика стоянки и нырнул в прохладную тень музея. Ни уличной суеты тут не было, ни толкотни. В нижнем зале экспонировались рисунки старых мастеров, привезенные сюда со всего света — из государственных музеев и частных коллек-

ций. Глаза людей, живших на земле четыре века назад и ушедших в небытие, глядели на Мишку — прощательно, понимающе. Что изменилось с тех пор, когда они позировали великим художникам? Да ничего не изменилось! Вот этот, в берете — ну, так он не самолета дожидался из Вены, а какой-нибудь телеги или брички — тоже, кстати, может, из Вены. А девушку звали не Шош, а какая-нибудь Матильда или Гертруда, вот и вся разница. И этот в берете тоже, вполне возможно, кого-нибудь заколол в своей жизни, ради своей Гертруды или Матильды. В те времена войн тоже было пруд-пруди, воевали саблями и кинжалами, а нынче стреляют из пушек — тоже разница. Неплохо прогрессировало человечество за четыреста лет — пересело с коня в танк. Да какой там пересело! Сколько еще есть на свете кавалерийских соединений! А арабы, соседи наши, скачут на верблюдах, правда, с автоматами "калашников" на груди... Ничего, почти ничего не изменилось. Самое главное — жизнь, смерть, любовь, ненависть — осталось, как было.

После нижнего зала смотреть пестрые полотна модернистов Мишке не хотелось, но и уходить из музея не тянуло. Он вошел в библиотечный зал, взял со стенда свежий выпуск "Маарива", развернул газету. И окаменел, как громом пораженный: с газетной полосы на него смотрел Вульф Брубер. "Активист алии москвич Вульф Брубер, — было написано в статье под снимком, — арестован властями за организацию и проведение демонстрации на Старой площади, близ здания Центрального комитета коммунистической партии. По сведениям, поступившим из неофициальных источников, Вульф Брубер, освободившийся недавно из сибирской ссылки, будет предан суду. Ему грозит тюремное заключение сроком от трех до пяти лет. Группа американских конгрессменов уже выступила

в поддержку и защиту Вульфа Брубера”

Вульф смотрел со снимка грустно и иронично — как тот, в берете. ”Что делать?! — в отчаянии думал Мишка. — Что можно для него сделать? Из танковой пушки стрелять? В кого? Голодовку объявить бессрочную около Кнессета? Но русские только радоваться будут: еще один еврей от голода подох. Может, с Йекутиэлем посоветоваться? Это, пожалуй, самое правильное”

Выйдя из музея, Мишка сел в машину и поехал в аэропорт. Грозовые вихри клокотали в нем, в его душе: он сейчас готов был на многие отчаянные поступки, безоглядные. Но, как гласит восточная мудрость: ”Тот не храбрец, кто задумывается над последствиями”

Глава пятнадцатая

И ПРИШЕЛ ВЕЧЕР...

Вечерний аэропорт со стороны был похож на хрустальную люстру, спущенную с неба.

Автомобили сновали вокруг сверкающего здания, как жуки-светлячки; они то приближались и останавливались ненадолго, то рассыпались веером, как по команде. Сотни людей сновали по всем направлениям: внутри хрустального дома, на дорожках, ведущих к нему, и на огромном взлетно-посадочном поле. Небо здесь как бы становилось ближе к земле, граничило с нею. И самолеты — эти серебристые посредники между небом и землей — были красивы. Расцветенные рубиновыми и золотыми огнями, они двигались в бархатной тьме южной ночи, как тропические рыбы в глуби своего нерестилища; и разверзались их чрева, и суетливые крохотные люди высыпали на землю — на дно неба.

Мишка обошел уже весь аэропорт, выпил кофе повсюду, где это можно было сделать и сидел теперь, безучастно разглядывая жизнь, на особняке стоящей лавочке, за автобусной остановкой, у входа в служебную камеру хранения. Лавочка была какая-то ветхозаветная, с лепными чугунными боковинами, с волнообразно изогнутым сиденьем — мандатных еще, может, времен, привезенная сюда откуда-нибудь из Црифина-Сарафанда в качестве исторического памятника. И

невдомек было Мишке Нисимову, что точно на такой лавочке сидел не так уж и давно в московском скверике несостоявшийся его тесть, высокопартийный человек, и сидела рядом с ним цыганка, и гадала ему. И, в полном соответствии с цыганским гаданьем, поднялся высокопартийный с лавочки, и пошел на Лубянку, и пропал... А и знал бы Мишка — чем бы обогатился? Да ничем.

Сидя на исторической лавочке, Мишка из-под полуопущенных век наблюдал за тем, как скользили машины и как на ближайшую сторожевую вышку, замаскированную невесть подо что, поднялся по хрупкой лесенке "скрипач на крыше" — молодеватый снайпер со спокойными глазами, со специальной винтовкой, упакованной в скрипичный черный футляр. Мишка и сам умел управляться с такой винтовкой, она была удивительно точно и красиво, не зря ее так и прозвали в армии — "скрипка", — и Мишка взглянул на "скрипача" из службы безопасности понимающе. Но "скрипач" только скользнул по неизвестному гражданину своим ясным холодным взглядом — и все. Минуту спустя он поднялся на свою вышку, и оттуда спустился другой "скрипач", как две капли воды похожий на первого, и, покачивая черным футляром, неспеша пошел куда-то. А первый, угнездившись на вышке, огляделся, и взгляд его, теперь острый, как гвозди, оцарапал праздного сидящего Мишку Нисимова. И Мишка, поймав этот взгляд, даже немного растрогался: не дремлет "скрипач", черт его дерит, хорошо служит.

Минут за двадцать до приземления самолета из Вены, получив в полицейском управлении выписанный на его имя пропуск — многого, все же, стоит один звонок генерала Йекутиэля Адама! — Мишка без хлопот прошел в зал для прибывающих пассажиров. Люди оживленно толпились в зале, конвейерные ленты везли нарядные чемоданы. Десятки языков можно было услы-

шать в этом маленьком Вавилоне, где никто ничего не собирался строить, но каждый спешил поскорее отсюда выйти вон, наружу, к нетерпеливым встречающим, густо облепившим выход из аэропорта в ожидании подарков и поцелуев. Но конвейерные ленты ехали с заданной скоростью, и ничто не могло убыстрить их движения.

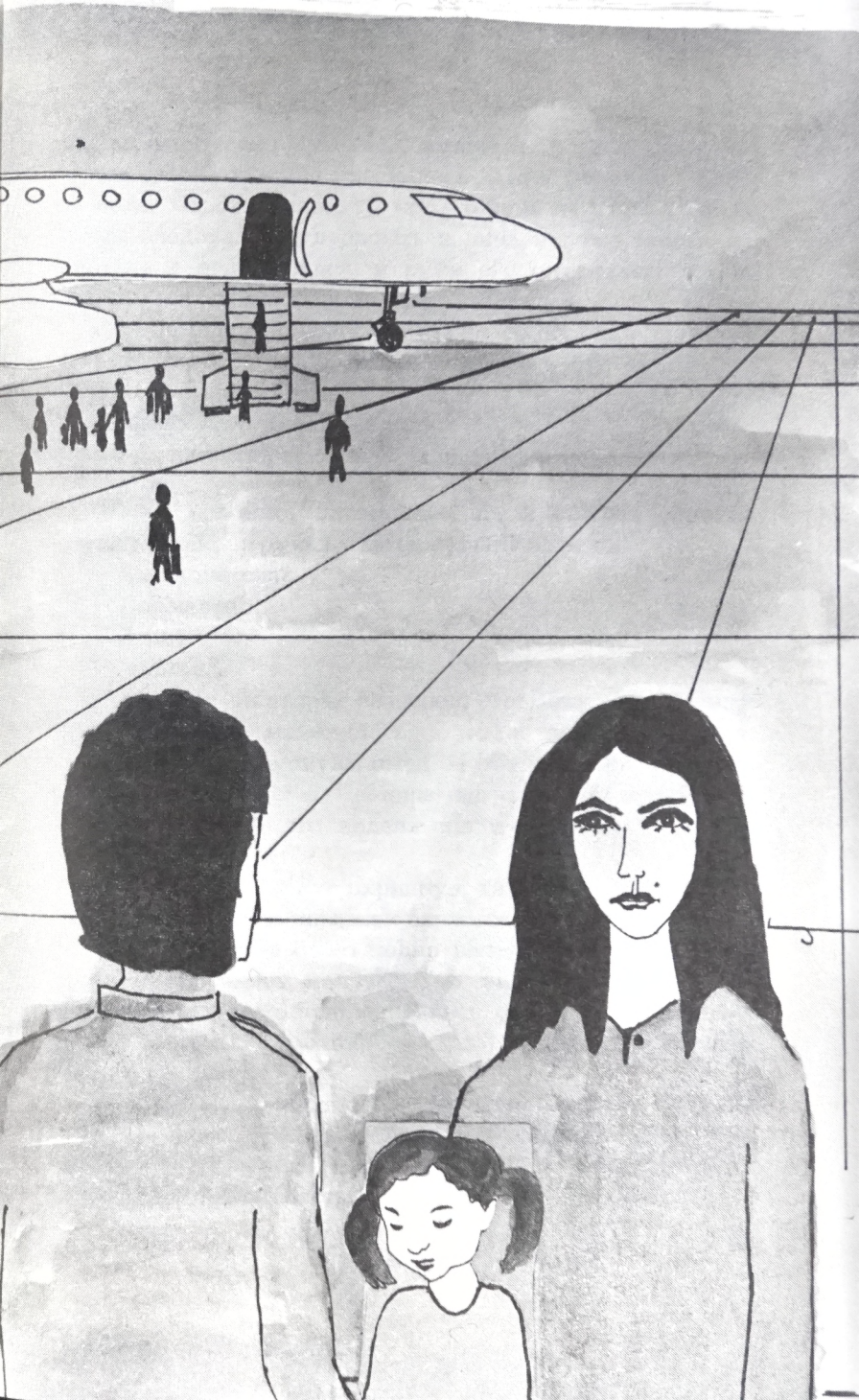
Наконец, замигали лампочки на электронном табло против надписи "Вена — Тель-Авив". Самолет приземлился. Испытывая головокружительную легкость, Мишка миновал линию паспортного контроля и вышел на поле. После кондиционированного микромира воздух воли показался особенно горячим и черным, но Мишке это ничуть не мешало. Он отыскал отправляющийся автобус, спросил:

— Куда? К венскому?

— Да, — кивнул головой шофер.

И вот они уже едут по полю, в поле. Мишка прилип носом к стеклу: какой самолет? Этот? Или тот? А сели? Может, еще не сел? Только заходит сейчас на посадку? Вон садится один, а там, вдалеке, вроде еще один. Какой из них? Но если еще не сел, тогда зачем же мы так рано поехали?

Автобус, вырвавшись из темноты, подрулил к Боингу "Эль-Аль". Трап только что подали, в овальном люке, буквой "О" зиявшем в серебряном борту самолета, темнела фигурка стюардессы. Вот она ступила на верхнюю площадку трапа — все в порядке, можно выходить... Сколько же там народа, в самолете! Идут и идут. Тут и разминуться недолго, обеспокоился Мишка. Да еще второй трап подвезли, будь они неладны. И еще один поток людей хлынул из самолета, теперь уже из хвостовой его части... Мишка, чертыхаясь, отступил, подался назад, чтобы уместить в обзоре всех выходящих. Спустившись с трапов, пассажиры спеш-



ли к автобусам. Мужчины, женщины и дети сливались с темнотой, как бы плескались в ней, подобно рыбам в воде. Чтобы выделить кого-нибудь из толпы, из потока, следовало заглядывать в лица, смутно белеющие. Мишка и вглядывался, и руки его опускались и сжимались в кулаки: Шош не обнаруживалась.

Она подошла к нему откуда-то сбоку, как будто не вместе с этой гущей людей появилась она тут, на асфальте аэродрома.

— Мишка... — прошелестело.

Он обернулся резко, как на шарнире.

— Шош..

Обнял неловко, скомканно, да и спящая девочка между ними, на руках у матери, была помехой.

— Как долетела?..

— Нормально...

— Шош?

— Мишка...

И, уже с повтором, зазвенел, ломаясь, серебряный гудок: многое изменилось — но не все. Имена остались прежними, и звуки имен. И оба увидели ту горную поляну, и то солнце над поляной, и себя под тем солнцем. А что видела спящая девочка — то неведомо.

— Пойдем, — вдруг охрипнув, тихонько сказал Мишка, и она пошла за ним, как баржа за буксиром.

В зале Сохнута было полно репатриантов, в спертom воздухе носились полузабытые запахи России. Люди возбужденно гомонили, озирались.

— Хорошая девочка, — сказал Мишка, рассеянно глядя на спящую.

— Куда меня пошлют? — спросила Шош. — Отсюда?

— Не знаю, — сказал Мишка и подумал: "Раз спрашивает — куда, значит, со мной ехать не хочет" — А ты куда бы хотела попасть?

— Мне все равно, — сказала Шош. — А ты где живешь?

— Может, просто стесняется, — решил Мишка. — Иначе зачем бы интересовалась, где я живу?”

— Вообще-то, в Беэр-Шеве, с родителями, — сказал Мишка. — Ну, и в Иерусалиме тоже, у родственников. И, потом, есть у меня хостель...

— Что?.. — спросила Шош.

— Это как гостиница, что ли, — объяснил Мишка. — Комнату мне там дали, квартиру однокомнатную.

— Вот здорово! — сказала Шош.

— Но я там ни разу не был, — продолжал Мишка. — Как-то не пришлось. Это здесь, в Тель-Авиве.

— Ни разу даже не был? — удивилась Шош. — А кто ж там живет?

— Никто, — сказал Мишка. — Ключ вот есть у меня. — И он вытянул из кармана ключ на цепочке, собранной из канцелярских скрепок. При этом краем глаза он глядел на Шош, но ничего не уловил на ее лице и не сделал никаких выводов.

Помолчали.

Мишке хотелось сейчас лишь одного: знать точно, что собирается делать Шош. А спросить об этом напрямик он не мог себя заставить. Шош сама должна рассказать, хотя бы намекнуть — Мишка поймет. Неужели она не понимает, зачем Мишка приехал сюда, на аэродром? Ведь он, Мишка, пуст, как раскаленная пустыня, никого у него нет, и Шош — облачко, обещающее светлый дождик, живительный.

— У тебя есть... семья, Мишка? — спросила Шош. — Дети? Ты прости, что я спрашиваю, это, конечно, не мое дело. Если не хочешь — не говори.

— Никого у меня нет... — буркнул Мишка. — Я только недавно от раненья оправился...

— Бедный! — сказала Шош и провела тонкими пальца-

ми по рукаву Мишкиной куртки.

— Теперь уже все в порядке, — млея от прикосновения Шош, сказал Мишка. — Ты ко мне в гости будешь приходиться?

— Буду, если позовешь, — сказала Шош.

— Считаю, что уже позвал, — сказал Мишка. — Можно девочку поцеловать? Не проснется?

— Поцелуй, — улыбнулась Шош. — А ты совсем почти не изменился, Мишка.

— Изменился, изменился... — Проворчал Мишка. — Еще как.

Очередь к чиновникам, оформляющим документы, подвигалась медленно, а о Шош вроде бы и вовсе забыли: никуда ее не вызывали. Мишку это, однако же, ничуть не злило и не выводило из себя. Он сидел рядом с Шош, молчал, говорил, слушал. Он готов был просидеть вот так до пришествия Мессии — лишь бы оттянуть ту минуту, когда Шош поднимется и скажет ему: "Ну, я поехала. Я тебе как-нибудь позвоню, Мишка!"

Уже около полуночи дверь одного из кабинетов открылась и в зале появился знакомый Мишке по его собственному приезду толстячок. Толстячок тотчас узнал Мишку и расплылся в масляной улыбке:

— Здравствуйте, товарищ герой! Родственников встречаете?

— Кого надо, того и встречаю, — буркнул Мишка.

— А я про вас в газетах читал, — не обиделся толстячок, — и по радио слышал. Вы — гордость нашей алии! Я не такой смелый, что я могу делать... И у меня давление.

— Лечиться надо, — сказал Мишка.

— Я сейчас девушку вызову, — вильнул глазами толстячок. — Мы ее живо оформим... Жена? Сестра? Я что-то фамилии вашей не встречал в списках.

— Спешить не надо, — бросил Мишка. — Все ждут — и мы подождем. У нас время есть.

Толстячок, похрюкивая, убежал обратно в кабинет.

— Это твой товарищ? — удивленно спросила Шош, подняв на Мишку глаза. И такой черный огонь, такой всепожирающий огонь увидел Мишка вглуби ее глаз, что готов он был хоть сейчас идти воевать за эту женщину с целым светом. Немного успокоиться, унять дрожь в коленках и в груди — а потом уже идти воевать.

— Какой там товарищ! — махнул рукой Мишка — Так, шакал один. Пакид, чиновник то-есть. Они тут специально сидят, чтоб людям настроение портить.

— Довольно противный... — согласилась Шош. — Он что делает?

— Направления дает, — пояснил Мишка. — Его просят в Кирьят-Шмона послать, а он посылает в Беэр-Шеву, и еще врет, что это одно и то же. Я ему чуть башку не отрезал, когда приехал.

— Он еврей? — чуть усомнилась Шош.

— А кто — араб, что ли? — усмехнулся Мишка. — Есть еврей — хуже не придумаешь...

— Странно... — вздохнула Шош. — А я думала — все еврей в Израиле братья и сестры.

— В семье не без урода, — пожал плечами Мишка. — Ничего с этим не поделаешь. Одного, например, хлопнешь — вот как этого толстого, а другие уже на его место лезут. Тут лучше всего в армии или еще на поселениях: люди не так грызутся.

— Меня возьмут в армию? — спросила Шош.

— В какую там армию! — улыбнулся Мишка. — Никто тебя не возьмет.

— А на поселение? — продолжала спрашивать Шош. — Где это — поселение?

— На поселение, наверно, можно, — сказал Мишка. — Это надо узнать. Их много, поселений — и на севере,

и на юге. На севере лучше — не так жарко, и горы.

— Кфар Йехескель, — тихонько, почти неслышным шепотом сказала Шош.

— Что? — не расслышал Мишка.

— Ничего, — сказала Шош. — Я тебе потом расскажу, не здесь.

И от этого "потом" и "не здесь" у Мишки перехватило дыхание: значит, она не пропадет, не исчезнет, и завтрашний день настанет для двоих.

Зал уже почти опустел, когда толстячок вызвал Шош. Мишка, вытянув ноги, сидел, курил. Он не торопил время, не подстегивал его, по своему обыкновению — просто ждал.

Наконец, появилась Шош — порывистая, немного растерянная.

— Меня посылают в Шломи, это где-то рядом с Тель-Авивом, — сказала Шош. — Он говорит, там красиво: холмы, сады.

Шломи — это на северной границе, у черта на рогах.

Мишка молча поднялся, опасной своей пружинистой походкой двинулся к кабинету толстячка. Шош удивленно шагнула за ним.

— Послушай-ка, — с порога спросил Мишка, — ты куда это ее посылаешь?

— В Шломи, — чуть подался назад вместе со стулом толстячок. — Роскошное место. Рай.

— Рядом с Тель-Авивом? — покривил лицо Мишка. — Зачем опять врешь?

— Ну, не совсем рядом! — развел руками толстячок. — Но на автобусе можно доехать.

— На автобусе и в Каир можно доехать, — жестко сказал Мишка. — Зачем врешь?! У нее там никого нет, в Шломи, а она с ребенком — не видишь, что ли?

— А она вам не жена, — возразил толстячок. — У вас фамилии разные.

— Это тебя не касается! — отрубил Мишка. — Я ее забираю, она ко мне поедет, а не в Шломи. А если ты будешь дыбиться, я тебе голову отрублю! Слышал? Оформляй, шакал!

— Сейчас, — трясая головой, сказал толстячок. — Чего вы волнуетесь? Я в момент!

— Я и не волнуюсь, — прошипел Мишка. — Нечего мне волноваться. Это ты волнуйся: если что-нибудь не так сделаешь — смотри!

Толстячок зашлепал печатями и штампами.

— Вот здесь распишитесь! — пел толстячок. — И здесь! Вот здесь еще!

— Подписывай! — бросил Мишка. — Я отвечаю. Дай, девочку подержу!

Шош подписала, повернулась к Мишке и встала перед ним, опустив голову.

— Машину дать? — спросил толстячок.

— Не надо, — сказал Мишка. — Живи дальше, шакал!

Ехали молча. Мишка, сидя за рулем, даже и не глядел на Шош, не возвращался к своему внезапному решению: "Поедет со мной!" И Шош, доверяясь судьбе, не спрашивала ни о чем.

За окном, по сторонам широкого шоссе, мелькали в ночи поля с редкими постройками, потом вдруг, сразу начался город: шоссе превратилось в улицу, деревья — в высокие дома.

— Большой город... — неуверенно сказала Шош.

— У-гу... — промывчал Мишка. — Нам еще минут пятнадцать ехать.

Через четверть часа поставили машину на стоянку около восьмизэтажного дома с черными по такому позднему часу окнами. Свет горел только в вестибюле; там, положив голову на стол, мирно посапывал ночной портье. Мишка, подойдя, тихонько потряс его за плечо.

— Что? Куда? — вскрикнул со сна портье — старый йеменский еврей в черном берете, с пейсами. — Кто ты?

— Живу я здесь, — пояснил Мишка. — То-есть, буду жить. Вот у меня ключ есть. 324 — это на каком этаже?

— На третьем, — дал справку йеменец. — Хозяин — ты?

— Я, я! — успокоил Мишка. — Лифт где?

— Вон, по коридору, — сказал йеменец. — Покойной ночи!

Все так же молча, избегая глядеть друг на друга, поднялись они на третий этаж.

— Здесь! — сказал Мишка, прочитав номер на двери, и вставил ключ в скважину. — Черт, где тут выключатель?!

Щелкнул выключатель, но свет не зажегся: не было лампочки. Мишка чиркнул зажигалкой, поглядел — ни одной лампочки не было в квартире.

— Ну, ничего, разберемся, — сказал Мишка. — Давай сначала ребенка уложим.

Девочку положили на узкую кровать, придвинули пару стульев — чтоб не свалилась во сне. Потом, тихонько чертыхаясь, Мишка исследовал в полнейшем мраке стенной шкаф и обнаружил там паралоновый матрац и видавшее виды солдатское одеяло: пустовавшая эта квартирка, надо думать, посещалась время от времени нуждавшимися в краткой остановке людьми.

— Ну, вот... — сказал Мишка, неловко топчась около ложа. — На первых порах, так сказать... По-солдатски...

— А вода тут есть? — спросила из темноты Шош.

— Должна быть... — с сомнением ответил Мишка. — Если не отключили.

Он ощупью пробрался в узкий коридорчик, нашел дверцу, ведущую в душевую.

— Вот тут кран, — сказал он. — Есть вода!

— Я сейчас... — сказала Шош.

Вернувшись в комнату, Мишка счастливо и бессмысленно улыбаясь, сбросил обувь, разделся и нырнул под колючее заскорузлое одеяло. И затхлый кислотоватый запах одеяла показался ему ароматом роз и фиалок.

Вот сейчас она придет, думал и чувствовал Мишка. Она опустится на эту фиалковую поляну прямо с неба, как большая серебристая птица. Шош! Сколько времени прошло с тех пор, как мы виделись в последний раз? Жизнь? Или это было только вчера? Или вовсе мы не расставались, существуя один в другом, как русские матрешки? Вот сейчас перестанет журчать вода в ночной ванной, иссякнет этот искусственный ручеек города, похожий на звонкий горный ручей как цирковой паяц на атакующего десантника — и она придет. Скорей бы! Как жаль, что невозможно в этой запертой темноте, не тронутой ни луной, ни звездами, различить и разглядеть ее солнечное тело. Но наступит завтра, и она возникнет в свете дня — чтоб никогда больше не исчезнуть. Шош! Иди же, Шош! Эта сладкая мука ожидания разъедает душу, как кислота — металл. Я помню наизусть каждую извилинку твоего тела, каждую ложбинку и каждый холмик. Я помню пучину, в которую погружаешься, как в нирвану, как в безмятежное небытие. Мы скованы бриллиантовой цепью, Шош, связаны золотыми путами, неразрывными. Нам не нужны слова, эти грубые отпечатки чувств — только жесты и звуки, присущие равно каждой живой Божьей твари. В одном вскрике куда больше счастья и торжества, чем в пудовой поэме. Приди, Шош, я жду тебя, и ты знаешь это! Летуче ступай своими узкими стопами, своими плавными сильными ногами по грязным плитам пола — ко мне. Будьте благословенны, молочные колонны ног, несущие рубиновый кусок жизни и смерти мира. Там, где вы сходитесь — там, в шелковистой заросли, вход в пещеру нирваны, открыт лишь для твоего избран-

ника. Твой живот — спокойное розовое море, твоя спина — упругий ствол горной арчи. Сосцы твои — звезды, груди — галактики, и Млечный Путь пролег между ними. Приди, Шош, потому что я не могу без тебя!

Она появилась — летящая, как парус яхты, в жидком свете законного уличного фонаря. И всё она уже рядом с Мишкой, под вонючим одеялом — прохладный рай, запахнутый, пахнувший яблоками и цветами леса.

— Шош!

— Ш-ш-ш...

Руки — вот это глаза любви! Руки куда наблюдательней, чем глаза, руки находят, вбирают и запоминают все то, мимо чего скользит раскаленный или ледяной взгляд. Руки жадны, они хотят вместить в себя все — но неместима женщина и необъятна.

— О-о-о!

— Ш-ш-ш...

Бездонна женщина, как Вселенная, и как Вселенная непознаваема. Бог, быть может создал женщину для того, чтобы мужчина понял: не возносись, не считай! Каждый ответ порождает новый вопрос, и так без конца. Женщина — вопрос, на который нет ответа, и если мужчина, вправду, клеточное существо, то женщина — фотонное. Мужчина и женщина! Вы живете в разных мирах, в разных измерениях — хотя и не замечаете этого. И вы соприкасаетесь только вот так, как сейчас Мишка и Шош:

— О-о-о!

— О-о-ох...

Вы соприкасаетесь, познавая друг друга — чтобы спустя мгновенье, равное вечности, разомкнуться и вернуться в себя и к себе.

Но и женщине не дано этого понять — только почувствовать, ощутить и забыть.

Утро застало их томными, сладкими, как ломти вяленой дыни. Она лежала на животе, и ранее солнце золотило ее ноги и маленькие круглые ягодицы. Полузакрыв глаза, он медленно водил пальцем от ее шеи вниз, по узкой и крутой ложбинке позвоночника.

— Мишка, — сказала она, — я расскажу тебе про Вульфа Брубера.

Мишка открыл глаза, взгляд его прояснился. Он вспомнил вчерашнюю газету, фотографию Вульфа, коротенькое сообщение о его аресте. И ему стало невыносимо стыдно за то, что он не спросил о нем сам, не спросил раньше.

— Он просил передать тебе... — и Шош добросовестно рассказала Мишке все, что поняла и запомнила.

— Кфар-Йехескель... — пробормотал Мишка, выслушав ее рассказ. — Мы построим там дом и разобьем сад. Не бойся, мы не останемся здесь! — И он брезгливо отбросил ногой одеяло, которое больше не благоухало, как клумба.

— Я тоже так люблю деревню, — сказала Шош. — Я сделаю все, как ты скажешь.

— Вульфа забрали еще при тебе? — спросил Мишка.

— Куда забрали? — спросила Шош.

— Он арестован, — сказал Мишка. — Ты ничего об этом не знала?

— Нет, — сказала Шош. — Он провожал меня на вокзале. Когда это случилось?

— Я вчера прочитал в газете, — сказал Мишка. — Я должен что-то делать.

— Я буду помогать тебе, — сказала Шош. — Скажи только, чем.

— Я и сам не знаю... — признался Мишка. — Мы поедем сегодня к одному умному человеку, его зовут Йекутиэль Адам. Он подскажет.

— Но что мы можем? — спросила Шош. — Что мы мо-

жем — против них? Они даже не станут нас слушать.

— Я еще не знаю.. — повторил Мишка. — Но здесь ничего у нас не получится. Надо ехать в Америку, там бить во все колокола.

— А здесь — нельзя? — спросила Шош.

— Можно, — сказал Мишка. — Но здесь у нас и колоколов-то нету — одни пушки.

— А в Америке? — спросила Шош.

— Из Америки слышней, — сказал Мишка. — Они там из всего цирк делают, так уж привыкли. Так вот, надо только придумать такое, чтобы им прямо в лоб стукнуло, как из "скрипки".

— Какой скрипки? — не поняла Шош.

— Да так... — Не стал пускаться в разъяснения Мишка. — Один мой знакомый клетку там поставил посреди города и сидел в ней целую неделю — его отца и выпустили из Кишинева.

— Мы тоже можем сидеть в клетке, — сказала Шош.

— В том-то и дело, что это уже не сработает! — воскликнул Мишка. — В Америке такие штуки только один раз работают — и все. А потом уже гарантирована осечка. Надо что-нибудь свеженькое выдумать... Странные они люди, эти америкашки!

— Может, голодовку объявить? — предложила Шош.

— Этого мало, — сказал Мишка. — Там кто только не голодал... Это уже не сработает. Или сесть в люльку, спуститься до середины небоскреба и там уже голодать. Что-нибудь в этом духе...

— А мы думали, они серьезные, — сказала Шош. — Американцы.

— Трудно их понять, — сказал Мишка. — Но если мы хотим чего-то добиться — надо, чтоб они на это клюнули. Если я проеду по Бродвею верхом на льве, а в руках у меня будет плакат "Свободу Вульффу Брубелу" — об этом заговорит вся Америка. И только тогда

это услышат в Москве.

— А где мы там достанем льва? — спросила Шош.

— Это я так говорю, к примеру, — усмехнулся Мишка. — Иди ко мне...

И в следующую минуту ничья судьба, ничья боль и ничье счастье уже не пересекались с линией свободного полета Мишки Нисимова — он был неизмеримо далек от нашего грешного мира, он был в мирах иных, неразличимых с Земли. Позавидуем ему.

Они поднялись в Иерусалим уже на излете дня. Им повезло: Йекутиэль оказался дома. Выслушав Мишку, он долго крутил свой смоляной ус, а потом сказал:

— Ты, пожалуй, прав. Я позвоню кое-кому, может, помогут. А не помогут — сами езжайте: под лежащий камень, как говорится, и вода не течет. Хочешь выручить друга — рискуй! Действуй!

— Я готов, — сказал Мишка.

— Эта операция — дело не из легких, — продолжал Йекутиэль. — Прежде всего, ты уж мне поверь, нужны деньги. Деньги я дам. А все остальное будет зависеть от тебя. От вас, — поправился Йекутиэль, — от твоей группы, состоящей из двух человек.

— Я все сделаю, — твердо сказал Мишка. — Горы сдвину!

— Только ни в кого не стреляй, — посоветовал Йекутиэль. — Они там этого не любят. А будешь гору сдвигать — смотри, не задави никого ненароком.

— Спасибо, — сказал Мишка и поднялся нетерпеливо.

Йекутиэль глядел одобритительно:

— Ну, что, заиграла кровь?

— Еще как! — сказал Мишка и, обняв Шош за плечи, вышел из комнаты.

Глава шестнадцатая

СТАВКА НА ИГРЕНЕВОВОГО ИНОХОДЦА

Одиннадцать часов полета было позади. Океан, отплевываясь пеной, остался за спиной и был немедля забыт.

Нью-Йорк лежал внизу, как праздничная снедь на гигантском блюде. Заходя на посадку, горбатый "Джамбо" облетел город по окружности. Пассажиры липли к окнам, иные безмятежно спали.

— Гляди, Мишка! — не отрываясь от окна, подавленно воскликнула Шош. — Небоскребы! Это Уолл-стрит?

— А черт его знает! — откликнулся Мишка.

— Ну, конечно, ты-то здесь был, — сказала Шош. — А я-то представить себе это никак не могу: я — и вдруг в Нью-Йорке!

— Если нас никто не встретит, — сказал Мишка, — поедем сразу в один отельчик, "Вавилонская башня" он называется. Никакой башни там, конечно, и в помине нет — это так, для рекламы. Держит эту башню один израильтянин, у меня к нему письмо есть — так, на всякий случай.

— А могут не встретить? — спросила Шош.

— Мало ли что может быть! — пожал плечами Мишка. — Машина сломается, или опоздают... В нашем деле, Шош, всегда надо иметь в запасе запасной вариант.

— Я в школе английский учила, — сказала Шош.

— Договоримся, — успокоил Мишка. — Я тоже кое-как плету.

Но их встречали. Отстояв длиннейшую очередь перед паспортным контролем, а потом и к таможенному чиновнику — круглощекому негру с бляхой на груди, они, озираясь по сторонам, вышли из зала. Двое молодых людей подошли к ним, он — подобранный, подтянутый, с гладковыбритым лицом, и она — в модном свободном комбинезоне, модерно взлохмаченная, в больших круглых очках, за стеклами которых поблескивали грустные еврейские глаза.

— Джерри, — представился молодой человек. — А это — Джун. Мы из общественного комитета в защиту Вульфа Брубера. Как долетели?

— Добро пожаловать в Нью-Йорк! — добавила Джун.

Они говорили на иврите с сильнейшим английским акцентом.

— Нормально, — сказал Мишка. — Спасибо, что встретили.

— Все в порядке, — сказал Джерри. — Мы вам во всем поможем, если вы не против. Когда я был в Израиле, генерал Йекутиэль Адам пожал мне руку. — И он позаговорщицки взглянул на Мишку. — А вы — тоже?..

— Я — танкист, — сказал Мишка.

Джерри и Джун как будто не поверили этому Мишкиному сообщению, но согласно закивали головами. Танкист так танкист!

Они погрузились в огромный черный „Линкольн“, Джерри сел за руль.

— Номер в гостинице для вас забронирован, — сказал Джерри, — встреча с конгрессменом назначена.

— Так мы израильтяне, — удивился Мишка. — Зачем нам встреча с вашим конгрессменом?

— Зато мы — американцы! — объяснил Джерри, и Джун повторила: „Мы — американцы!“

— Ну и что? — спросил Мишка.

— Конгрессмен Смит — патрон нашего "Общества в защиту Вульфа Брубера", — сказал Джерри. — Эта встреча привлечет к вам внимание прессы.

— И к конгрессмену Смиту тоже, — заметила Джун.

— Ну, ясно, — согласился Джерри. — Если напечатают фотографию, он будет в восторге.

— Неужели это так важно? — удивилась Шош.

— Конечно, — пожал плечами Джерри. — Ведь скоро выборы, и Смиту нужны еврейские голоса... Кстати, Мишка, у вас есть бурка?

"Мишка" и "бурка" он выговорил с чудовищным акцентом, получилось "Мыэшка" и "бу-у-урк".

Мишка вылупил глаза и уставился на Джерри. Шош глядела несколько растерянно.

— Зачем мне бурка? — спросил Мишка. — Ведь жара!

Джерри достал из кармана какую-то бумажку и, не отрываясь от руля, пробежал ее взглядом.

— А кинжал у вас есть? — продолжал расспрашивать Джерри. — А черкеска с ги... ге... газырями?

— Нет у меня ничего такого, — холодно произнес Мишка. — Я же не в цирк сюда приехал наниматься. Да я и на Кавказе никогда это не носил.

— Это не важно! — отклонил Джерри. — Я — специалист по рекламе, я зарабатываю на этом шестьдесят тысяч в год. В "Обществе в защиту Вульфа Брубера" я занимаюсь связью со средствами массовой информации. И если вы пойдете на встречу с конгрессменом Смитом в бурке, черкеске и с кинжалом, вы попадете на первые полосы газет.

— Но у меня нет никакой бурки! — буркнул Мишка.

— Это не важно! — заверил Джерри. — Это уже моя проблема: я возьму бурку, кинжал и ге... газыри в этнографическом музее. У меня есть там кое-какие связи.

Итак, вы согласны?

— Согласен, — сдался Мишка. — Если для дела, я на эту встречу пойду хоть голышом.

— Тоже неплохая идея, — одобрила Джун.

— В бурке лучше, — покачал головой Джерри. — Голые — это уже было: манекенщицы ходили к мэру.

— И лесбиянки, — вспомнила Джун. — Они устроили "голую демонстрацию" в прошлом году.

— Верно, — согласился Джерри. — А в бурке еще никто не ходил.

Машина миновала Квинс-бульвар и въехала на мост. Впереди громоздились гигантские туши небоскребов.

— Это — Манхаттэн! — без перехода объявил Джерри. И тут же, без перехода, спросил: — Мы проведем акцию?

— Для этого мы приехали, — сказал Мишка.

— У вас есть идеи? — спросила Джун. — Или сначала позавтракаем?

— Мы будем завтракать и вырабатывать идеи, — нашел решение Джерри.

Отель "Биарриц" стоял на углу 42 и Седьмой.

— Сколько вам нужно времени, чтобы привести себя в порядок? — по-деловому спросила Джун. — Душ, массаж, поменять одежду.

— Нисколько не надо, — сказал Мишка. — Мы готовы.

Джун взглянула на него уважительно — нет, он, все-таки, не только танкист...

Мишка с Шош и Джун поднялись в номер, а Джерри присоединился к ним через десять минут. Он принес большой бумажный пакет, в котором оказались великаны пятислойные сэндвичи, кола и на редкость невкусный кофе в высоких бумажных стаканчиках.

— Итак, — объявил Джерри, сражаясь с сэндвичем, — начали. Идеи на стол! Нам нужно что-нибудь особенное! Джун, ты у нас умница. Ну?

— Протянуть на Пятой канат между домами, — бодро предложила Джун, — подвесить на канате клетку, где-то на уровне тридцатых этажей, не выше, залезть в эту клетку и объявить голодовку. Можно голышом. — Эта идея, как видно, не давала Джун покоя.

— Технически почти невыполнимо, — возразил Джерри. — Кроме того, наши противники могут подпилить канат, и клетка упадет на землю. Но идея, в сущности, недурна!

— А на льве? — робко предложила Шош. Ей очень не хотелось сидеть в клетке голой.

— На каком льве? — встрепенулся Джерри.

— Ехать на льве по улице... — смутилась Шош. — С плакатом...

— Вы укротительница львов? — с нескрываемым любопытством Джерри поглядел на Шош. — Из этого можно сварить кашу!

— Я не укротительница, — сказала Шош. — Просто я подумала...

— Не годится, — категорически отклонил Джерри. — Лев может растерзать американского гражданина, и вся пресса тогда будет против нас. А идея великолепная, надо будет ее как-нибудь использовать.

— Может, похитить кого-нибудь? — сказал Мишка. — Кагебешника какого-нибудь или посла? И тогда уже требовать освобождения Вульфа.

— Это подействовало бы, — сказал Джерри, — но средства массовой информации сейчас как раз категорически настроены против террора. Так что это не годится.

— А если концерт сорвать? — вслух размышлял Мишка. — Русские какие-нибудь выступают тут сейчас?

— Это ребята из "Лиги" делали уже раз десять, — сообщил Джерри, — больше не работает... Вы поете?

— Нет, — сказал Мишка. — А что?

— Можно не срывать, — сказал Джерри, — а в антракте

подняться на сцену и спеть обращение к американскому народу, что-нибудь вроде "Американцы, спасите Вульфа!" Это привлечет внимание, если петь очень хорошо. Музыкальные критики вынесут это сообщение на видные места.

— Но я не умею петь, — мрачно повторил Мишка. — Только плясать.

— Плясать? — на миг задумался Джерри. — Это не менее ценно, чем петь. А что вы еще умеете?

— Стрелять, — сказал Мишка.

— Это — нет, — сказал Джерри. — Дальше.

— Погоди-ка! — вошла в разговор Джун. — Плясать — это потрясающе! Этого, кажется, еще не было. Что вы умеете плясать? Казачок? Трепак?

— Не трепак, а гопак, — ухмыльнулся Мишка. — Трепак — это совсем другое.

— Гопак, — повторила Джун. — Умеете?

— Я русские не умею, — сказал Мишка. — Кавказские умею, с кинжалом.

— Кинжал — это то, что нужно! — решительно заявил Джерри. — Это очень хорошо! Этнография! Но — где плясать? И в связи с чем?

— Да, радости-то мало, — согласился Мишка. — Тут плакать надо, а не плясать.

— Плакать не надо, — возразил Джерри. — Американцы не любят, когда плачут... Так, так, так... — Мысль его работала лихорадочно. — Можно поехать в Вашингтон и плясать там с кинжалом перед советским посольством. Или перед Белым домом... Так, так... Мишка, вы можете плясать десять часов без перерыва? Или хотя бы пять?

— Вряд ли, — усомнился Мишка. — Это и лошадь не выдержит.

— Жаль, — сказал Джерри. — Если бы вы попали в список рекордов Гиннеса — это была бы мировая буря!

— Час, может, смогу, — прикинул Мишка.

— Этого мало! — вынес безжалостный приговор Джерри. — Дальше!

— А если ему плясать на сцене? — внесла предложение Джун. — На русском спектакле? Кто у нас сейчас в Нью-Йорке?

— Неплохо! — одобрил Джерри. — Совсем неплохо! Он вспрыгнет на сцену, в бурке и с кинжалом, и пляшет как черт! Балетные критики сойдут с ума от восторга. И — никакого насилия! Интервью пойдут на первые полосы газет!

— А где они выступают, русские? — спросила Джун. — В каком зале?

— Сейчас посмотрим, — сказал Джерри, разворачивая "Нью-Йорк таймс". — Так, так... Это не то... Что-то не видно русских, как на зло... Вот есть! Нет, не то — это цирк, там сцены нет, а на опилках какие пляски. Клоуны, дикие звери, джигитовка...

— Я скакать могу, — с надеждой сказал Мишка, — и джигитовать тоже.

— Что это — джигитовать? — Джерри поднял глаза от газеты и поглядел на Мишку.

— Ну, делать всякие трюки на лошади, — объяснил Мишка. — Под живот ей падать, зубами платок с земли доставать. Много чего!

— А плясать можно на лошади? — глаза Джерри жгли Мишку, как лазерные лучи. — В бурке и с кинжалом?

— Можно, пожалуй, — прикинул Мишка. — Но, конечно, не так, как на полу.

— Евреи! — Джерри торжественно поднялся из-за стола, как будто собирался прочитать Декларацию независимости. — Акция будет! Мы победим!

Оборудованное по последнему слову техники, огромное здание Нью-Йоркского цирка сверкало гир-

ляндами огней в синей вечерней мгле. Тысячи людей вливались, как ручьи в море, в высокий зал. Сдержанный шум витал под куполом, дети плакали и смеялись, музыканты настраивали свои инструменты, осветители возились с фонарями и прожекторами, коверные бегали и строили рожи, торговцы продавали поп-корн и кока-колу. Тысячи глаз останавливались на высоких двустворчатых воротах, ведущих с манежа в недра здания — туда, где скрыты были до поры медведи и львы, слоны и кони, где гримировались воздушные гимнастки и акробатки, а силачи, разминаясь перед выступлением, перебрасывались чугунными гирями. И в тысячах глаз, нет-нет, а проскакивала искорка тревоги: достаточно ли крепки замки и прутья клеток? Заряжен ли пистолет у укротителя бенгальских тигров? Не кинутся ли знаменитые русские медведи терзать беззащитных нью-йоркцев?

Но вот зал наполнился до отказа, оркестр заиграл туш и на манеж выбежал клоун в клетчатых штанах и огромной кепке. Другой клоун, в кепке поменьше, установил ширму, и оба клоуна разыграли репризу "Кукольный театр" Первый клоун был кукловодом, второй — ассистентом. Напялив кукол на обе руки, первый принялся за дело. А второй тем временем, подкравшись к первому сзади и пользуясь тем, что руки у него заняты, принялся его щекотать. И куклы, вместо того, чтобы плакать, хохотали громовым смехом. Вежливо смеялись и зрители. А второй продолжал свою разрушительную работу, он расстегнул на первом подтяжки, и клетчатые его штаны упали на опилки арены. Первый заплакал горячими слезами, а неприятельные американцы захохотали и затопали ногами. И Джун, сидевшая в первом ряду, хохотала громче всех.

А клоуны, после небольшой потасовки, помирились и спели куплеты про борьбу за мир. Потом второй

клоун заиграл на дудке-жалейке, и из ширинки его штанов выползла змея. Это американцам тоже очень понравилось, куда больше куплетов. И они были совершенно правы.

А потом оркестр оглушительно заиграл парад-алле, и весь цирковой коллектив высypал на манеж. А за кулисами советский офицер безопасности Попов в последний раз проверял реквизит: не подпилили ли чего сионисты. Офицер был идейный антисемит и опытный специалист своего дела: до окончания представления он не пил никогда, во всяком случае, за границей. Представитель советского посольства конфиденциально предупредил его, что "сионистские молодчики из Лиги защиты евреев" задумали сорвать представление, и Попов удвоил бдительность. Реквизит, правда, оказался цел и невредим, но опасения внушал медведь Коля — вполне проверенное животное, ветеран манежа. Коля рычал и тряс прутья решетки, из его пасти густо шла вонючая слюна, и Попов предположил, что сионисты подсыпали смирному обычно Коле наркотиков в жратву или опоили водкой, до которой мишка был весьма горазд... От такого предположения ненависть Попова к евреям усилилась и почти достигла белого накала. Ведь если проклятый Коля что-нибудь не так сделает, отвечать будет, в первую очередь он, Попов! И не видать ему больше зарубежных командировок, и очередного повышения в звании ему тоже не видать! А ему до пенсии осталось всего семь лет, и вот эти сионисты могут поломать ему всю карьеру.

— Ты мне смотри! — предостерег Попов, обращаясь к Коле. — Я из тебя душу выну, и не из таких вынимал!

Коля, однако, не испугался ничуть, и Попов решил совершить патрульный обход цирка с целью выявления сионистов. Выйдя на улицу, он, однако, ничего подозре-

тельного не обнаружил: улица как улица, торчит полицейский у входа в цирк, другой топчется на углу, машины стоят как на выставке в салоне — скорей бы победить этот капитализм и отобрать у них эти машинки, так ведь хрен победишь! — от реклам и витрин глаза на лоб лезут у простого человека, хоть он и в звании майора КГБ... Протерев глаза, Попов не обнаружил ничего подозрительного: демонстрантов никаких нет, все, наверно, в зале сидят и думают, как бы покрепче насолить родине победившего социализма. На миг цепкий взгляд майора задержался на семейном караване, припаркованном почти против входа, но, так ни за что и не зацепившись, скользнул дальше. На повестке дня оставался, таким образом, только ветеран Коля. "Надо бы его пристрелить на всякий случай, — подумал майор Попов, — чем срамиться-то перед империалистами".

Ну, как мог догадаться проницательный майор Попов, что в караване, прильнув к оконцу, сидит Мишка Нисимов и оглаживает игреневого иноходца ахалтекинской породы, чтоб не разворотил конь этот хрупкий алюминиевый домик к чертовой матери?!

А если у кого возникнет вопрос, откуда взялся в Нью-Йорке ахалтекинец — вот ответ: в Нью-Йорке все есть.

Следом за прыгунами на манеж тяжело выбежали силачи. Главный силач Грингруз, известный публике под псевдонимом Василий Жеребцов, тащил длинный железный шест с площадками, на которые по ходу номера предстояло взбираться другим силачам, помельче. Феноменальная сила Грингруза-Жеребцова была притчей во языцех, и многие цирковые обозреватели склонны были соотносить физические данные удальца с русской народной мощью. Отец силача, одесский балагула

Мойше-Наган, остался бы доволен своим сыном, увидь он его сейчас, на арене нью-йоркского цирка. Правда, его несколько удивила бы расшита петухами косоворотка на чугунной груди сына Мони.

Силачи работали отменно. Моня-Вася действовал в партере, водрузив на голову шест с болтающимися на нем партнерами. Затаив дыхание, под дробь барабанов американцы глазели на силача. А Моня Жеребцов натужно улыбался и посылал публике воздушные поцелуи с таким видом, как будто метал в нее железные ядра. Ничего не скажешь, тяжелая работа у заслуженного артиста РСФСР Васи Грингуза.

Силачей сменили на манеже скоморохи верхами на орловских рысаках. В русских народных лаптях и разноцветных шелковых портках, скоморохи, сидя на лошадках, заиграли на дудках, гребенках и ложках. Публика одобрительно зашумела: игра на деревянных ложках была в новинку даже в Нью-Йорке. Майор Попов следил за ходом номера из-за кулис, не отходя от клетки, где мирно спал пьяный медведь Коля. Конец представления был уже не за горами, сионисты никак себя не проявляли, и Попов почти успокоился. Забыл он, как видно, лозунг партии: "Благодущие — наш враг!"

Не успели скоморохи как следует грянуть на своих ложках, как задняя стенка семейного каравана, припаркованного против входа в цирк, отпала и опустилась на асфальт наподобие мостка. По нему с диким гиком, бешеным скоком промчался Мишка на своем игреневом иноходце. Полицейский едва успел отскочить в сторону — Мишка мчался, как пушечное ядро. Горячий, застоявшийся конь влетел в фойе. Служители цирка в панике бросились врассыпную, как будто Мишка ворвался сюда не на ахалтекинце, а на льве. Торговец поп-корном рассыпал свой товар по полу. Мишка

скакал. Бурка его развевалась, как на имаме Шамиле или разбойнике Котовском. Скача, Мишка гикал диким голосом, нагоняя ужас на обслуживающий персонал: да, такого здесь, пожалуй, еще не видели!

А Мишка направил коня грудью на высокую дверь, ведущую в зрительный зал, и горным смерчем, перескочив барьер манежа, ворвался на арену. Скоморохи опешили, их орловцы встали на дыбы. Мишка, не снижая скорости, помчался вокруг манежа, а скоморохи с их лошадками, сбившись в кучу, стояли в центре манежа. В воротах, ведущих за кулисы, маячил майор Попов. Он рвал на себе волосы, вырванные клочья швырял на пол и топтал их ногами. Можно его понять.

А из зала все происходящее выглядело, как подготовленная часть программы, как ловкий и приятный сюрприз. Какой грузин или кто он там есть! Как он скачет! Какой роскошный конь!.. Мишка вертелся бесом, нырял под конское брюхо, свешивался до полу и бороздил рукой опилки манежа. В зале неуверенно захлопали, потом громче и громче. Скоморохи вылутили свои голубые глаза, и ничего уже не понимая, застучали ложками и задудели в дудки. Скача мимо ложи, где сидел с железобетонным лицом посол СССР в ООН, Мишка безоблачно ему улыбнулся, приветствовал его взмахом руки и мигом развернул транспарант с надписью по-русски и по-английски: "За ненасильственный мир!" Посол налился помидорной кровью, побагровел и задвигал стулом.

А Мишка вскочил ногами на плоское седло и на полном галопе сбросил сначала бурку, потом пояс с кинжалом, потом черкеску с газырями. Зал замер и застыл. Стриптиз — это было что-то совершенно новое для советской эстрады. Может, сейчас выяснится, что этот чучмек — девушка?

Под кавказской одеждой у Мишки оказалась полосатая роба каторжника. Зал разинул рот и так остался сидеть: происходило что-то невообразимое. Увидев на груди и на спине мишкиной полосатой куртки знакомые лагерные номера, майор Попов вырвал последние волосы, ушел за кулисы, достал из заветного тайника бутылку виски "Джон Уокер" и запил. Ему, как и Мишке Нисимову, было категорически не рекомендовано открывать стрельбу, особенно в общественных местах.

А Мишка плясал на седле как черт! Ахалтекинец шел иноходью вдоль бортика манежа, американцы наконец захлопнули рты, и, не слыша музыки, стали хлопать в ладоши в ритм пляске. Мишка плясал, скакал, орал "Асса!" Телевизионщики подкатили свои камеры к самому бортику, фоторепортеры облепили манеж как мухи и защелкали своими камерами. Джерри, сидя рядом с Джун, победоносно улыбался. Скача мимо посольской ложи, Мишка на сей раз развернул совсем другой лозунг: "Свободу Вульффу Бруберу!" Зал снова ахнул: этот вставной номер, кажется, все-таки не был запланирован! Из багрового советский посол стал лимонно-желтым. Взгляды всего зала были теперь устремлены на него, и ему, опытному дипломату, не пристало в такой рекламный момент подниматься и, хлопнув дверью, уходить. Вот если б этот проклятый чучмек выкинул что-нибудь антисоветское — тогда другое дело. А так — уйди он сейчас — газеты завтра сотрут его в порошок, и неизвестно еще, как на это посмотрят в Москве. Увидев нацеленные на себя орудийные жерлы телевизионных камер, посол кисло, но не без достоинства улыбнулся. И в этот самый миг Мишка, рванув поводья, перескочил барьер и взлетел на своем взмыленном игреневом к самому барьеру ложи — только ступеньки испуганно застонали под

копытами.

Они смотрели друг на друга — Мишка Нисимов и советский чрезвычайный и полномочный посол.

— Сука антисоветская! — не сгоняя кислой улыбки с лица, прошептал посол. — Провокатор!

— Сам дурак! — не задержался с ответом Мишка. — Зарежу!

И, широким жестом достав из-за пазухи слегка потевший конверт, Мишка протянул его послу. Зал, стоя, аплодировал находчивому смельчаку. Стрекотали кинокамеры. Все внимание было обращено к послу. Посол тяжело поднялся на ноги, принял конверт и помахал им над головой. Аплодисменты усилились.

— Мистер Мишка Нисимов, — закричал в мегафон Джерри, — передал советскому представителю просьбу об освобождении его друга, московского еврейского активиста-отказника Вульфа Брубера. Поблагодарим мистера Нисимова за его прекрасное искусство, так украсившее сегодняшний праздник. Да здравствует ненасильственный мир!

Зал снова грянул аплодисментами. А Мишка, откозыряв послу, пустил коня вниз по лестнице и выехал из зрительного зала. Под рукоплесканья служащих, столпившихся в фойе, он выехал на улицу, соскочил с иноходца и, с помощью подбежавшей Шош, завел коня в караван. Дело было сделано. Можно было ехать. Точнее — нужно было ехать: майор Попов, размахивая порожней бутылкой из-под виски, показался в дверях. На его голой, как колено, башке запеклась кровь.

А в цирке продолжалась программа.

— Валерий Красавин со своими дрессированными медведями! — объявил распорядитель манежа и поклонился публике.

Наутро Мишка, Шош, Джун и Джерри сидели в но-

мере гостиницы "Биарриц". Джерри сиял: все ведущие телевизионные программы страны передали подробные репортажи о мишкиных цирковых гастролях.

— Посол принимает письмо — на экране! — ликовал Джерри. — Это потрясающе! Ты даже не понимаешь, как это важно!

— Поможет? — с сомнением спрашивал Мишка.

— Да это полная победа! — ликовал Джерри. — Даже если б мы атаковали Москву с воздуха, это не принесло бы такого оглушительного успеха.

Комната была завалена газетами и журналами, полными описаний вчерашнего вечера в цирке. Без конца звонил телефон, Джерри назначал журналистам время встреч с мистером Нисимовым. По всему городу, рядом с рекламами советского цирка, появились плакаты с фотографией Вульфа Брубера. Республиканцы уже сделали по этому поводу запрос в Конгрессе, и демократы здорово им завидовали. Нью-Йорк бурлил, Америка клокотала. Тысячи телеграмм летели через океан в Москву, советское посольство и миссия при ООН ломались от требований об освобождении Вульфа Брубера и выдаче ему визы на выезд в Израиль. На всех углах Манхэттена, Бруклина и Квинса продавались майки с изображением Мишки на коне. Женская еврейская организация прислала Шош полное обмундирование от Диора, а Мишке — золотую статуэтку ахалтекинца на малахитовой подставке.

Вечером Мишке дозвонился из Иерусалима Йекутиэль Адам.

— Молодец, Мишка! — сказал Йекутиэль. — Я все уже знаю. Коня-то не попортил? Ну, давай, давай, возвращайся, мы тебя ждем.

Еще через день, отказавшись от поездки по Америке, Мишка и Шош вылетели в Израиль с аэродрома ДФК. Провожавший Мишку немногословный человек из

какой-то неправительственной организации "Американцы — за свободную ловлю форели" сказал, пожимая ему руку перед посадкой в самолет:

— Я уполномочен передать вам: русские неофициально намекнули, что ваш друг будет в Израиле через две-три недели.

— Я готов вступить в вашу организацию и удить форель с утра до ночи, — дипломатично заметил Мишка.

И они понимающе улыбнулись друг другу.

Глава семнадцатая

ВРАТА НАДЕЖДЫ, КФАР-ЙЕХЕСКЕЛЬ...

Самолет мчался — и тащился. Тучи вокруг, казалось бы, еле плелись, а глубоко внизу мелькали целые страны — с армиями, парламентами и Конституциями. Прыжок между Нью-Йорком и Тель-Авивом длился одиннадцать часов. Времени была капля — и пропасть. Нашлось, наконец, время поговорить и о Зерубавеле.

— Его нет в живых, — выслушав историю о набитом порнокассетами гробе, сказал Мишка.

— А они там говорят, гебешники, что он дезертировал в Израиль, — сказала Шош, — что он — израильский шпион.

— Чушь! — Мишка взглянул в овальное окошко, за которым, внизу, в океанской пучине, проплывала Атлантида. — Ерунда! Какой он там шпион!

— Да я ведь знаю, — вздохнула Шош. — Это дело они как-то замяли, чтоб им спокойней было. Но о его судьбе, кажется, так никто и не знает.

Мишка молчал, глядя в окно.

— Мы можем пожениться, — сказал, наконец, он. — У нас к этому нет никаких препятствий. Ты так и знай.

Она уткнулась лицом в его плечо.

— Да мы ведь уже муж и жена сколько лет... — прошептала Шош. — Правда? Просто случился перерыв, вышел такой страшный перерыв. А теперь мы снова

вместе, и это самое главное.

— Ну да, — сказал Мишка. — Так и есть. Мы вернемся домой, заложим поселение Кфар-Йехескель и там справим свадьбу. Ты пойдешь за меня?

— Пойду, — сказала Шош. — За тебя и за тобой. Куда хочешь.

Мишка удовлетворенно хмыкнул.

Имя Зерубавеля они избегали произносить: "он" — и все тут. И во все время этого предсвадебного полета, о чем бы ни заходил разговор — об устройстве свадебной церемонии, о будущих занятиях людей Кфар-Йехескеля или просто о любви — они возвращались к "нему", к Зерубавелю.

— В нем было немало хороше́го, — сказал Мишка. — Он был смелый парень. Но он всю свою смелость растратил на всякие там спекуляции: сегодня шерсть, завтра яблоки. А ведь мог бы..

— Не мог, — жестко перебила Шош. — Мог бы — все бы пошло у него по-другому.

— Я его, когда уезжал, звал, — продолжал Мишка: — поедем! Плюнь ты на все свои гешефты!

— Это было сильнее его, — сказала Шош. — Его, кроме этого, ничего не интересовало. Только деньги.

— Поиски денег, — поправил Мишка. — Борьба. А это не одно и то же. Он, все-таки был нашего, нисимовского корня.

— А музей Йехескеля Нисимова будет в Кфар-Йехескеле, — не совсем искусно переменяла тему Шош.

— Ну, может, сначала не музей, — задумался Мишка. — Может, мемориальная комната какая-нибудь для начала. И ты будешь там работать, а?

— По вечерам, — внесла поправку Шош. — А днем я буду работать в поле.

— В детском саду тоже можно, — сказал Мишка. — Это, знаешь, очень важно — в детском саду. Не менее

важно, чем в поле.

— Хорошо, — согласилась Шош. — Если ты так хочешь...

Ели, смотрели фильм, снова ели. Говорили о "нем" Летели навстречу солнцу, навстречу Израилю.

Выбор места для закладки Первого Камня — будь то камень дома, поселения или города — непростое дело. Первый камень — символ, мячик, брошенный в будущее. Закладывая Первый Камень, человек чувствует ответственность перед вечностью, ощущает причастность ко всем временам. Второй камень — ничто по сравнению с Первым, просто грубый булыжник. И в этой детскости оценки Первого и Второго камней — прелестный артистизм человеческой природы.

Место для Первого Камня должно быть особенным — очень красивым, очень страшным или очень, скажем, открытым ветрам — но непременно особенным. Сколько Первых Камней — столько и особенных мест. Потому что, на самом-то деле, каждое место на земле — особенное, и всякий камень может стать Первым.

Место для Первого Камня Кфар-Йехескеля выбрали на Голанах, на вершине холма, на которой стоял когда-то, в незапамятные времена, древний храм. От храма остался круглый жертвенник крупнозернистого серого гранита. Жертвенник венчал холм, как корона, отсюда далеко было видно вокруг: горы, степь, каменистые вадии. Вот здесь и решили строить Кфар-Йехескель, закладывать Первый Камень.

Решение это единодушно приняла шестерка кавказских евреев — ядро будущего поселения. Седьмым — но лишь с правом совещательного голоса — значился в решении генерал Йекутиэль Адам. Демократичность процедуры он провел приказным порядком:

— Мне — совещательный голос! Это приказ! Но место мне нравится!

Спорить с ним не стали.

Первый камень в фундамент будущего детского сада закладывал Мишка Нисимов. Ему предложили — он принял. Иначе не могло и быть. И все чувствовали торжественность момента.

На закладку собралось человек сорок — посланцы кавказцев со всего Израиля: из Ор-Акивы и Беэр-Шевы, Иерусалима и Тель-Авива. Речей не произносили. Встали, обнявшись за плечи, на вершине холма, кружком. В центре, возле древнего жертвенника, Мишка выкопал яму, положил на ее дно медную дощечку с гравированной надписью "Поселение Кфар-Йехескель". Потом шли имена членов ядра, потом — дата закладки Первого Камня. Покончив с дощечкой, Мишка свалил в яму тяжеленный дикий камень — самый крупнозернистый гранит, ничем не отличный от того, из которого был вытесан жертвенник тысячи лет тому назад. Затем взял заранее приготовленное ведро, Мишка залил Камень в яме цементным раствором, навечно замуровал его в землю — постольку, поскольку дано нам понимать Вечность.

Вслед за тем появился какой-то замурыженный правительственный чиновник, скороговоркой прочитавший Акт о передаче холма и строго отмеренных окрестных земель — опять же навечно — общине кавказских евреев в Израиле. Выслушав Акт, обнялись, закричали "Ура!", распечатали бутылки. Чиновник уехал, кавказцы принялись ставить армейские палатки вокруг Первого Камня, таскать от подножья холма, от дороги, нехитрый домашний скарб первых поселенцев. С закатом покончили и с этим. Мужчины закололи барашка, разделали его на жертвеннике. Женщины развели высокий костер и взялись за готовку пищи. И сидели вокруг котла, под небом и под звездами, и глотали густое хлебово. А потом разошлись на отдых, и Мишка с Шош

вошли в свою палатку. И им было хорошо, как никогда — в своем доме, на своей земле: навечно. А сколько раз кричали пастухи в ночи, они не считали, и никто не считал. Но когда-нибудь всплывет из пучины времени, засверкает бриллиантовой россыпью литературы и это число.

На раннем рассвете приехали бульдозеры и трактора, и работа пошла. И сладок был первый день работы вокруг Первого Камня, и незаметно перешел он в ночь, и в новый день. Вот так, наверно, и выглядит со стороны Вечность, неразделенная на часы и дни.

Мишка потерял счет времени. Он не видел газет, не слушал радио. Только война могла снять его с этого места — а весть о войне мимо холма не прошла бы. Что же до прочих новостей большого мира — они Мишку не интересовали ничуть. Он сжился с холмом, стал с ним как бы единое целое. Холм, Мишка и Шош — вот и вся жизнь, и этого куда как достаточно. И Холм был полон жизнью, и затяжелела Шош, и прекратилось у нее обычное женское. И узнал Мишка: месяц минул.

К вечеру руки наливались тяжелой кровью, а голова была светла и прозрачна, как хрустальное стекло. Завтракали в своих палатках, а ужинали все вместе, сидя вокруг общего котла. И, кто хотел, пел, а кто хотел, молчал. И каждый думал свою думу, и был счастлив, а кто был несчастлив — ушел от костра, котла и Холма, и его место заняли другие.

Строили детский сад, кошару, конюшню. Идея разводить и тренировать скаковых лошадей принадлежала Мишке: нью-йоркский владелец игреневого ахалтекинца подарил ему коня, и он должен был положить начало конному заводу. Узнав о подарке из письма, Мишка рассказал об этом Шош, они понимающе поглядели друг на друга и улыбнулись невесело: нью-йоркская гастроль еще не получила своего завершения, русские

не спешили выполнять обещанное.

На исходе второго месяца, около полудня, к Холму подъехала машина. На нее никто и внимания не обратил: приехал, наверно, очередной подрядчик, жулик какой-нибудь... Из машины вышел прихрамывающий человек и, оглядевшись, стал подыматься на Холм. Солнце било ему в глаза, он близоруко шурился, останавливался, снимал и надевал очки. Наконец, он поднялся на вершину и остановился, отдуваясь. Мишка разогнулся над кладкой, обернулся к пришельцу, застыл на миг — прежде чем рвануться, броситься.

Пришелец был — Вульф Брубер.

Вульф приехал в Израиль третьего дня и, как он говорил, "прах галута еще не осыпался с моих подошв" Вульфа Брубера встречал "весь Израиль — от стены до стены", аэропорт был полон людей — и только "нью-йоркского гастролера" Мишку Нисимова забыли пригласить: всегда ведь на подобных церемониях не все слава Богу. А газет, как сказано было, Мишка на своем Холме не читал, и радио не слушал. Но отдадим должное и профессиональным политикам в лице Премьер-министра: приветствуя Вульфа от имени правительства и всего народа, Премьер вдруг запнулся и сказал: "А где же наш прославленный герой Нисимов, который не только с танками управляется, но и с конями? Прошу его сюда, прошу!" Но, к удивлению, Мишка не появился на зов. "Ну, чего там! Не стесняйся, Нисимов, иди!" — несколько уже раздраженно указал Премьер — но Мишка и тогда не появился: его не обнаружили ни в конференц-зале аэропорта, ни в прилежащих помещениях. Премьер пожал плечом и продолжал свою речь, посвященную борьбе израильских правительственных органов за советское еврейство.

Потом на ту же тему, но с незначительными ведомственными отступлениями, говорили министры, потом малые дети пели, плясали и размахивали букетами цветов, потом говорили представители общественных организаций, потом друзья и товарищи вновь прибывшего, а затем слово получили и представители простого народа, незнакомые ни с Вульфом Брубером, ни с проблемой алии из России, но зато видевшие по телевидению подвиги Мишки Нисимова в нью-йоркском цирке. Выступления затянулись, все хотели домой. В ответном слове Вульф сказал: "Я приехал сюда жить и, даст Бог, у нас будет еще множество поводов для приятных разговоров. А пока что — спасибо вам всем!" Толпа была слегка шокирована краткостью Вульфова выступления, но, с другой стороны, и довольна: пора и честь знать, и по домам идти.

О том, что Мишка "сел на Холм", Вульф узнал наавтра. А еще через день подъезжал к подножью этого Холма.

Сидели на кошке в палатке, тянули крепчайший чай из фаянсовых кружек. Как Мишка не отбивался — Вульф заставил его прежде всего рассказать о цирковых подвигах.

— Подскакал к послу? — восторгался Вульф.

— Это не я, это конь подскакал, — отбивался Мишка. — Прямо взлетел! Он меня даже и не спрашивал. Умный очень конь, не зря — наш, восточный.

— Его скоро привезут сюда, в Кфар-Йехескель, — вставила Шош.

— Очень рад буду познакомиться! — искренне сказал Вульф.

— Между прочим, — сказал Мишка, — вся эта группа, которая помогала организовать "гастроли", обещала приехать сюда, как только русские тебя выпус-

тят: и тот, кто коня дал — он, кстати, даже не еврей, и Джерри с Джун из "Общества в защиту Вульфа Брубера", и еще человек шесть-семь. Как мы их всех примем-то? — он обернулся к Шош.

— Две палатки поставим, — сказала Шош. — На складе есть. С койками вот хуже.

— Ладно, устроимся как-нибудь! — беззаботно махнул рукой Мишка. — Вульф приехал — это главное!

После еды они сели в списанный армейский виллис, поехали поглядеть окрестности.

— Обо многом надо потолковать, — сказал Вульф, когда они спустились с холма. — Помнишь, когда тебя провожали — мы пошли говорить в сад?

— Конечно, помню, — сказал Мишка. — Абрикосы, ежевика... Помню.

— Вот в том-то и дело, — сказал Вульф. — Я тоже хочу запомнить — все. И плохое, и хорошее. И ничего не выкидывать из памяти.

— А я хотел выкинуть, — покаянно признался Мишка. — Хотел в армии сидеть — и ни о чем прошлом вообще не вспоминать. Сейчас только начал вспоминать помаленьку.

— Слушай, Мишка, — сказал Вульф. — Этот твой холм — ты сам даже не представляешь, как это важно! Я почти ничего не знаю об Израиле, а то, что знаю — это тоже еще надо проверить: с чужих слов многому не научишься. Но зато я хорошо знаю, что происходит там — в Союзе. Кавказцы уже кое-что слышали про Кфар-Йехескель — но пока выжидают, хотят посмотреть, как дело пойдет. А этот пузатый, хозяин ковровоткацкой фабрики в Ор-Акиве — не лучше Советской власти, кажется. Если дело у тебя пойдет — кавказцы приедут сюда. Не пойдет — останутся там сидеть, или в Америку поедут. Хочешь — не хочешь, а ты — как бы ответственный за это дело. И это дело — судьба

целого народа.

— Так ведь тут говорят, — без охоты промолвил Мишка, — что кавказцы — не народ, а так, группа этническая, часть великого еврейского народа.

— Ну, это как взглянуть! — живо возразил Вульф. — Во-первых, я не верю ни в какие великие народы. В чем, скажи мне, пожалуйста, величие народа заключается? В численности? Но, скажем, нигерийцев побольше нас, евреев, живет на белом свете, — они, выходит, более великие. В культуре? Но Библию ведь не мы с тобой написали, десять заповедей не мы с тобой придумали. Или скажем так: величие Достоевского и Толстого автоматически перешло на весь сегодняшний русский народ? Чушь! Все народы равны перед Богом, ни один не лучше другого!

— Ну да! — согласился Мишка. — А что же мы, кавказцы?

Мы, евреи, — задумавшись, сказал Вульф, — объединены даже не верой в Бога, а верой в общность нашей единой народной судьбы, в общность того проклятья, которое над нами довлело целых два тысячелетия. Это проклятье — тот клей, которым мы были скреплены. А теперь нас скрепляет вера в то, что мы будем свободны и независимы, будем, в сущности, как другие народы только здесь, в Израиле, без чужих. Нам надоело быть нацменами, Мишка, мы хотим быть нацболами! И в этом тоже есть опасность, и не одна...

— Расизм? — понуро уточнил Мишка. — У нас тут об этом много говорят.

— Разговорами делу не поможешь, — сказал Вульф. — И ничем не поможешь — это уже даже и не судьба, а история, наша новейшая история. Мы слишком быстро готовы забыть, что сами были рабами в земле египетской... Но вернемся к кавказцам. За всю вашу историю — горную, я имею в виду, историю, кавказскую — вы

выработали собственные, оригинальнейшие традиции, собственный язык, собственную культуру, ни на какую другую в точности не похожую, а всего меньше похожую на еврейско-европейскую или еврейско-африканскую культуры. Что, разве не так?

— Так, — согласился Мишка. — Но мы здесь, и мы все вместе. И готовы воевать со всем светом — все вместе.

— Это и есть сионизм, — сказал Вульф, — величайшее течение в еврейской истории. Да, Мишка, величайшее! Но если снять грошовые розовые очки, Израиль — это многонациональное еврейское государство, и ничего в этом нет страшного или дурного — хотя бы потому, что это исторический факт, не имеющий ничего общего с желаниями или поступками отдельных людей, пусть даже великих. Мы здесь для того, чтобы стать единым народом. Но мы им еще не стали, и это тоже естественно: для такого дела нужны столетия.

Они выехали на поросшее острой желтоватой травкой плато. Виллис, подпрыгивая на высоких колесах, шел по бездорожью. Подъехав к неглубокому, с обрывистыми откосами вади, Мишка остановился.

— Пройдемся немного? — предложил он.

— Пойдем! — согласился Вульф. — Воздух-то какой! Наш, еврейский! Лучший в мире, а?

— Конечно, лучший! — усмехнулся Мишка. — И здесь, на Голанах, он куда лучше, чем на побережье, в Тель-Авиве где-нибудь.

— Видишь, даже внутри Израиля воздух рознится, — заметил Вульф, — не говоря уже о целом мире...

Они спустились в вади, неспеша прошли метров с сотню и очутились возле разлапистого искривленного куста, одиноко росшего посреди пустого пересохшего русла. Рядом с кустом чуть возвышался бесформенный холмик. Мишка остановился, долго глядел на холмик, а потом отошел в сторонку и опустил на камень.

Взглянув на него вопросительно, сел и Вульф.

— Здесь война была, — сказал, наконец, Мишка. — Я тут воевал. Наверху, — он махнул рукой, — мой танк сгорел, а я сюда отполз. Здесь вот отлеживался, под кустом. А вокруг — сирийцы. Думал, помирать придется.

— Это — могила? — Вульф указал на холмик.

— Н-не знаю, — помедлил с ответом Мишка. — Может, и могила.

— Ну, пойдем понемногу, — предложил Вульф.

— Пойдем... — поднялся с камня Мишка.

Выбираясь из вадн к виллису, Мишка знал, что вернется сюда семь месяцев спустя. Он принял такое решение, когда ответил Вульфу на его вопрос о холмике: "Не знаю". Он знал, и не желал, чтобы знание это принадлежало ему одному.

Но за семь месяцев немало воды утекло в Иордане: поселенческое ядро переселилось из палаток в домики, на склоне холма посадили виноградник и плодовый сад, заработала во-всю птицефабрика. В теплой конюшне хрупал ячменем игрневый ахалтекинец. А детские ясли, оборудованные по последнему слову техники, ждали первого младенца, и младенцем этим должен был стать ребенок Мишки и Шош, — должен был стать первый новорожденный нового поселения Кфар-Йехескель.

Время женского труда пришлось на поздний вечер, почти на ночь: Шош почувствовала приближение родов, окликнула Мишку.

— Отведи Ципи к соседям, — сказала Шош. — Ехать надо...

— Уже? — вскинулся со сна Мишка. — Сейчас! Мигом! Потерпи чуть-чуть!

Схватив Зерубавелеву дочку на руки, он кинулся

в соседнюю палатку. Девочка проснулась, заплакала.

— Не плачь, Ципи! — горячо убеждал ребенка Мишка. — Мы, понимаешь, с мамой уедем ненадолго, а потом приедем — и будет у тебя братик! Ну, успокойся же!

Успокоилась Ципи на руках у соседки, когда Мишка с Шош были уже по дороге в Цфат, в больницу.

Мишка гнал виллис вовсю. Дорогу он знал наизусть, каждый поворот ее, каждый вираж. Шош временами постанывала, сжав зубы, и эти мучительные сдерживаемые стоны секли Мишку, как плети. Быстрой, быстрой! А что, если, не дай Бог, машина встанет? Нет, Бог этого не допустит!.. Мишка обращался к Богу лишь в самых крайних случаях, но за эту дорогу от Холма до Цфата взывал к Всевышнему бесчисленное количество раз и не испытывал по этому поводу никакого смущенья.

Встречных машин не было, ничто не препятствовало гнать по середине неширокой дороги, проложенной здесь совсем недавно, уже после войны. Нажимая на педаль газа, Мишка почему-то думал о том, как трудно бы им с Шош пришлось, если бы дорогу эту не провели, если б пришлось ехать по проселку. Это, все-таки, так несправедливо, рассуждал Мишка, прислушиваясь к стонам Шош, — вот, Бог таким мученьям обрек женщину! А мужчину — только волненью за его женщину. Но ведь это неравноценно! И Мишка молил Бога, чтоб он переложил хотя бы часть мук Шош на него, на Мишку, — ради справедливости, которой и не сыскать на белом свете.

Крутой спуск, потом витки подъема. Уже недалеко. Шош вроде бы успокоилась, только мерцали в темноте ее грустные, как у кобылицы, глаза. Еще один поворот — и вот видны уже огни больничного корпуса.

— Пошли! Приехали!

Мишка помог Шош выбраться из машины, потом

вскинул ее на руки и размашисто зашагал ко входу в приемный покой. Так, с женщиной на руках, он прошел мимо остолбеневших сестер и регистраторш.

— Вот сюда, пожалуйста! — указал несколько удивленный врач. — Она, что, сама не может идти?

— Почему не может! — огрызнулся Мишка. — Может... Но она заслужила того, чтоб я ее нес. Понятно?

Вид у Мишки был очень уж решительный, и врач не стал пускаться в споры. Хочешь нести — неси!

К врачу тотчас присоединилась родильная сестра, захлопотала над Шош.

— Хотите присутствовать при родах? — спросила сестра. — Это разрешается теперь.

— Не надо! — твердо сказала Шош, не открывая глаз. — Роды — это женское дело.

— Не надо! — повторил Мишка. — Это женское дело!

— Тогда вот тут ждите, — сказала сестра.

Мишка прошел в какой-то пустынный предбанничек, сел, сидел, куря одну сигарету за другой. Медленно или быстро текло время, он не знал: на часы не глядел. Он курил, и говорил к Богу, и лукавил:

— Мне все равно, Бог, совершенно все равно, кто родится — лишь бы все это быстрее кончилось, и Шош перестала страдать. Мальчик, девочка — какая разница? Это ведь мой ребенок приходит в мир, мое продолжение. И я его — кто бы он ни был — ужасно люблю. Ты ведь знаешь, я тебе никогда не вру — кому-кому, только не тебе. Поэтому, чтобы не быть вруном перед тобой — лучше, все-таки, мальчик. Ведь тебе-то, наверно, это все равно — так сделай, пожалуйста, чтобы был мальчик! Я и сам не знаю, почему мне так хочется — просто я говорю тебе чистую правду, и все тут. А если б я врал и притворялся, что мне это все равно — разве было бы лучше? Вот видишь, я чуть было тебе не соврал — но вовремя опомнился и теперь говорю правду. Прости ме-

ня! И сделай так, чтоб был мальчик. Он будет первым младенцем нашего Кфар-Йехескеля, и я его так и назову: Йехескель.

Вот какие внутренние речи вел Мишка, и повторял их на все лады, и время текло мимо него. И ночь еще не переломилась, и темно было за окном, когда вышла сестра и сказала:

— У тебя сын.

И сразу отлегло у Мишки от сердца, полегчало.

— Как жена? — заставил он себя спросить.

— В порядке! — сказала сестра. — Сейчас ребеночка вынесу — погляди.

И, глядя на белую дверь, из-за которой должно было сейчас появиться его дитя, Мишка ощутил в душе слепительный свет, разливающийся.

Через четыре дня они ехали отсюда в том же виллисе, но в обратном направлении: из Цфата на Голаны. Мишка сидел за рулем и вел машину с величайшей осторожностью. Шош сидела рядом с ним, держа на руках новорожденного Йехескеля.

— Брит у нас сделаем, на Холме, — возбужденно излагал Мишка. — Резник придет из религиозного мошава, там у них по этой части специалисты — лучше не найдешь! Я уже в мошаве договорился. Вульф позвонил — его нет, он в Англии. Я ему телеграмму: так, мол, и так, наследник родился, брит такого-то числа. Вечером — звонок из Лондона: обменял билет, буду обязательно. Гостей понаедет — уйма!

— Мне готовить еще немного трудно, на ногах стоять, — сказала Шош. — Что-нибудь надо придумать.

— Все наши женщины тебе берутся помочь! — сказал Мишка. — Не зря Вульф говорит — у вас, у кавказцев, свои традиции, вам чужих не надо. Справимся, ты не бойся! А ребята наши тройку баранов уже пригнали — на угощение.

Начался подъем на плато, и пошла веселая дорожка посреди рыжеватой, как лисья шкурка, степи. Далеко слева темнела на фоне синего высокого неба вершина Хермона.

— Как Казбек, — взглянув на вершину, сказала Шош.

— Казбек — им, Хермон — нам, — откликнулся Мишка. — На земле всем всего хватает, если разобраться получше.

Справа от дороги, меж холмами, открылось извилистое вади, и Мишка резко свернул к нему.

— Мы куда? — рассеянно спросила Шош.

— Увидишь, — сказал Мишка.

У самого обрыва он остановил машину.

— Выйдем, — сказал Мишка, — я тебе хочу что-то показать.

Шош молча повиновалась, и, поддерживаемая мужем, с Йехескелем на руках, стала спускаться в вади. Песок на дне вади был чист, сер. Посреди пересохшего потока рос разлапистый куст, рядом с ним горбился холмик.

Мишка подвел Шош к холмику, стоял молча. И Шош ни о чем не спрашивала, ждала.

Над ними прочертил небо боевой самолет, где-то сигнарила машина. Куропатка перебежала вади и скрылась в каменной россыпи.

Они стояли молча, глядели неотрывно на холмик, как бы удлинившийся в их глазах, сделавшийся могильным набросом.

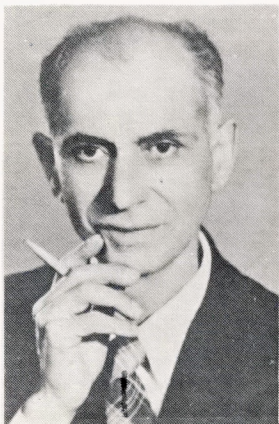
— Здесь лежит Зерубавель, мой двоюродный брат, — сказал, наконец, Мишка. — Я это знаю, и ты теперь знаешь. А больше никому и не надо.

— Да будет так, как ты сказал, — сказала Шош, повернувшись и, не оборачиваясь, стала подниматься по склону.

К о н е ц

СОДЕРЖАНИЕ

Глава первая. Пункт назначения, Московский телеграф	7
Глава вторая. "Танец с саблями"	17
Глава третья. Белый домик с зелеными ставнями	35
Глава четвертая. Борт "ТС-704"	54
Глава пятая. Стена плача	72
Глава шестая. С торой и Автоматом	90
Глава седьмая. За дом родной	116
Глава восьмая. Зерубавель	132
Глава девятая. Дневник	140
Глава десятая. "Пал смертью храбрых"	165
Глава одиннадцатая. Высокопартийный человек	176
Глава двенадцатая. Письмо	208
Глава тринадцатая. Сказание о Вульфе Брубере	219
Глава четырнадцатая. Под сенью фикуса в кадке	240
Глава пятнадцатая. И пришел вечер	256
Глава шестнадцатая. Ставка на игреневого иноходца	271
Глава семнадцатая. Врата надежды, Кфар-Иехескель	287



Нисим Илишаев родился в 1923 году, в Кавказском Дербенте, в религиозной семье: отец будущего писателя был раввином Дербентской синагоги. В 1923 году сестра Нисима уехала с семьей в Палестину. Таким образом был перекинут мост между Кавказом и Иерусалимом.

В 1925 году большевики убили отца Нисима Илишаева, вслед за этим трагически погибла его мать. Мальчик получил воспитание в семье родственников, в Москве.

После окончания средней школы в 1941 году он поступил на офицерские курсы, откуда отправился прямо на фронт где принимал участие в Сталинградской битве. Под Будапештом был тяжело ранен. Войну закончил в звании капитана артиллерийских войск.

Свою литературную жизнь начал в 1943 году на страницах газет "Красная звезда" и "Известия", с очерков на военную тему и заметок о жертвах гитлеровской оккупации. После демобилизации последовали годы учения в Строительном институте, а потом на филологическом факультете университета.

Из ряда произведений, опубликованных в СССР, наиболее примечателен роман "ЗЕЛЕНАЯ ДОРОГА". Вторая часть этого романа, рассказывающая о гонениях на кавказских евреев в послереволюционный период, явилась причиной ареста писателя и обвинения его в сионистской деятельности. По приговору суда Нисим Илишаев получил десять лет лагерей строгого режима. Под давлением международной общественности был освобожден в 1975 году и репатриировался в Израиль, где выпустил книги: "С КАВКАЗА В ИЕРУСАЛИМ", роман "НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ". Произведения писателя переведены на иврит и на другие языки.

С 1977 года — со времени репатриации — писатель опубликовал в израильской периодике и за границей более 250 статей и рассказов.

Роман "Перевал" — третья часть трилогии "Огненный взлет", в которую входят также романы "Зеленая дорога" (Москва 1956 год) и "Наказание без преступления" (Тель-Авив 1982 год). Трилогия охватывает продолжительный период истории от крушения царского режима в России до 70-х годов — поры взлета еврейского национального самосознания и начала алии в Израиль.

АВТОР